Библиотека
командира

ФРАНЦ МЕРИНГ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА

ФРАНЦ МЕРИНГ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА

Четвертое издание



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
Москва — 1941

Франц Меринг

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ВОЙН И ВОЕННОГО ИСКУССТВА

Четвертое, исправленное издание

В книге дается ряд статей по военным вопросам выдающегося деятеля германской социал-демократической партии, впоследствии коммуниста, Франца Меринга. В статьях, приведенных в книге, излагается в основных чертах вся история военного искусства, начиная с древнейших времен до начала XIX столетия включительно.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Классики марксизма-ленинизма от каждого коммуниста требовали серьезного изучения военного дела. «Возьмите военное дело. Ни один социал-демократ, знакомый хоть сколько-нибудь с историей, учившийся у великого знатока этого дела Энгельса, не сомневался никогда в громадном значении военных знаний, в громадной важности военной техники и военной организации, как орудия, которым пользуются массы народа и классы народа для решения великих исторических столкновений...» [1].

Франц Меринг (1846—1919 гг.), теоретик германских левых социал-демократов и один из организаторов коммунистической партии Германии, хорошо понимал значение военных знаний, военной техники и военной организации в пролетарской революции. Поэтому он был хорошим знатоком истории войн и военного искусства.

«Он очень талантлив, и у него хорошая голова...» [2]. Так в 1883 г. отзывался Энгельс о Меринге. Ленин его характеризовал как «...человека не только желающего, но и умеющего быть марксистом» [3], который «...стоит на точке зрения революционной социал-демократии» [4].

К коммунистической партии Меринг пришел извилистым путем. Свою политическую деятельность он начал в кругу тех немногочисленных демократов, которые после уроков 1870—1871 гг. пришли к социализму. В 1877 г. Меринг стал обвинять социал-демократов в пособничестве бисмарковской реакции, он отошел от социал-демократии и превратился в ее врага. Лишь через четыре года он прекратил свои нападки и начал кампанию против Бисмарка в защиту социал-демократии. Вскоре он сблизился с Бебелем и Либкнехтом и в 1891 г. стал членом социал-демократической партии, принимая постоянное участие в «Neue Zeit» («Новое время»), в ее теоретическом органе. В начале 1915 г. Меринг примкнул к союзу «Спартак» и вскоре стал

---

1 Ленин, Соч., т. VII, стр. 384—385.
2 Маркс и Энгельс, Соч., т. XXVII, стр. 482.
3 Ленин, Соч., т. XIII, стр. 290.
4 Ленин, Соч., т. XI, стр. 76.

одним из его руководителей, а затем членом коммунистической партии Германии.

В своей теоретической и практической работе Меринг допускал крупные ошибки. Он выступал против Маркса и Энгельса в защиту лассальянства, влияние которого сказалось в его основном капитальном труде «История германской социал-демократии». В борьбе с неокантианством и махизмом он допустил ряд идеалистических ошибок, так как находился под влиянием созерцательного материализма Фейербаха и некритически относился к идеалистической диалектике Гегеля. Меринг выступал против социал-шовинизма и центризма, но вместе со всеми левыми германской социал-демократии не шел на разрыв, на раскол с ними.

«Конечно, у левых в Германии были не только серьезные ошибки. Они имеют за собой также большие и серьезные революционные дела», писал товарищ Сталин [1].

Меринг вел борьбу с бисмарковской реакцией. Он боролся с ревизионизмом Бернштейна, в частности с его неокантианством, которое являлось философской основой ревизионизма. Он выступал против меньшевистской оценки первой русской революции 1905 г. Меринг выступил против первой мировой империалистической войны 1914—1918 гг., за что был арестован и брошен в тюрьму. Он вел борьбу с каутскиантством и первым приветствовал победу Великой социалистической революции в России. Он выступил защитником советской власти и сторонником позиции большевиков по вопросу о Брестском мире.

Меринг был диалектическим материалистом, хотя не всегда последовательным, и хорошо владел методом исторического материализма, обладая обширными историческими познаниями. Это обеспечило ему глубокий марксистский анализ вопросов военной истории. Военно-историческое наследство Меринга представляет большую научную ценность.

* * *

«Очерки по истории войн и военного искусства» — это сборник статей, написанных Мерингом в разное время.

Первая статья написана в 1908 г. и является обширной рецензией на первые три тома «Истории военного искусства» известного буржуазного германского военного историка Ганса Дельбрюка. Она охватывает большой период в развитии военного искусства, начиная с греко-персидских войн и кончая швейцарско-бургундскими войнами.

В 1914 г. Меринг написал статью «Военно-исторические экскурсии», которая кратко излагает дальнейшее развитие военного искусства до наполеоновских войн.

---

[1] Сталин, Вопросы ленинизма, 10-е изд., стр. 472.

«Внешняя и военная политика Фридриха II» — это две главы обширной монографии Меринга «Легенда о Лессинге» (1893 г.), дающие представление о кабинетных войнах XVIII в. и, в частности, о Семилетней войне.

«Войны эпохи Французской революции», «Катастрофа», «От Тильзита до Таурогена», «От Калиша до Карлсбада» — эти статьи являются главами книг Меринга, выпущенных в 1913 г., к столетнему юбилею освободительной войны Германии против Наполеона.

Расположенные в этом порядке, военно-исторические статьи Меринга дают представление о развитии военного искусства с древнейших времен до наполеоновских войн включительно. Глубокий марксистский анализ вопросов военной истории определяет важное значение этих работ Меринга.

Как и во всех своих исторических работах, в статьях по истории войн и военного искусства Меринг мастерски пользуется методом исторического материализма. Он рассматривает войну как продолжение насильственными средствами политики заинтересованных государств и разных классов внутри этих государств. Показывая развитие военного искусства, он исходит из марксистского понимания его закономерностей.

Однако в военно-исторических трудах Меринга имеются отдельные неточности и неправильные утверждения.

Работы великого военного историка Энгельса Меринг характеризует лишь как «многообещающее начало». Энгельса он ставит рядом с Бюркли. Совершенно неправильно Меринг противопоставляет «Энгельсу-борцу» «Энгельса-исследователя». Энгельс был и глубоким научным исследователем и одновременно самым последовательным революционным борцом.

Тезису Энгельса о роли огнестрельного оружия в деле уничтожения феодализма Меринг неправильно противопоставил пехоту, которая якобы в этом отношении сыграла решающую роль. Энгельс указал прежде всего на незаметную работу угнетенных классов, которая подрывала феодальную систему во всей Западной Европе. Во-вторых, «...Еще задолго до того, как стены рыцарских замков были пробиты выстрелами новых орудий, их основы были подрыты деньгами. На самом деле порох был, так сказать, простым судебным исполнителем на службе у денег»[1]. Буржуазный способ производства, выросший в недрах феодализма, — вот основная причина его разложения и гибели.

Не дает Меринг глубокого анализа причин разгрома Наполеона русским народом. «Представления о войне», которые существовали у русского народа, продовольственные затруднения армии Наполеона,

---

[1] Энгельс, Рукопись о разложении феодализма, журнал «Пролетарская революция», № 6, 1935 г., стр. 154.

«обширные пространства русского государства», наконец, морозы — вот причина поражения Наполеона. Империалистический характер похода Наполеона и борьба русского народа против его империализма — вот основная причина разгрома бонапартовских полчищ. Об этом Меринг не говорит.

В изложении войны 1813—1814 гг. у Меринга выпал тот факт, что русская армия была «ядром и спинным хребтом коалиционной армии» (Энгельс). Он недооценивал как русскую армию, так и русских полководцев.

В вопросе о стратегических формах Меринг пошел за Дельбрюком, ограничился стратегией истощения и измора и не показал развития стратегии и богатого содержания ее форм. Меринг совершенно правильно ведет полемику с Бернгардом и Шлиффеном о стратегии Фридриха и Наполеона.

Меринга интересует анализ исторических фактов. Поэтому в работах Дельбрюка он прежде всего останавливается на его критическом методе и правильно оценивает буржуазного историка. Следовало лишь подчеркнуть, что Клаузевиц как историк, военный философ и теоретик стоит несравненно выше Дельбрюка.

Отмеченные недочеты в военно-исторических работах Меринга говорят о необходимости критического подхода при их изучении. Это ни в коей мере не исключает их богатого марксистского содержания. Вслед за военно-историческими работами классиков марксизма-ленинизма труды Меринга являются лучшими марксистскими произведениями по военной истории. Их надо не только читать, их надо изучать. «Избранные военные произведения» Энгельса (тт. I и II) и «Очерки по истории войн и военного искусства» Меринга должны стать настольными книгами командира и политработника Красной Армии.

Профессор полковник Е. РАЗИН

ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ИСКУССТВА[1]

Ганс Дельбрюк — «История военного искусства в рамках политической истории»

Первая часть — Древние времена. Вторая часть — Германцы. Третья часть — Средние века

В первоначальных своих истоках социалистическое мировоззрение коренится в буржуазном просвещении. Лишь преодолев иллюзии последнего, социалистическое мировоззрение может встать на собственные ноги и создать вместо мнимого знания, служащего в действительности лишь интересам эксплоататорских классов, истинную науку, которая стремится проникнуть в глубь исторических явлений и способна это сделать, так как она не связана с господствующими интересами какого-либо эксплоататорского класса.

Ясно, однако, что этот процесс освобождения от буржуазного просвещения может происходить лишь постепенно и что многое туманит еще и до сих пор ясное познание, необходимое рабочему классу, чтобы обеспечить его победу. Ни в одной области, кажется, не проявляется это в такой степени, как в области военной науки. Мы достаточно насмехались над буржуазными проповедниками мира, но все же и у нас сохранилось кое-что от того настроения, которое заставляло Бокля — великого историка манчестерства — с презрением смотреть на «малозначащие события битв и осад». Многообещающее начало, которое положили Энгельс и Бюркли своими военно-научными работами, нашло свое продолжение лишь совсем недавно в прекрасном сочинении Гуго Шульце «Кровь и железо».

Пролетариат боролся с капиталистическим способом производства с того самого момента, как почувствовал на себе

[1] Напечатано отдельным приложением к «Neue Zeit» за 1908/09 г., ч. I, стр. 1—52.

его удары, но силу для его преодоления он почерпнул из убеждения, что этот способ производства означает крупный исторический прогресс. Против же войны мы боремся вследствие тех бедствий, которые она навлекает в первую очередь на рабочий класс, не выполняя в то же время той роли одного из рычагов исторического прогресса, которую она выполняла в классовом обществе до новейшего времени, несмотря на связанные с ней бедствия. Без войн наполеоновского периода Германия погибла бы в болоте феодализма, как это случилось незадолго перед этим с Польшей, а пушки войны 1870 г. открыли Германии ворота мирового рынка. Непонимание этого исторического значения войн в классовом обществе было ошибкой Бокля и сейчас является заблуждением буржуазных утопистов мира, с которыми так легко справляются приверженцы Молоха [1].

С другой стороны, мы, признавая историческое значение войны, естественно, очень далеки от того, чтобы признавать ее рычагом человеческого прогресса. Социализм относится к милитаризму как раз так же, как и к его близнецу — капитализму: он не поворачивается к нему спиной, бормоча сердитые и банальные фразы, по примеру буржуазных пацифистов, но он изучает его слабые и сильные стороны, чтобы с тем большей уверенностью победить его.

Весьма ценным пособием для этой цели является «История военного искусства в рамках политической истории», которую с 1900 г. начал выпускать известный профессор истории при Берлинском университете Ганс Дельбрюк. По нашему мнению, она является наиболее серьезным трудом исторической мысли буржуазной Германии последнего столетия, и мы считаем поэтому необходимым подвергнуть ее тщательному рассмотрению.

1. МЕТОД

Не совсем маловажным для характеристики автора является то, что в предисловии он тотчас же рекомендуется как прежний воспитатель принца, многому научившийся у другого военного воспитателя принца, в то время как «наши молодые господа играли под нашим наблюдением на гимнастической площадке у нового дворца»; он заявляет, что человек, впервые пробудивший в нем такой интерес к военно-научным занятиям, который ничто не могло заглушить впоследствии, был не кто иной, как Вильгельм Рюстов, поль-

[1] Молох — бог войны в древней Финикии.

зующийся, как известно, весьма дурной славой в прусской военной истории[1].

В своем предисловии Дельбрюк указывает, что цель его работы — дать историю военного искусства в рамках политической истории: «Я совсем не предполагал написать историю военного искусства во всем ее объеме; сюда относились бы различные детали уставного обучения с его командами, техника вооружения, выездка лошадей и уход за ними, система укрепления и осады, наконец, все морское военное дело, т. е. вещи, о которых я или не могу сказать ничего нового, или же о которых я никогда не был достаточно осведомлен. Историю военного искусства в этом смысле надо еще написать. Что может дать история для практических целей,— это задача военных. У меня у самого нет в этом направлении достаточного критерия. Я только историк и хотел написать свою работу для друзей истории, пособие для историков в духе Леопольда Ранке». Так был поставлен вопрос об историческом методе г. Дельбрюка самим автором.

О выборе метода, видим мы, говорит имя Ранке; об историческом методе Карла Маркса г. Дельбрюк отзывался, как о бессмыслице, которой серьезная наука имеет полное право пренебрегать. Г-н Дельбрюк находится здесь в заблуждении на свой собственный счет. С Ранке он, по существу, имеет мало общего, так как его военно-научные исследования, именно потому, что он серьезно производит их, ведут всегда к экономической подоплеке явлений, и вследствие этого он гораздо ближе подходит к материалистическому методу изучения истории, чем это можно было бы заключить по его устрашающим проклятиям этому методу.

Можно было бы подумать, что г. Дельбрюк пользуется своими заклятиями против марксизма лишь как прикрытием для своих исторических ересей. Но на самом деле это было бы по отношению к нему горькой несправедливостью. Он ни в коем случае не карьерист. Он очень часто идет против корыстных предрассудков господствующих классов, а именно — гогенцоллернской легенды. Точно так же он нисколько не боится с большой похвалой отзываться об исторических сочинениях, изданных социал-демократами, как, например, о совершившей переворот работе т. Бюркли

---

[1] Вильгельм Рюстов — германский демократ. Его политическая деятельность относится к 40—60-м годам. Рюстов был в близких отношениях с Фердинандом Лассалем и сочувственно относился к социалистам. Впоследствии перешел в лагерь Бисмарка.

по поводу битв у Моргартена и у Земпаха или же о работе г. Реннера об австрийских делах; последней он не мог нахвалиться, прибавив, однако, что, к сожалению, Реннер писал ее, пользуясь историко-материалистическим методом, и это является якобы настоящей кляксой в его прекрасном произведении. Тот, кто читал работу Реннера и имеет хоть какое-нибудь понятие об историческом материализме, ни минуты не будет сомневаться в том, что она, как это и следовало ожидать от нашего друга Реннера, является образцовой в смысле применения марксистского метода.

Как это ни странно, но абсолютное непонимание исторического материализма, проявляемое г. Дельбрюком, дает ему значительные преимущества над г. Зомбартом и прочими, разыгрывающими среди историков и экономистов роль «марксистов». Г-н Дельбрюк слишком честен и рассудителен, чтобы превращать исторический материализм в профессорскую забаву; чего он совсем не понимает, да и не может понять как буржуазный исследователь, но что, однако, больно бьет его по нервам,— это диалектика исторического материализма, превращенного Марксом и Энгельсом в орудие, годное не только для познания капиталистического общества, но и для его свержения. Вместо того чтобы развести мазню, как г. Зомбарт и ему подобные, г. Дельбрюк часто пишет целые страницы так, что ни один марксистский историк не написал бы их яснее и обоснованнее, а затем опять впадает в такую фантастику, какой не найдешь ни у одного буржуазного историка; например, в том случае, когда он открывает в остэльбском ландрате последние остатки старогерманской свободы. Такие же поразительные вещи встречаются и в его истории военного искусства.

Сущность своего исторического метода он определяет как внутренне непрестанное взаимно-контролирующее сочетание филологической критики и критики по существу. «Не может быть истинной критики событий без достоверной, филологически правильной основы, и не может быть правильной филологической критики без критики фактов». «Правильный, единственно достоверный метод — не тот метод, при котором, за неимением достоверных сведений, пользуются менее достоверными, стараясь сделать их более или менее вероятными, но тот метод, при котором твердо и резко разграничивают, что следует считать правильно переданным и что таковым считать нельзя». Несколько примеров дадут лучшее представление об этом методе, чем длинные рассуждения.

Войско, которое персидский царь Ксеркс привел в Грецию, определялось греческим историком Геродотом совершенно твердо в 4 200 000 человек, включая сюда и обоз. Армейский корпус в немецком походном порядке занимает около 3 миль (без обоза). Походная колонна персов должна была, следовательно, растянуться на 420 миль, так что, когда передовые отряды подходили к Фермопилам, последние отряды должны были лишь выступить из Сузы по ту сторону Тигра. Немецкий армейский корпус везет с собой артиллерию, зарядные ящики, занимающие много места; войско древних времен могло бы поэтому занять несколько меньшее пространство. Но, с другой стороны, персидское войско наверняка имело очень слабую походную дисциплину; надлежащая походная дисциплина может быть достигнута лишь при очень точном расчленении войскового организма, при непрерывном внимании и напряжении. Без маршевой дисциплины колонны очень быстро растягиваются на двойную и тройную длину. Таким образом, персидские войска, и при отсутствии у них артиллерии, с трудом могут быть приравниваемы к современным войскам в отношении необходимого для их передвижения пространства. Следовательно, цифра Геродота неправдоподобна.

В своей книге о Галльской войне Цезарь рассказывает о гельветах, что они передвигались с женщинами и детьми, стыскивая новые места для поселения; по его утверждению, вся масса насчитывала в общем 368 000 человек и везла с собой съестных припасов на 3 месяца. По вычислениям, которые произвел Наполеон III в своей «Жизни Цезаря», для перевозки только одной муки потребовалось бы 6 000 четырехконных повозок; еще 2 500 повозок он считает необходимыми для перевозки багажа — по 15 килограммов на человека. Обоз из 8 500 повозок, считая по 15 метров на повозку, займет пространство в 17 немецких миль. При состоянии дорог в тогдашней Галлии повозки редко могли ехать по нескольку в ряд. В узких же местах дороги ряды должны были задерживаться даже и в том случае, если можно было двигаться полем. Походная дисциплина, несомненно, была слаба, часто происходили заторы и создавались интервалы; повозки были запряжены преимущественно быками. К этому надо прибавить огромное количество мужчин, женщин и детей, а также упряжный скот, стада и молодняк. В конце концов г. Дельбрюк высчитывает до мелочей, что такой обоз совершенно не мог бы двигаться. Таким образом, число передвигавшихся гельветов, указанное Цезарем, сильно преувеличено.

Вот пара взятых наудачу примеров, чтобы пояснить метод Дельбрюка. Сами по себе они не говорят слишком много; геродотовские цифры, относящиеся к персидскому войску, и ранее брались под сомнение, а глава Цезаря о гельветах также много раз была предметом критики. Что действительно ново в работе г. Дельбрюка и что дает ей исключительную ценность — это последовательное и ясное применение определенного принципа, жесткое проведение его через всю военную историю, вследствие чего она принимает существенно новый вид. Надо отметить, что точное восстановление чрезмерно преувеличенной численности войск красной нитью проходит через все три тома, от персидских войн к бургундским войнам, которыми и заканчиваются вышедшие до настоящего времени в свет тома работы г. Дельбрюка.

Войско Карла Смелого под Гранзоном определялось швейцарскими современниками в 100 000 — 120 000 человек, под Муртеном он имел будто бы в три раза больше. На самом же деле при первой битве в его распоряжении было около 14 000 человек, а при второй — на несколько тысяч больше. Швейцарцы склонны были неимоверно преувеличивать силы врага, а на деле имели в обеих битвах серьезный численный перевес. Лишь под одним Гранзоном они убили будто бы 7 000 бургундцев; в действительности же было убито 7 рыцарей и несколько рядовых воинов. Войска гуситов, наводившие ужас на всю Германию и описывавшиеся как необозримые полчища, насчитывали всего 5 000 человек.

И так было до самого новейшего времени, как указывает г. Дельбрюк еще в своем первом томе. Эрнст-Мориц Арндт определял в 1814 г. общие потери людьми во всех наполеоновских войнах более чем в 10 миллионов человек; позднейшее исчисление не достигает и 2 миллионов, из которых четвертая часть падает на французов, но весьма возможно, что и эти цифры значительно преувеличены. Во всех научных описаниях так называемых «освободительных» войн говорится, что в бою под Гагельсбергом бранденбургский ландвер разбил прикладами черепа 4 000 французов. Трейчке даже пишет: «Из своих 9 000 человек Жерард вывел лишь 1 700 человек из ужасов этой битвы ландвера». На самом же деле под Гагельсбергом было убито 30 французов.

Этот метод г. Дельбрюка сам по себе тоже не нов; первым его представителем можно считать, пожалуй, англичанина Георга Грота, который, пользуясь своим практическим знанием современной демократии, восстановил исто-

рию афинской демократии, превратившуюся в передаче антидемократических писателей, при однобокой формальной критике боязливых немецких филологов времен Французской революции и карлсбадских решений, в тенденциозную сказку. Опыт Грота благотворно подействовал на немецких историков, хотя далеко не основательно, как это нам еще покажет и сам г. Дельбрюк. Однако в области своего специального исследования истории военного искусства г. Дельбрюк действует так же решительно, возможно, даже еще решительнее, чем Грот, и мы не знаем, может ли какой-нибудь другой немецкий историк сравняться с ним в этом.

Центр тяжести его метода лежит в полном проникновении, во взаимном контроле критики слов и критики фактов. Однако при этом все же угрожает опасность или повторить какое-нибудь неверное предание, так как неизвестно, был ли случай, о котором оно говорит, или же перенести современное явление в область прошлого, не обратив внимания на разницу в условиях. Этим опасностям буржуазная история подвергалась бесконечно долго и бесконечно часто; эта опасность в первую очередь угрожает новаторам вроде г. Дельбрюка. Однако благодаря своему основательному техническому знанию военного дела он в общем удачно ее избегает,— во всяком случае удачнее, чем Моммзен, на которого он ссылается. В «Римской истории» Моммзена стремление освещать события древности под углом зрения современных событий часто превращается в настоящую манию, которая больше мешает, чем объясняет.

Поистине ужасно то побоище, которое г. Дельбрюк устроил античным авторам и средневековым летописцам, прежде всего, конечно, в области военно-научных исторических суждений, часто переходящее, однако, и в другие области вследствие того, что военное дело не может рассматриваться совершенно изолированно; у многих старых господ профессорского цеха, в течение 30 или 40 лет пользовавшихся в своих записях «источниками» древности и средневековья, парики встали дыбом. Одного из этих чудаков, выступившего против его первого тома, г. Дельбрюк с большим юмором разделывает во втором томе.

Но — странное противоречие! — тот самый человек, который так мало церемонится со светскими авторитетами античной литературы, посвящает свою работу своему «родственнику и верному другу Адольфу Гарнаку», историку церкви, стремящемуся защитить историческую правдивость евангелия от критики Штрауса и Бауэра.

Если правильны принципы исторического исследования, на которых строит свою работу г. Дельбрюк, то под солнцем нет более ужасного преступника перед историческим познанием, чем г. Гарнак.

2. МАРАФОН и ФЕРМОПИЛЫ

Г-н Дельбрюк начинает свою историю военного искусства с персидских войн, с того исторического периода, относительно которого у нас существуют более или менее верные сведения, хотя и значительно искаженные легендами, записанными со слов ближайших поколений.

Персидское войско переправилось через Эгейское море и высадилось на Марафонской равнине за 490 лет до нашей эры в количестве, которое в точности неизвестно, но которое во всяком случае превышало силы, имевшиеся у афинян. Это было войско профессиональных солдат, состоявшее из лучников и всадников.

Афинское войско, наоборот, было ополчением граждан, закованной в панцыри пехотой, с копьями приблизительно в 2 метра длины, шлемами, латами, ножными латами, щитами как оборонительным оружием и небольшими мечами как вспомогательным оружием. Эти гоплиты, как они назывались, соединялись в тесно сплоченный тактический строй— фалангу. Фаланга представляла собой непрерывный развернутый строй в несколько шеренг с изменяющейся глубиной, часто в 8 или 12 и даже 25 человек. По данным с греческой стороны, афинское войско под Марафоном достигало 10 000 человек, включая в это число или же сверх него еще 1 000 платейцев, но эти цифры ни в каком случае не внушают доверия. Платея — очень небольшой городок, а судя по тому количеству войска, которое Афины смогли выставить десятью годами позже, после могучего развития своей силы и благосостояния, невозможно предположить, чтобы этот бедный город уже в 490 г. мог выставить 1 000 или хотя бы 900 гоплитов с их дорогостоящим вооружением. Под Марафоном было вряд ли более 5 000 гоплитов, причем каждого из них сопровождал невооруженный слуга.

После долгого спора, следует ли ожидать нападения персов в городе или же выступить навстречу врагу, афиняне, по совету Мильтиада, приняли более смелое решение: они выступили и заняли позицию в небольшом ущелье в горах, со всех сторон окружающих Марафонскую равнину, — в долине Врана, по которой шел путь на Афины. На Марафонскую равнину афиняне не могли спуститься, так как при существовавшей комбинации персидских сил фаланга

афинян, будучи атакована с фронта лучниками, а с боков всадниками, была бы неизбежно разбита. Поэтому она (фаланга) при входе в долину Врана загородила дорогу на Афины; с флангов она была защищена горами и, не имея на своей территории никаких забот о снабжении, спокойно могла ожидать прихода спартанцев, помощи которых афиняне затребовали через своего гонца.

Оба войска, таким образом, стояли друг против друга 3 дня. Персидские полководцы медлили с атакой сильных позиций афинян, хотя им ничего не оставалось больше делать, если они хотели пройти к Афинам. Если бы у них было большое численное превосходство, которым они, по преданиям, будто бы обладали, то очень легко было бы сказать и еще легче было бы выполнить то, что могло дать им победу. Часть персидского войска могла бы удерживать афинян на месте, тогда как другая часть могла обойти их и заставить покинуть эту сильную позицию. И если персидские полководцы Датис и Артаферн не попытались этого сделать и после многодневного колебания бросились быку на рога, лишь бы не дожидаться прибытия спартанцев, — это веско доказывает, что они ни в каком случае значительно не превосходили афинян численностью, а может быть, даже были слабее их.

По рассказу Геродота, афиняне, произведя контратаку бегом на расстоянии 8 стадий, обрушились на врага и опрокинули его. Но это — очевидная небылица: ни греческая фаланга, ни какая-нибудь другая организованная боевая часть не может пробежать 1,5 километра, т. е. пятую часть немецкой мили, не придя в полный беспорядок и не сделавшись легкой добычей врага. По прусскому регламенту упражнений для пехоты бег в походном снаряжении не может продолжаться более 2 минут на протяжении 350 шагов, если войска должны быть брошены на врага с неослабленной энергией. Г-н Дельбрюк опровергает столь же остроумно, как и достоверно, эту явную ошибку Геродота: как раз на расстоянии 8 стадий от долины Врана возвышается могильный курган, насыпанный афинянами в честь их павших воинов на том месте, где произошла не первая, но последняя стычка.

На этом кургане стоял Геродот, и ему рассказывали, что до этого места на 8 стадий от долины продвигались вперед афиняне, но не в атаке, как понимал Геродот, а в процессе боя и преследования, как это хотел выразить его собеседник. Совершенно непонятно, почему это очень правдоподобное толкование, которое впервые делает понятным ход битвы

и не наносит большого вреда почтенному Геродоту, вызвало следующее насмешливое замечание досточтимого филолога фон-Вилламовиц-Меллендорфа: «Сказочный пробег никого не должен смущать. Артемида дала им силу для этого и получила в благодарность жертвоприношение козлом. Не следует, вследствие предубеждения и непонимания, оспаривать, что твердое упование на бога и собственные хорошие качества принесли победу, несмотря на все измышления человеческого маловерия».

Благодаря этому исправлению Геродота при помощи прусского устава ход битвы становится совершенно ясным. Мильтиад дал подойти наступающему врагу на дистанцию в 100 или 150 шагов, пока не сделались чувствительными стрелы персидских лучников; тогда он приказал фаланге бегом броситься на врага. Бег имел двойную цель — усилить физически и морально удар атаки и затруднить стрельбу лучников. При коротком пробеге конница противника не имела достаточно времени, чтобы атаковать фалангу с боков. Массы лучников, с их очень несовершенным предохранительным вооружением, рассеялись под натиском этого удара, и, когда после короткого сопротивления начался общий поток бегства по всей равнине, персидская конница не могла уже изменить ход сражения. Все персидское войско поспешило к кораблям, и ему удалось уйти, так как оно получило передышку в то время, когда Мильтиад на месте, где сейчас возвышается холм, собирал своих опьяненных победой людей и подготовлялся к новой битве против кораблей, из которых в конце концов было захвачено лишь семь.

Г-н Дельбрюк высказывает следующее суждение относительно битвы: «На пороге мировой военной истории стоит исполинская фигура полководца Мильтиада; самая совершенная и трудная форма ведения боя, которую когда-либо, до самого новейшего времени, применяло военное искусство, — оборонительно-наступательная, — выступает перед нами в четких линиях классического шедевра. Какой кругозор в выборе позиции, какое самообладание при ожидании вражеского нападения, какой авторитет в массах, состоявших из сознательных демократических граждан, — авторитет, столь необходимый для того, чтобы удержать бойцов на избранной позиции, а в решительный момент повести их в атаку бегом. Все рассчитано на этот момент: ни минутой ранее, — иначе афиняне достигли бы врага в беспорядке, задыхаясь от усталости; ни минутой позже, — иначе стало бы попадать в цель слишком много вражеских стрел, и огромное количество падающих и колеблющихся ослабило

и сломило бы, наконец, силу атаки, которая должна была обрушиться на врага, как горная лавина, чтобы достигнуть победы. Мы знаем лишь нечто подобное этому, но не более великое, чем это».

Величие этой битвы нисколько не ослабляется оттого, что легенда сменяется здесь историей; греческие писатели находятся в странном противоречии с самими собой, рисуя персов то великолепными, храбрыми воинами, то большими трусами, которых гонят в битву плетьми. Но совершенно ясно, какое из этих мнений должно взять перевес. В экспедицию на Грецию персидский царь, несомненно, послал лучшие войска, и разговоры о трусости персов возникли лишь из необходимости объяснить, как могло небольшое греческое войско победить во много раз большее количественно войско персов. Фактически под Марафоном ополчение граждан маленькой республики разбило отборное регулярное войско могущественного деспота. Для легенды это очень сложное явление. «Понятие о качестве для масс слишком тонко, они превращают его в понятие о количестве», думает г. Дельбрюк с тем истинно гегельянско-марксистским уклоном, который заставил бы его задрожать от ужаса. Таким образом, история далеко превосходит легенду, согласно которой горсть храбрых греков обратила в бегство необозримые массы трусливых персов.

Персидский царь Дарий не примирился с своим поражением и снарядил для покорения Греции большое войско, которое после его смерти повел в Грецию сын его Ксеркс в 480 г. Войско было слишком велико, чтобы можно было переправить его на кораблях, и так как предполагалось покорить всю Грецию, то также и по этой причине персы решили итти сушей, чтобы на своем пути принудить к признанию персидского владычества все независимые племена. Войско сопровождал большой флот, чтобы облегчить его снабжение и поразить греков на море.

Относительно этой второй Персидской войны, происходившей при несравненно более сложных условиях, мы осведомлены гораздо менее, чем относительно первой, и искажения легендарного характера не поддаются такому легкому исправлению. Решительная битва у Саламина была морской битвой; здесь отсутствует местность, которая так помогла при Марафоне установить ход событий. После своего поражения у Саламина Ксеркс с флотом покинул театр войны, оставив, однако, свое сухопутное войско под предводительством полководца Мардония на греческой территории. Через год после этого оно было разбито под Пла-

теей греческим войском под командой спартанского царя Павзания; поскольку позволяют судить недостоверные и часто противоречивые сообщения, оно было разбито таким же способом, как и под Марафоном.

Из этого второго персидского похода могут быть сделаны лишь два вывода: сказания о бесчисленных массах персов относятся, собственно, к войску Ксеркса. Геродотовские 4 миллиона (из которых 2 миллиона бойцов) следует, конечно, отбросить, хотя один французский исследователь новейшего времени, которому нельзя отказать ни в знаниях, ни в проницательности, соглашается уменьшить массу персидского войска в 1 700 000 лишь на 1 или 2 сотни тысяч. Другие исследователи древности согласны на бо́льшие уступки, но все же и они допускают существование стольких сотен тысяч, сколько миллионов насчитывает Геродот. Г-н Дельбрюк и здесь подходит к делу решительно: он оценивает общую массу персидского войска в 60 000 — 80 000 человек, из которых лишь 25 000 являлись настоящими бойцами.

Возможно, что он заходит здесь несколько далеко; по его собственному мнению, кое-что в этих цифрах может еще нуждаться в исправлении в том смысле, что они, возможно, слишком низки. Во всяком случае, вместо геродотовских миллионов речь идет о лишнем десятке тысяч. В основном пункте — в методическом принципе исследования — Дельбрюк, несомненно, прав. Если численность войска, указанная Геродотом, кажется чистой фантазией, совершенно немыслимой в действительности, то такой же чисто фантастической забавой, лишенной всякого научного значения, было бы уменьшение этих цифр до тех пор, пока они не покажутся возможными и допустимыми. Единственно правильным методом является — определить на почве критики фактов, какой численности могло достигать персидское войско в действительности.

По Геродоту, греки имели под Платеей 110 000 человек, из них около 38 000 бойцов. Эти цифры уже потому неправдоподобны, что такая армия представляла совершенно непреодолимые для того времени трудности снабжения; такую массу греки не могли прокормить продолжительное время в одной и той же местности. Кроме того, они послали флот с 20 000 гоплитов, чтобы принудить Ионические острова к отпадению от персидского владычества; они не могли держать для сухопутной войны и 40 000 гоплитов. При тогдашних экономических ресурсах греческих государств они могли выставить у Платеи от 15 000 до 20 000 гоплитов и такое же число легко вооруженных бойцов.

Из того, что греки не решались на битву в открытом поле, следовало, что у Мардония был перевес; но разница ни в коем случае не была очень велика, так как персидскому полководцу никогда не удавалось тем или иным маневром вытеснить греков из их оборонительной позиции у Киферона. Самое большее, что персы могли иметь под Платеей, это 25 000 тяжело вооруженных бойцов; сообразно этому г. Дельбрюк и определяет сухопутное войско, приведенное Ксерксом в Грецию. Потери, которые оно понесло до Платейской битвы, он компенсирует отрядами, выставленными подчиненными греческими племенами, и морскими солдатами, оставленными Ксерксом при его возвращении в Персию.

Между 25 000 и 2 000 000 или же, если считать всю массу войска, между 70 000 и 4 000 000 действительно огромная разница, и невольно возникает вопрос, как могла она образоваться даже в легенде. Г-н Дельбрюк отвечает на это, что в военной истории много примеров того, как трудно, даже для опытного глаза, правильно оценить большие человеческие массы. Мольтке рассказывает в своей истории русско-турецкой войны 1828—1829 гг., что после перехода Дибича через Балканы один турецкий офицер, посланный на разведку, вернулся с донесением, что легче сосчитать листья в лесу, чем головы во вражеском войске, хотя у Дибича было лишь 25 000 человек. Если принять во внимание, что 70 000 человек Ксеркса продвигались с большим количеством лошадей, при плохой походной дисциплине, по узким неровным дорогам, перерезанным возвышенностями, реками и другими естественными препятствиями, то ясно, что они образовывали колонну по меньшей мере на 10 миль в глубину; у жителей, которые в течение целых дней видели все новые и новые войска, исчезло всякое представление о цифрах, и фантазия их получила полную свободу.

Второй вывод, на котором мы несколько задержимся, касается боя при Фермопилах, слава которого стала такой же баснословной, как и слава Марафонской битвы. Запирать горные проходы перед подавляющей наступающей силой всегда ошибочно: через каждый горный хребет всегда ведет много дорог; все их занять очень трудно, а все защитить невозможно,— и без предателя Эфиальта персы нашли бы себе дорогу в обход Фермопил. Если хотят использовать горный хребет как прикрытие, то теория тактики требует, чтобы главные силы были расположены против дорог, ведущих через хребет, с тем чтобы разбивать наголову отдельные отряды врага, которые постепенно бу-

дут продвигаться вперед. Кажется, что здесь греки сделали, таким образом, большую ошибку.

В действительности дело обстояло иначе. Было совершенно невозможно, чтобы греки могли использовать Эту как прикрытие в только что указанном истинном значении этого слова; они не могли объединить здесь все свои силы и дать наступательное сражение. От гражданского ополчения нескольких мелких республик нельзя было ожидать, чтобы оно отослало так далеко от родины свои объединенные войска, поставив их под опасность большой битвы; к тому же большая часть греков, а именно афиняне, была намерена искать решительного столкновения на море, где оно и произошло.

Однако, прежде чем греки выиграли битву у Саламина, персам была отдана не только вся средняя Греция, но пришлось даже очистить и самый город Афины. Если бы страна была отдана врагу без малейшего сопротивления, это оказало бы крайне деморализующее действие. Поэтому и было занято Фермопильское ущелье, а одновременно с этим греческий флот произвел нападение на персидский у мыса Артемизион. В случае победы флота открывалась возможность, что Ксеркс откажется от нападения и со стороны суши. Однако под Артемизионом оба флота сражались в течение нескольких дней без решительного результата, и в конце концов греческий флот отступил; он ожидал крупного подкрепления и хотел исправить нанесенные ему повреждения в родных гаванях, что для персидского флота было гораздо затруднительнее.

Вместе с тем исчезла и всякая рациональная цель занятия Фермопильского ущелья. Маленькому войску под командой спартанского царя Леонида оставалось или погибнуть, или возвратиться обратно. «Критики говорят, что Леонид должен был отступить, — во всяком случае критики отступили бы», таково остроумное выражение Генриха Лео. Леонид хотя и приказал своему небольшому войску отступить при известии о наступлении персов, но сам с 300 спартанцев остался, чтобы прикрыть отступление и принесением себя в жертву доказать, что формально ошибочная защита ущелья в действительности лишь подготовляла конечную победу. Леонид учитывал моральный элемент войны. Для будущих сражений имело неизмеримо большое значение то, что вступление в коренную Элладу не обошлось варварам без боя.

Сами греки именно так и понимали битву под Фермопилами, как это показывает их классическая надпись на могиле Леонида и его 300 спартанцев:

«Странник, возвести Спарте, что мы легли здесь все триста, повинуясь законам отечества».

3. ПЕЛОПОННЕССКАЯ ВОЙНА

Совсем другой характер, чем персидские войны, имеет война Пелопоннесская. Те характеризовались главным образом различием борющихся сил в вооружении и тактике. Здесь греки боролись с греками, но таким образом, что одна сторона имела на море такое же большое превосходство, какое другая имела на суше.

Вследствие этого была поставлена совсем иная стратегическая задача. В персидских войнах стоял вопрос о крупных решениях — о том, покорит ли персидский царь Грецию или же будет из нее прогнан обратно. Наоборот, Пелопоннесская война продолжалась 27 лет без какого-либо решительного сражения и кончилась взаимным истощением и опустошением подобно Тридцатилетней и Семилетней войнам новейшего времени.

Разница, впервые проявившаяся между персидскими войнами и Пелопоннесской войной, постоянно наблюдается и в дальнейшей истории военного искусства: это разница между войной на уничтожение и войной на истощение. Эти войны отличаются по своим целям и средствам, но свойственное им различие является и руководящей нитью, которую никогда не следует терять из виду тому, кто хочет разобраться в лабиринте истории. Можно притти к самым нелепым, ложным выводам, если войну, ведущуюся по законам стратегии на истощение, оценивать по законам стратегии на уничтожение.

Г-н Дельбрюк говорит, что как в лице Мильтиада, Леонида, Фемистокла, Павзания эллины выдвинули гениальные творческие головы, которые, как только возникла необходимость в стратегии на уничтожение, поняли ее во всей глубине, разрешая поставленные перед ними задачи с классической твердостью, так в Перикле появился человек, про которого можно сказать то же в отношении стратегии на истощение. Перикл понимал, что его город, т. е. Афины, был слабее Пелопоннесского союза, и с неумолимой логикой делал отсюда вывод, что афиняне не должны вступать ни в какие большие сухопутные битвы, не должны защищать свои владения от вражеских вторжений и опустошений и на время войны должны отказаться от всяких новых завоеваний. Наоборот, они не могут допустить ослабления своих морских сил и, ведя войну на море, блокируя

афинским флотом вражеские берега, уничтожая торговлю городов-противников, высаживаясь там и здесь и производя неожиданные нападения на вражеские земли, должны наносить им еще больший вред, чем тот, который наносят враги Аттики на суше, чтобы в конце концов заставить утомленных войной противников уступить.

Спрашивается: была ли стратегия Перикла правильна или нет? Быть может, Афины могли и должны были вести войну на уничтожение, чтобы обеспечить себе господство над всей Грецией, подобно тому как Рим приобрел господство над всей Италией? Г-н Дельбрюк вел по этому поводу горячую полемику с другими буржуазными учеными, которые на самом деле утверждали и пытались доказать в ученых сочинениях, что Перикл очень заблуждался в своей стратегии. Эта распря не была лишена известного комического привкуса. После войны 1870—1871 гг. прусский милитаризм загорелся военным задором и утверждал, что старый Фриц [1], фактически бывший приверженцем стратегии на истощение и всегда называвший ее «хорошим методом», наоборот, следовал будто бы, одиноко возвышаясь над своим временем, уже наполеоновской стратегии на уничтожение. Теодор фон-Бернгарди, посланный в 1866 г. вместо незаменимого Мольтке военным представителем Пруссии в итальянскую главную квартиру, — следовательно, светило первого ранга прусской военной науки, — проводил эту фантазию в двух толстых томах; масса офицеров генерального штаба соглашалась с ним. Дельбрюк опровергал их, и хотя на это потребовались долгие годы, но в конце концов он восстановил историческую правду в ее правах. Между тем некоторые ученые головы и патриотически воспламененные Бернгарди умы принялись за Пелопоннесскую войну и разделали бедного Перикла, ничего не смыслившего в законах стратегии, которой следовал якобы прусский национальный герой. Весь этот сумбур г. Дельбрюк разъяснил доказательствами, что Перикл следовал той же стратегии, что и король Фридрих, который, если о нем судить сообразно законам стратегии на уничтожение, явился бы такой же жалкой карикатурой, какую сделали ученые из Перикла.

Но этим, собственно, еще не доказано, что Перикл был на правильном пути, тем более что Пелопоннесская война закончилась полным поражением Афин. И здесь приводи-

---

[1] Прусский король Фридрих II, один из творцов военного могущества старой Пруссии. — *Ред.*

мые доказательства г. Дельбрюка имеют, несомненно, большой пробел. Его труды относительно различия фридриховской и наполеоновской стратегии всегда доходят до сущности явлений, так как они доказывают, что как одна, так и другая стратегия связаны с экономическими предпосылками, изменить которые не в силах даже ее гениальные носители; однако в утверждении, что Перикл был прав в своей стратегии на истощение, г. Дельбрюк существенным образом опирается на авторитет Фукидида, каждое слово которого он считает непогрешимым настолько же, насколько считает необходимым освещать до мозга костей всякого другого историка древности светом критики фактов. Здесь мы встречаемся с одной из тех сумасбродных идей, которые овладевают иногда г. Дельбрюком вследствие того, что, как только он приближается на своем пути к историческому материализму, он тотчас же шарахается от него в сторону.

Фукидид, несомненно, крупный историк, и если даже он ничего не знает ни о художественном, литературном и научном, ни даже об экономическом и социальном развитии, все же он является наиболее достоверным историком древности, поскольку дело касается установления фактов в политической, в узком смысле этого слова, области. Правда, и здесь не все гладко во всех углах и концах, — уже на первом шагу спотыкаешься. Вопрос о том, следовал ли Перикл в Пелопоннесской войне правильной тактике, стоит в зависимости от того, действительно ли Афины были недостаточно могущественны, чтобы победить своих врагов и захватить гегемонию в Греции. Относительно военных сил Афин перед началом войны Фукидид дает, однако, такие смутные данные, что его поклонник, г. Дельбрюк, должен пускаться в пространные вычисления, чтобы внести в них какой-нибудь смысл. У него самого остается ощущение, что он все же не достигает этим цели, тем более что другие ученые делают из цифр Фукидида выводы, совершенно обратные тем, которые хочет сделать г. Дельбрюк, а потому он снова пускает в ход свой козырь: «Авторитет величайшего историка будет безнадежно разрушен, будет низвергнут столп греческой литературы, если кто-нибудь сможет доказать, что в 431 г. Афины имели 60 000 граждан (т. е. могли применить в Пелопоннесской войне стратегию на уничтожение). Тогда, следовательно, Фукидид неправильно оценивает Перикла и его политику, тогда мы вообще не можем более доверять его суждениям». Г-н Дельбрюк впадает в ту самую ошибку, которую он без

конца порицает у своих ученых соперников: он дает чисто словесную критику и, стремясь возвысить Фукидида свыше всякой меры, ставит его вне всякой критики; если вся достоверность этого историка нужна лишь для того, чтобы истолковать в духе г. Дельбрюка несколько сомнительных цифр, сообщаемых им, то много с ним незачем и возиться.

Отбросим в сторону эти цифры, в которые в конечном счете нельзя внести никакого смысла, и рассмотрим с помощью критики фактов, так настойчиво рекомендуемой г. Дельбрюком, все рассказанное когда-то по этому поводу Фукидидом. Настоящей причиной войны он считает то, что Афины стали опасны спартанцам вследствие своей все возрастающей силы. Это сказано, правда, довольно поверхностно; много ли можно было бы сказать о войне 1870—1871 гг., если бы главной причиной ее захотели признать то, что возрастающее могущество Германии стало страшить французов? Если бы это было только тривиальностью, это было бы еще туда-сюда, но это была также и грубая ошибка, которая прежде всего указывает, что Фукидид вообще не понял исторического смысла Пелопоннесской войны. Сам г. Дельбрюк сказал как-то: «Особенно непримиримыми врагами Афин были фиванцы и коринфяне, а не спартанцы». Он написал эту фразу мимоходом в статье, которой он хотел, по примеру своего учителя Фукидида, вторично поразить «ничего не стоящего труса» и «противного человека» — Клеона. Само по себе это положение совершенно правильно, и нужно лишь сделать из него необходимые выводы, чтобы понять причины Пелопоннесской войны [1].

В персидских войнах и Афины и Спарта проявили себя как наиболее могучие государства Греции, но в этих войнах Афины переросли Спарту. Несмотря на все лавры, которые стяжали себе спартанские цари Леонид и Павзаний под Фермопилами и Платеей, Афины не только одержали первую большую победу над персами, — они поняли, что окончательная победа лежит именно на море. По совету Фемистокла Афины снарядили большой флот, и под коман-

---

[1] Г. Дельбрюк, Стратегия Перикла в сравнении со стратегией Фридриха Великого. С приложением о Фукидиде и Клеоне. Берлин, 1890, 22 стр. Я должен также указать на статью, опубликованную Беером в прошлом году в «Neue Zeit» № 32 на основании одного английского и одного французского манускрипта. При одинаковом основном подходе я лишь бегло касаюсь тех пунктов, которые подробно рассмотрены Беером, и останавливаюсь дольше на тех, которые им не затронуты.

дой Фемистокла произошла битва у Саламина, заставившая персидского царя покинуть Грецию и повлекшая за собой отложение греческих островов и греческих приморских городов в Малой Азии от персидского владычества. Все эти цветущие города, насчитывавшиеся сотнями, присоединились к могущественным на море Афинам, которым они были обязаны своим освобождением от персидского ига. Сначала это был союз равноправных морских общин, имевших свой центр на острове Делосе, однако скоро союзники Афин, оставаясь формально их товарищами по союзу, фактически сделались подданными Афин; союзная касса была перенесена в Афины, которые ею и управляли, а союзные членские взносы превратились в дань, которой Афины распоряжались сообразно своим интересам и потребностям.

Как происходило это развитие в подробностях, каким образом, выражаясь по Гроту, «союз, составленный по свободному соглашению отдельных членов, упал со степени самостоятельного, хорошо вооруженного союза под руководством Афин до объединения безоружных и бездеятельных данников, защищаемых военной силой Афин; как свободно объединившиеся товарищи, имевшие равные права в Делосе, превратились в разъединенных подданных, отсылающих дань в Афины и получающих из Афин распоряжения», — это невозможно проследить в подробностях по имеющимся источникам. Но из перевеса Афин над другими членами союза это можно довольно легко объяснить как раз по способу исключения из общего правила: некоторые из крупнейших островов — Хиос, Лесбос и Самос — остались свободными вооруженными союзниками Афин. Господство Афин над другими сам Перикл коротко и ясно называет «тиранией». На дани союзников, достигавшей ежегодно 600 талантов — на наши деньги от 2 000 000 до 3 000 000 марок, — покоился блеск того времени, которое называют «веком Перикла».

По всем правилам деловой критики этот могучий подъем Афин должен был иметь естественное отражение во внутреннем развитии афинского общества и афинского государства.

«Люди моря» все более и более оттесняли на задний план «людей суши»; демократия, экономические корни которой лежали в торговле и морских предприятиях Афин, по мере развития торговли и мореплавания все больше стесняла олигархию, ту горсть старых родов, которая, опираясь на крестьянское население, до сих пор вела управление

государством. Традиция, сохраняющая при всех политических изменениях большую силу, не позволяла еще живущей торговлей и ремеслами массе непосредственно подойти к кормилу правления; Перикл также принадлежал к старым родам, но он правил лишь как доверенное лицо демократии.

В противоположность Афинам, Спарта оставалась сухопутной силой; она сохранила и свою общественную организацию, которая состояла из относительно немногочисленного военного дворянства — спартиатов, из лично свободных, но политически бесправных периэков и из массы илотов — порабощенного крестьянского сословия; она сохранила и свой олигархический образ правления. Как в Афинах демократия, так и в Спарте олигархия была наиболее организована, и где бы ни сталкивались в то время в Греции олигархические и демократические элементы, первые с такой же надеждой смотрели на Спарту, как вторые на Афины. В самих Афинах олигархи были более или менее пламенными поклонниками Спарты и с эгоизмом господствующего класса, чувствовавшего колебание почвы под своими ногами, были более чем склонны к махинациям со Спартой за счет своего города. Сама Спарта, несомненно, следила за поразительно быстрым расцветом своего соперника с какими угодно чувствами, но только не с дружелюбным удовлетворением и, конечно, была готова на все, чтобы создать для него препятствия. Однако для открыто наступательной политики против Афин у нее не было ни желания, ни необходимости, а также ни средств, ни возможности. Постоянный тайный страх перед восстанием илотов парализовал жажду к завоеваниям военного государства; да и непосредственно бояться Афин Спарте не приходилось: от одного восстания илотов, приставившего спартиатам нож к горлу, они спаслись при помощи Афин. Кроме того, как могла бы Спарта, будучи сухопутной державой, сломить морское владычество Афин и одновременно выступить наследницей Афин?

Насколько мала была жажда наступления у олигархической Спарты, настолько велика была она у Афин, хотя эта жажда направлялась не в сторону Спарты. С поразительной быстротой обеспечили себе Афины господство над Эгейским морем и над восточной частью Средиземного моря; они горели теперь желанием, господствуя над морем, проникнуть и на запад. Торговый капитал всегда алчен, всегда стремится к завоеваниям, и в этом отдельном случае особенно легко можно увидеть, что в завоевательных

стремлениях Афин скрывались жизненные интересы афинской демократии. Чем больше богатств притекало в страну, тем более они концентрировались в руках незначительного, все более и более суживавшегося круга лиц, в то время как широкая масса свободных граждан постепенно нищала. Так как вся производственная и ремесленная работа была предоставлена рабам, конкурировать с которыми считалось зазорным, то афинская демократия неминуемо была вынуждена к тому, чтобы, все более распространяя морское владычество государства, приобретать для страны все большие доходы и большую дань и тем приостанавливать процесс своего обнищания.

Если, однако, Афины стремились распространить свое морское могущество на западную часть Средиземного моря, то на пути у них стояли не Спарта, но Мегара, Коринф и Беотия. Афины, правда, могли проникнуть в западную часть Средиземного моря, обойдя Пелопоннес вокруг, между предгорьем Малеей и островом Китерой, но это путешествие считалось в то время очень опасным, и торговля между Малой Азией и Италией, между восточной и западной частями Средиземного моря, производилась через перешеек, связывавший Среднюю Грецию с Пелопоннесом, и через Коринфский перешеек, отделявший Афины от западной части Средиземного моря. Он находился во владении Мегары и Коринфа, которые благодаря торговле, производившейся через перешеек, сделались богатыми городами. Мегара была маленьким государством, которое Афины свободно могли бы положить в свой карман, тем более что Мегара относилась к Коринфу с той же подозрительностью, как и к Афинам, и поэтому колебалась в выборе между ними обоими. Коринф был большим и богатым городом, далеко не желавшим позволить Афинам парализовать себя; он искал тесной связи со Спартой, чтобы обеспечить себе поддержку против могущественных Афин. Для Афин оставался, таким образом, еще только один путь — завоевать Беотию. Сделав это, Афины обошли бы Коринфский перешеек и как раз попали бы в Коринфский залив, который открыл бы им доступ в Италию и Сицилию.

Таким образом, Беотия и Коринф, как совершенно правильно указывает г. Дельбрюк, не делая из этого, однако, правильных выводов, и были собственно «непримиримыми» врагами Афин и имели на это полное основание, так как Афины однажды уже крепко схватили их за ворот. Афины покорили остров Эгину; они заключили с Мегарой союз,

которого просили сами мегарцы из страха перед коринфянами, и заняли гавани Мегары — Низею и Пегею; они овладели также Беотией вместе с Фокидой и Локридой, свергая повсюду олигархических правителей и устанавливая демократический образ правления, так что Коринф был окружен со всех сторон. В Ахайе[1] и Трезене[2] и даже на Пелопоннесе афиняне стали твердой ногой и, таким образом, непосредственно вторглись в сферу владений Спарты. Никогда раньше не были Афины так близки к гегемонии над всей Грецией, да и в позднейшее время им никогда не удавалось подойти к ней так близко.

Спарта проявила себя при обороне в высшей степени неповоротливой. Сначала афинское войско потерпело тяжелое поражение при Коронее, в Беотии, в походе, предпринятом для усмирения некоторых беотийских городов, которыми снова завладели изгнанные олигархи; чтобы возвратить своих многочисленных пленных, потерянных при Коронее, Афины согласились на заключение мира, отказавшись от всей Беотии, где повсюду в управление снова вступили олигархи, так же как в Фокиде и Локриде, которые после отказа от Беотии уже нельзя было удержать. Тогда изгнанные Афинами олигархи напали на ненавистный для них город в том месте, где он был наиболее уязвим; они сумели побудить большой остров Эвбею к отложению от Афин, а когда Перикл выступил во главе сильного войска для покорения Эвбеи, он должен был поспешно вернуться обратно вследствие сообщения, что Мегара, подстрекаемая Коринфом, также отложилась и что спартанское войско выступило для нападения на Аттику. Это нападение оказалось, впрочем, совершенно невинным; едва вступив на землю Аттики, спартанцы тотчас же возвратились обратно, так как Перикл якобы подкупил их вождей. Перикл покорил Эвбею, вследствие чего господство Афин на море было обеспечено. Но Афины не предпринимали больше сухопутной войны; в 445 г. Афины даже заключили со своими врагами тридцатилетнее перемирие, вследствие которого Афины отказались от притязаний на Низею, Пегею, Ахайю и Трезен и заявили о своем согласии на вступление Мегары в Пелопоннесский союз, руководимый Спартой.

Это было тяжелым поражением для Афин, — однако последовавший за этим четырнадцатилетний мир, казалось,

---

[1] Ахайя — в древности название северной приморской области Пелопоннеса. — *Ред.*

[2] Трезен — главный город Трезенской области, лежавший в юго-восточном углу Арголиды, у нынешней деревни Дамала.— *Ред.*

доказал, что Греция в обоих крупных союзах — Афинском и Пелопоннесском — нашла свое равновесие, обеспечившее ей продолжительное процветание. В Афинах начался тот изумительный период развития искусства, обломки которого и сейчас еще вызывают восхищение просвещенного человечества. В течение этого периода город абсолютно не думал ни о каких новых завоеваниях и не применял к своим союзникам никаких строгостей. Только на островах, действительно являвшихся свободными союзниками Афин, было неспокойно: на Самосе дело дошло до настоящего восстания, которое Афины подавили силой, а Лесбос запрашивал Спарту, можно ли рассчитывать на пелопоннесскую поддержку в случае отложения этого острова. Однако лесбийцы получили негласный отказ Спарты, а Самос официально получил отказ Пелопоннесского союза, когда он просил о помощи против Афин; как раз наиболее горячие враги Афин, коринфяне, выступили против поддержки самосцев, которая могла бы явиться нарушением тридцатилетнего перемирия. За обоими союзами, таким образом, признавалось право наказывать членов, изменивших союзам. Возможно, что это воздержание Пелопоннесского союза, и в частности коринфян, проистекало не из истинной любви к миру, но из расчетов иного рода, которых мы не знаем; во всяком случае, оно говорит против того, что Пелопоннесская война возникла из простой вспышки зависти и ненависти, которые Афины должны были возбуждать у государств Пелопоннесского союза; развитие искусств, происшедшее в Афинах за мирные годы, менее всего беспокоило спартанцев.

В чашечке этого прекрасного цветка сидел червяк. Старый Бек в своем знаменитом сочинении о государственном управлении Афин делает упрек — при этом он считает своим долгом сослаться на Аристотеля и Платона — в том, что Перикл расточал общественные средства, чтобы подкупать народные массы посредством вознаграждения судей, дачи денег на театры и различными другими способами подкупа, стараясь одновременно занять их досуг различными торжествами, пиршествами и празднествами. Перикл якобы сделал афинян корыстолюбивыми и ленивыми болтунами и трусами, расточителями и распутниками, кормя их подачками из общественной сокровищницы, возбуждая прекрасными произведениями искусства их чувственность и стремление к наслаждениям. Конечно, Перикл был слишком умным человеком, чтобы не сознавать последствий своих мероприятий, но он не видел иной возможности

удержать в Элладе как свою власть, так и власть своего народа; он знал, что вместе с ним погибнет и могущество Афин, и старался удержаться как можно дольше, презирая толпу в такой же степени, в какой он ее откармливал.

Другие ученые, как, например, Онкен, горячо восставали против этого суждения и возводили Перикла в идеал государственного деятеля.

Обе стороны и правы и неправы. Если бы Перикл был таким, каким рисует его Бек, т. е. человеком, который воображал себя великим и не останавливался даже перед негодными средствами, думая, что он один может сохранить Афины, то он был бы не только демагогом, но и просто дураком, по отношению к которому было бы непонятно лишь одно: каким образом Перикл на протяжении целой половины столетия мог оставаться руководителем афинской демократии. Как руководитель афинской демократии Перикл не являлся идеальным государственным деятелем; он должен был приноравливаться к социальным жизненным условиям этой демократии. По мере того как в Афины стекались все большие и большие богатства, масса свободных граждан все более и более пролетаризировалась; денежное обращение разрушало крестьянское хозяйство, место которого заступали латифундии, обрабатываемые рабами; население деревни редело; народные массы стекались в столицу, где они образовывали вокруг все более обогащающихся богачей непрерывно возрастающие массы люмпен-пролетариев. Этот процесс нашел свое отражение в «Антигоне» Софокла:

...никогда еще несчастье, подобное деньгам,
Не зарождалось в мире. Они уничтожают города,
Внезапно изгоняют людей из домов и от очагов;
Гнусными побуждениями развращают благородные сердца,
Делая их способными на позорные злодеяния;
Деньги склоняют человека на любое предательство,
Побуждая его ко всяким нечестивым поступкам.

Поскольку рабовладельческое хозяйство вытесняло свободного гражданина, постольку приходилось содержать этого гражданина, затушевывая его нищету, за счет дани союзных городов, вследствие чего гнет над ними становился, конечно, все невыносимее, а морская сила Афин в корне подрывалась. У Фукидида об этом ничего не говорится; между тем можно было бы отдать дюжину его военных и осадных историй за маленькую главу о внутреннем экономическом развитии Афин за время правления Перикла. Однако экономическая критика фактов имеет те

же права, как и военная критика их, а наше экономическое зрение достаточно обострилось в настоящее время, чтобы можно было сказать с вероятностью, что должно было происходить в торговой республике, одной ногой опиравшейся на дань, собираемую с угнетаемых общин, а другой — на рабовладельческое хозяйство.

Яснее ясного, что при такой обстановке афинская демократия должна была становиться все более воинственной и захватнической, и нам думается, что для Перикла является весьма сомнительным комплиментом, когда г. Дельбрюк говорит, что он думал лишь о том, чтобы сохранить существовавшее положение вещей. Г-н Дельбрюк всегда готов насмехаться над «моралистами», не могущими понять, почему старый Фриц не удовольствовался завоеванием Силезии, а начал Семилетнюю войну, чтобы захватить еще и Саксонию; однако Перикл должен остаться совершенно неповинным в Пелопоннесской войне. Мы опасаемся, что здесь будут уместны слова императрицы, жены Фридриха, с которыми она обратилась к г. Дельбрюку, когда тот представился ей в качестве «консервативного социал-демократа»: «Это, право, очень мило с обеих сторон». Ни в одном из обоих случаев нельзя привести неопровержимых документальных доказательств, но основания, которые поддерживают гипотезу г. Дельбрюка относительно прусского короля, слабее тех оснований, которые говорят против его гипотезы относительно афинского государственного деятеля.

Если бы Перикл не был достаточно защищен от подозрения, что он кормил афинский народ из пустых и личных побуждений, приписываемых ему Беком, то тогда он был бы не государственным человеком, а в лучшем случае «практическим политиком», который должен был жить, применяясь к существующей обстановке, даже и не подозревая, что фактическим следствием его политики явится морально-политический упадок афинской демократии. Если бы положение осталось неизменным, то сроки банкротства можно было бы высчитать по пальцам. Из тяжелого поражения Афин, приведшего к тридцатилетнему перемирию, Перикл сделал вывод, что для Афин невозможно сделаться одновременно большой сухопутной и большой морской державой, но если он и ограничился лишь морским господством, то во всяком случае не отказывался от его расширения. Конечно, в настоящее время легко сказать, что болезнь, от которой страдала афинская власть, развивалась бы на высшей ступени еще больше, но Перикл не

мог трогать ее действительных корней уже по одному тому, что он как дитя своего времени не мог их познать; совершенно не упоминая о рабовладельческом хозяйстве, Перикл говорит об афинском господстве над союзниками, что оно есть не что иное, как тирания, сохранять которую несправедливо, но отказаться от которой опасно и даже невозможно. Сохранение же тирании совпадало с ее расширением. Как руководитель афинской демократии Перикл оказался заключенным в круг ее представлений; его задача должна была ограничиться тем, чтобы наиболее благоразумно и осторожно работать для расширения морского владычества Афин на западную часть Средиземного моря.

Но как бы ни была благоразумна и осторожна его политика, цель ее оставалась совершенно определенной. Перикл основал колонию Турией на Тарентском заливе и заключил союз с нижнеитальянско-сицилийскими городами Региум и Леонтини. Затем, когда Коринф вступил в горячую распрю с Корцирой и когда корцирцы, не принадлежавшие ни к Афинскому, ни к Пелопоннесскому союзу, попросили помощи у афинян против угрожающих вооружений Коринфа, Перикл заключил с ними сделку. Весьма характерно, что корцирцы обосновывали свое предложение тем, что их дружба или враждебность будут иметь для Афин важные последствия вследствие того, что их остров расположен на пути в Италию и Сицилию и ни один корабль не может без их желания пройти оттуда в Пелопоннес; флот же, направляющийся туда, может отправиться от них с гораздо большими удобствами. И действительно, Корцира обладала значительной морской силой — самой крупной в Греции после Афин и Коринфа.

Эта сделка дала первый толчок к Пелопоннесской войне, разоблачив вместе с тем главную ее причину — борьбу за господство на западной части Средиземного моря. Если бы коринфянам удалось победить корцирцев, то афиняне были бы отрезаны от этого господства в гораздо большей степени, чем они были отрезаны существованием перешейка. В том угрожающем положении афинянам не оставалось ничего другого, как принять предложение корцирцев. Наоборот, если бы они хотели удовольствоваться тем, чем они обладали, если бы у них не было других намерений, кроме сохранения мира, тогда они должны были бы отказать корцирцам. Во время тридцатилетнего перемирия всякий греческий город, не принадлежавший ни к Афинскому, ни к Пелопоннесскому союзу, сохранил, конечно, право

присоединяться по своему желанию к тому или другому союзу, и на этом настаивали корцирцы. Наоборот, послы, направленные в Афины коринфянами, чтобы помешать намерениям корцирцев, не без основания указывали на то, что этот пункт перемирия не должен так толковаться и что из-за этого может возникнуть война между двумя союзами, избежать которой и является целью перемирия. Коринфские послы делали совершенно логические выводы, что если Афины объединятся с корцирцами, то начнется война между Афинами и Коринфом, «так как, если вы выступите в бой вместе с корцирцами, то мы не сможем бороться с ними, не нападая одновременно и на вас». К тому же коринфские послы очень настойчиво напоминали о той лойяльной политике, которую проявил Коринф по отношению к Афинам во время самосского восстания.

Заслушав коринфских и корцирских послов, афиняне обсуждали дело на двух своих собраниях. На первом настроение было скорее за коринфян, на втором же было решено, не заключая военного союза с корцирцами, заключить с ними союз оборонительный, согласно которому Афины и Корцира совместно должны были защищаться от вражеских нападений. Ясно, хотя прямо не доказано, что Перикл продиктовал это решение. Афины не хотели взять на себя вину открытого нарушения договора, что произошло бы в случае заключения военного союза с Корцирой; тем менее они хотели, чтобы Корцира попала в руки коринфян, так как, по словам Фукидида, «им казалось, что этот остров расположен очень удобно на пути в Италию и Сицилию».

Но так как не корцирцы угрожали коринфянам, а, наоборот, коринфяне — корцирцам, то фактически афиняне высказались за корцирцев. Они послали им сначала 10, а затем, боясь, что этого подкрепления будет недостаточно, еще 20 кораблей; благодаря вмешательству афинских кораблей корцирцам в битве под Сиботой удалось избежать верного поражения. Однако афинские корабли вмешались лишь тогда, когда корцирцы оказались в безвыходном положении, и после спасения их воздержались от нападения на коринфян. Но коринфяне никоим образом не были довольны своей безрезультатной победой; наоборот, они были возмущены вмешательством афинских кораблей. Афиняне с своей стороны боялись мести коринфян и решили принудить подвластный им город Потидею — колонию Коринфа — порвать все сношения со своей метрополией, разрушить стену со стороны моря и представить заложников в обеспечение своего образа действий. Однако эти мероприятия не могли

предотвратить угрожавшей опасности: если потидейцы не думали об отложении, то эти требования были слишком велики и должны были вызвать отложение; если же потидейцы уже решились на отложение, то приказания Афин было недостаточно, чтобы удержать их от него. В действительности потидейцы отложились и нашли у коринфян вооруженную помощь, так что теперь загорелась война между Афинами и Коринфом.

Сначала эта война была, как мы говорим теперь, «локализированной». Афиняне прибегли затем к третьему мероприятию, которое во всяком случае должно было поставить на ноги весь Пелопоннесский союз: они заперли мегарцам все гавани, находившиеся под афинским контролем. Мегарцы были союзниками Коринфа против Корциры; это могло, конечно, раздражить Афины, но не давало им не только основания, но даже и повода к закрытию мегарских гаваней. Выставляемая Фукидидом причина, что мегарцы обрабатывали священную часть поля и другую, спорную еще пашню, а также что они принимали беглых афинских рабов, очень похожа на отговорку. Из-за таких пограничных споров, которые в большей или меньшей степени неизбежны между соседними государствами, не прибегают к таким решительным средствам, как предпринятое по отношению к Мегаре — закрытие гаваней, — к мероприятию, которое, вследствие принадлежности Мегары к Пелопоннесскому союзу, должно было привести или к позорному отступлению Афин, или же к большой войне. Вряд ли можно объяснить «мегарскую псефизму» [1] иначе, как тем, что Перикл нашел кризис достаточно назревшим, чтобы дать ему разрешиться, и ничто не свидетельствует так против исторического понимания Фукидида, как то, что он в данном случае не мог привести ничего, кроме этой явной отговорки афинян, которую мы только что цитировали его собственными словами.

Теперь Коринф и Мегара уже не могли встретить никаких затруднений со стороны Спарты и Пелопоннесского союза. Коринфяне осыпали спартанцев горькими упреками за ту бездеятельность, с которой они смотрели на все возраставшую силу Афин, и на этот раз они были выслушаны

[1] Псефизма — в древней Греции постановление народа или совета в единичных случаях и по отношению к единичным лицам. В данном случае имеется в виду то, что жители Мегары, отделившиеся в 460 г. под давлением народной партии от Пелопоннесского союза и принявшие афинский гарнизон, в 446 г. сговорились с коринфянами, перебили афинский гарнизон и опять присоединились к Пелопоннесскому союзу. — *Ред.*

с сочувствием, несмотря на то, что спартанский царь Архидам настойчиво предостерегал против войны. Начались переговоры, в которых спартанцы весьма многозначительно требовали, чтобы афиняне изгнали из города тех, кто провинился перед богами, подразумевая при этом Перикла, который с материнской стороны был в родстве с некоторыми святотатцами. «Именно Перикл,— так обосновывает Фукидид требования спартанцев,— держал в руках кормило правления; к тому же он был во всех отношениях враждебен лакедемонянам и не позволял афинянам отступить ни на шаг, а наоборот, толкал их к войне».

Одновременно афинские олигархи, бывшие, естественно, душой и телом со спартанцами, предприняли кампанию против Перикла, возбудив — таким же коварным и злобным образом, как это практикуется прусским юнкерством,— злостные обвинения, правда, не против него самого, но против его возлюбленной Аспазии и его друзей — философа Анаксагора и скульптора Фидия. Однако Перикл преодолел это нападение и остался у власти; когда спартанцы предъявили ультиматум о прекращении предпринятого по отношению к Мегаре закрытия гаваней, Перикл действительно не позволил афинянам уступить ни на шаг, он искал лишь дипломатического прикрытия, высказываясь за третейский суд на равных правах, что по тогдашнему положению вещей, в лучшем случае, было насмешливо-вежливым отклонением спартанских требований.

На основании этого можно вывести правильный взгляд на стратегию, предложенную афинянам Периклом. Он отрицал сухопутную войну и отдавал земли Аттики в жертву врагу: «Если бы я мог думать, что вы последуете за мной, то я стал бы убеждать вас разорять их самим». Напротив, тем сильнее рекомендовал он удерживать господство над морем, против которого, в самом худшем случае, Пелопоннесский союз не мог ничего предпринять. «Спартанцы и их союзники кормятся трудами рук своих, и частные граждане имеют денег так же мало, как и государственные казначейства. Они не способны выдерживать продолжительных войн, которые ведутся на море, а мелкие войны, которые они ведут между собой, очень быстро заканчиваются вследствие их бедности. Люди, живущие при таких условиях, не могут ни снарядить флота, ни держать в течение долгого времени в поле сухопутное войско, так как они должны откладывать свои дела и справляться с расходами своими собственными средствами; их положение еще более осложнится, если море будет закрыто для них. Чтобы вести войну, гораздо

важнее иметь большие средства, чем производить сильные нападения. Если даже люди, живущие трудами рук своих, имеющие для ведения войны больше людей, чем денег, имеют, с одной стороны, то несомненное преимущество, что при регулярных военных действиях они могут рассчитывать на победу, то, с другой стороны, у них нет никакой гарантии в том, что они не истощатся преждевременно, особенно в случае, если, против ожидания, война затянется. Правда, одно единственное сражение пелопоннесцы и их союзники могут выдержать против всех греков, но вести войну против силы, превосходящей их так значительно по своим средствам борьбы, — этого они не в состоянии». Перикл указывает также и на то, что Пелопоннесский союз состоит из очень большого количества городов, вследствие чего ведение войны делается затруднительным в тем большей степени, что в войне ни в каком случае нельзя упускать момента.

Он снова приходит к необходимости избегать сухопутной войны и указывает на главное обоснование этой необходимости, не выставляя, однако, его на первый план по вполне понятным причинам. Он говорит: «Мы должны поэтому, пренебрегая равниной и нашими селениями, стремиться господствовать лишь над городом и морем и не позволять себе, следуя слепому увлечению, вступать в решительное сражение с пелопоннесцами, далеко превосходящими нас по своей численности, потому что если бы мы даже и победили, то в скором времени нам пришлось бы снова бороться с таким же количеством врагов. Если же мы потерпим неудачу, то мы неизбежно потеряем наших союзников, которые составляют большую часть наших сил; они перестанут быть покорными нам, лишь только увидят, что мы не можем наказать их вооруженной рукой». Здесь было слабое место Афин: они могли спокойно перенести опустошение Аттики, не будучи поколеблены в своем могуществе, но если бы врагам удалось вызвать отпадение от Афин их союзников, Афины погибли бы.

В связи с этим стоял и окончательный вывод Перикла: «У меня есть еще много других причин, на основании которых я мог бы обещать вам победу, если только во время войны вы не будете думать ни о каких завоеваниях и не захотите самовольно начинать новых переговоров; ибо я гораздо более опасаюсь наших собственных ошибок, чем ударов со стороны врага. Но об этом мы будем говорить в другой раз, если вы действительно приступите к делу». Эти слова вызвали то мнение, которое разделяет и г. Дельбрюк,

что Перикл преследовал в войне лишь сохранение равновесия, существовавшего до тех пор в Греции. Фактически они свидетельствуют о том, что Перикл опасался завоевательных стремлений афинского народа и пытался избежать их несвоевременного проявления, которое больше всего могло напугать афинских союзников. О расширении афинского морского могущества было достаточно времени поговорить «в другой раз», после того как был бы обессилен Пелопоннесский союз, как это предполагалось планом Перикла.

Сам Перикл не мог показать лучше, как много или как мало понимал он в ведении войны, которой он, без сомнения, желал. Он дал новое доказательство своего ума, как справедливо говорит г. Дельбрюк, объяснив с такой ясностью афинскому суверенному народу это трудно понимаемую стратегию; только г. Дельбрюк прибавляет к этому еще, что признание предложения своего руководителя «прекрасным» является не менее веским доказательством сознательности афинской демократии. Когда же пелопоннесское войско действительно напало на страну и сельские жители должны были бежать в город, когда пришлось в бездействии смотреть на опустошения, производимые врагом, тогда против Перикла поднялась оппозиция; она превратилась в бурю в начале второго года войны, когда среди тесно скученных, лишенных своего обычного питания и образа жизни, бездеятельных и нуждающихся человеческих масс вспыхнула чума и унесла четвертую часть всего населения. Перикл был приговорен к штрафу, однако афиняне быстро почувствовали раскаяние и снова поставили его полководцем, но вскоре после этого, на третьем году войны, он умер.

Фукидид рассказывает, что с тех пор афиняне во всем поступали наперекор тому, что им советовал Перикл. Однако это неверно: война после смерти Перикла по существу велась так же, как вел бы ее и сам Перикл. Много спорили о том, проводилась ли с необходимой энергией и необходимым искусством положительная сторона его военного плана — постепенное ослабление врага морскими экспедициями. По адресу отрицающих это г. Дельбрюк не без основания указывает на то, что при стратегии на истощение весьма существенную роль играет время, в течение которого враг, так сказать, поджаривается на медленном огне, пока не будет окончательно обессилен; поэтому нельзя порицать Перикла за то, что он не пустил сразу в ход все имевшиеся в его распоряжении средства для нанесения вреда сопер-

нику. Однако тон, заданный Фукидидом, что после смерти «великого человека» все пошло вкось и вкривь, слишком соблазнительно звучит в ушах современных буржуазных историков, чтобы они не настраивали созвучно с ним свои скрипки. Потеряв своего руководителя, афинская демократия прежде всего должна была сделаться игрушкой ветреного демагога, о чем многое может порассказать г. Дельбрюк.

Фактически, однако, афинская демократия крепко держалась военного плана Перикла, что, конечно, совершенно понятно, так как он олицетворял ее волю и ее желания. Попытки отказаться от этого плана в пользу поспешного и бесславного мира со Спартой гораздо более исходили от олигархии, восставшей уже с самого начала — сперва без всякого успеха, а затем с половинным успехом — и против Перикла. Смерть Перикла была для нее очень кстати; она во всяком случае сокращала тот процесс развития, который совершился бы и без нее. Война настолько обострила противоречия между олигархической и демократической партиями, что человек, принадлежавший к старому поколению, не мог уже в ближайшем будущем быть одновременно вождем демократии и высшим должностным лицом государства. Все тяжести войны падали прежде всего на сельское население, на которое опирались олигархи через свои гетерии[1], организации, члены которых были связаны клятвой; они все еще пользовались сильным влиянием и умели раздувать недовольство крестьянского населения, которое теперь часть года проводило в городе; в чуме они также имели красноречивую помощницу в своих демагогических подкопах против войны.

Им удалось посадить на место Перикла, при контроле десяти ежегодно переизбиравшихся стратегов, своего лидера Никия, самого богатого человека в Афинах. Руководство же демократической партией лежало на ней самой, на лице из ее собственной среды, на доморощенном политике: это был кожевник Клеон, достигший положения своим красноречием и энергией. Он не был ремесленником в современном смысле этого слова и вряд ли запачкал когда-либо свои руки дубильной корой. Его скорее можно было бы назвать фабрикантом в нашем смысле этого слова. Его кожевенное предприятие обслуживалось рабами, он был состоятельный человек, принадлежал ко второму сословию города и мог цели-

---

[1] Гетерия (союз, товарищество) — в древних греческих демократиях союзы знатных для ограждения себя от притязаний народа. — *Ред.*

ком посвятить себя призванию политического деятеля; про него рассказывалось, что в начале своего политического поприща он созвал своих друзей и простился с ними, так как боялся, что личная дружба может заставить его погрешить против своих обязанностей по отношению к государству. Он был значительно талантливее Никия. Лидер олигархов был ограниченным ханжой, одним из тех отвратительных людей, которые, не имея надобности вследствие своего богатства таскать серебряные ложки и заниматься ростовщичеством, пользуются «всеобщим уважением» и думают, что в этом почетном звании они могут позволить себе любую глупость, наглость, любое предательство в общественной жизни.

С появлением этих двух людей сочинение Фукидида становится односторонним партийным трудом. Фукидид сам принадлежал к олигархической партии; так же как и Никий, он был крупным землевладельцем. Поэтому, что бы тот ни делал, он все находил «разумным», хотя бы это было крупнейшее мошенничество; все же, что делал Клеон, он считал «безумным», хотя бы это было выдающееся дело, чрезвычайно благоприятное для афинян в Пелопоннесской войне. Хотя г. Дельбрюк находит, что оценка Клеона Фукидидом — «в высшей степени трудная тема и тончайшая психологическая проблема мировой военной истории», однако мы решительно заявляем, что здесь мы не можем последовать за ним. Что же говорит Фукидид о Клеоне? Он был якобы самым жестоким насильником и, имея громадное влияние на народ, раздувал войну, так как во время мира стали бы ясны его злодеяния и его клевета не внушала бы к себе никакой веры. Нам не дано видеть в этих сплетнях хоть какой-нибудь смысл; возможно, что наша способность понимания в данном случае несколько притупилась вследствие другой болтовни, целиком сходной с этой по своему духу и весьма однородной по своей фразеологии, в которую в течение десятилетий впадали листки продажной прессы, утверждавшие, что социал-демократические агитаторы — самые грубые демагоги, имеющие громадное влияние на народ и раздувающие классовую борьбу; подобные злобные измышления в других условиях, конечно, были бы невозможны.

Г-н Дельбрюк утверждает, что Клеон стремился к гегемонии Афин над Грецией и этим проявил себя как весьма близорукий политик. Однако это утверждение основано на весьма двусмысленном толковании одного места из Фукидида. Возможно, что Фукидид хотел сказать здесь нечто

совсем другое; но если даже он полагал именно так, как понимает его г. Дельбрюк, то и в этом случае его утверждение не может быть правильным, потому что Фукидид всегда говорит о Клеоне в тоне такой слепой ненависти, которая должна была бы по крайней мере помешать ему упрекать других в злостных измышлениях. К счастью, зло так велико, что оно в себе самом скрывает источники исцеления. Фукидид до такой степени увлекается чувством ненависти к Клеону, что его преувеличения до известной степени сами себя исправляют, и если его описания полны всяческих подозрений, направленных против Клеона, то из них с достаточной ясностью вытекает, что афинская демократия и предводитель ее Клеон продолжали перикловский способ войны, в чем им, конечно, мешал Никий со своей олигархической бандой, вынуждая их этим к преувеличенной страстности и беспощадности. Кроме того, Клеон проводил эту политику, руководствуясь, в сущности, теми же методами и целями, что и Перикл.

Первый раз Фукидид упоминает имя Клеона в 427 г., когда шел вопрос о том, как следует наказать митиленцев, отпавших от Афин почти со всем островом Лесбосом, проектировавших это отпадение еще до начала Пелопоннесской войны, но не нашедших тогда со стороны Пелопоннесского союза желаемого сочувствия. В Митиленах — крупнейшем городе острова — господствовала олигархическая партия. Момент, когда Афины были опустошены чумой, эта партия сочла благоприятным для осуществления своих старых планов, тем более что она была милостиво услышана Пелопоннесским союзом. Митиленцы не имели никакого повода к отпадению; остров Лесбос был свободным союзником Афин, с собственными военными силами и полной независимостью; они не могли пожаловаться ни на какую несправедливость со стороны Афин. Тем большее возмущение вызвало их отложение в Афинах, и, когда с большим трудом они были покорены снова, афиняне, по предложению Клеона, в наказание митиленцам решили казнить всех мужчин и продать в рабство женщин и детей. Однако, как только было принято это жестокое решение, пришло раскаяние, и на следующий же день состоялось новое собрание, чтобы еще раз обсудить этот вопрос; на этом собрании Клеон в речи, подробно приводимой Фукидидом, с еще большей резкостью настаивал на своем первоначальном предложении, однако с тем результатом, что вчерашнее решение было отвергнуто большинством, хотя и ничтожным.

Эту единственную речь Клеона Фукидид приводит, очевидно, с намерением представить его «как самого жестокого из всех» и уж наверное не в пользу Клеона. Но даже эта речь показывает, что Клеон по меньшей мере не был тем льстящим народу демагогом, которым он должен был быть по Фукидиду и еще больше по Аристофану[1]. Клеон начал со следующих слов: «Я уже много раз видел при различных обстоятельствах, что демократическое государство не может господствовать над другими государствами, но я никогда не видел этого более ясно, чем сейчас, при вашем раскаянии по отношению к митиленцам». Клеон резко порицает народ за то, что он подвергает дискуссии уже раз решенный вопрос; нерешительность и полумеры он называет опаснейшей политикой по отношению к союзникам. В полном согласии с Периклом он называет власть Афин тиранией, которой подчиняются лишь против воли; эта власть будет потрясена в своем основании, если с митиленцами поступят снисходительно. Можно было бы еще уступить, если бы это были союзники, действительно терпевшие несправедливости со стороны Афин или же принужденные к этому врагом. Но совсем иначе обстоит дело с митиленцами, которые, живя в совершенно свободном государстве, всегда пользовались полным уважением и почетом со стороны афинян и, несмотря на это, предательски нанесли им удар в спину. Клеон в конце концов предостерегал от трех вещей, опасных для господствующего государства: от сострадания, от увлечения красноречием и от полумер. Вряд ли когда-нибудь еще слышало афинское народное собрание такую горячую и резкую отповедь от этого мнимого демагога, и если Фукидид упустил это из виду, лишь бы только очернить «насильника» Клеона, то он точно так же упустил из виду и то, что речь Клеона целиком входила в рамки военного плана Перикла.

Это, конечно, не означает, что если бы Перикл был жив, то он, с своей стороны, настаивал бы на террористическом предложении Клеона. Такой вопрос принадлежит к тем праздным фантазиям, на которые нельзя ответить ни да,

---

[1] Аристофана я здесь более касаться не буду. Характеризовать Клеона по автору комедий было бы равносильно тому, как если бы через 2 000 лет какой-нибудь историк вздумал писать о немецкой социал-демократии по «Кладдерадатчу» или о немецком империализме по «Симплициссимусу». Эту бессмыслицу отвергает также и г. Дельбрюк. Что касается Клеона, то Аристофан может быть свидетелем лишь постольку, поскольку его комедии показывают, какую неограниченную свободу слова предоставляла афинская демократия, и как раз «насильник» Клеон, даже наиболее злостным своим противникам.

ни нет; время переменилось, и демократия выступила более резко и решительно против возросшей силы и коварных стремлений олигархии. Но основной тон речи Клеона, что в первую очередь должна поддерживаться тирания над союзниками и проводиться как господство силы, только силой, с «оружием в руках», звучит так же, как и основной тон последней речи Перикла к афинянам.

На эти вещи нельзя смотреть с точки зрения гуманности, которой охотно хвастается новейшее время. Измеряемый этим масштабом, Клеон не только не был бы демагогом, но был бы таким же гениальным спасителем государства, каким был убийца масс Кавеньяк в июньские дни 1848 г., или убийца масс Тьер в майские дни 1871 г., или же каким хотел быть «добрый» Бисмарк, намеревавшийся уничтожить государственным переворотом всеобщее избирательное право, вызвать этим рабочее восстание и потопить его в ужасной кровавой бане. В древности были не так гуманны, как в настоящее время, но лицемерили гораздо меньше. То, что Клеон хотел предпринять по отношению к митиленцам, было крайней мерой военного права, и после отклонения его предложения митиленцы попали «из кулька в рогожку»: подверглись уничтожению не все их мужчины, но больше тысячи их. Значительно позже смерти Клеона афиняне обрекли отложившийся от них город Скион той же участи, которой Клеон хотел подвергнуть Митилены, и то же самое было сделано с островом Мелосом, который совсем не был виновен в измене, так как не являлся союзником Афин, а был лишь завоеван афинянами. Эти случаи Фукидид рассказывает, конечно, без того возмущения, которым он преисполняется, когда речь идет о Клеоне.

Сильнее всего выступает это негодование, когда Фукидид пытается превратить величайшую победу, одержанную Афинами в Пелопоннесской войне, в какую-то бессмыслицу, и только потому, что ее выиграл Клеон. Демосфен, самый искусный полководец афинян, смелым нападением занял Пилос на пелопоннесском берегу, отрезав 420 тяжело вооруженных, преимущественно спартиатов с их илотами, на острове Сфактерия. Из страха за участь этих знатных воинов Спарта сделала Афинам мирные предложения, не заботясь о своих союзниках. Она указывала, что вела войну не по собственному желанию, но лишь как глава Пелопоннесского союза; она даже предлагала союз с Афинами, заключив который оба могущественных государства могли бы покорить всех остальных греков. Однако

это мирное предложение разбилось об условия, которые афиняне поставили по совету Клеона: они требовали, чтобы отрезанные на острове Сфактерия капитулировали и чтобы, кроме того, местности Низея, Пегея, Трезен и Ахайя, от которых 20 лет назад вынуждены были отказаться Афины, снова были отданы в их владение.

Буржуазные ученые полагали, что Перикл потребовал бы не меньше этого. Однако г. Дельбрюк это оспаривает, и с ним надо согласиться, что обратное приобретение пелопоннесских местностей Ахайи и Трезена не отвечало сущности военного плана Перикла. Гораздо более отвечало его планам приобретение Низеи и Пегеи, т. е. господство над Мегарой, обладание которой обеспечивало Афины от нападения пелопоннесцев и открывало им доступ к Коринфскому заливу, к западной части Средиземного моря. Если бы Перикл не требовал по крайней мере столько, то его военную политику вряд ли можно было бы оправдать. Возможно, что требования Клеона с самого начала предусматривали торг; но в действительности дело не дошло до настоящих переговоров, так как спартанские послы хотели вести их тайно с несколькими лицами, против чего Клеон справедливо протестовал, потому что их намерение открыто метило на сделку с афинскими олигархами.

Когда передача острова Сфактерия замедлилась и афинское господство в Пилосе стало подвергаться угрозам, олигархи воспользовались этим, чтобы выступить против Клеона, который якобы мешал заключению мира. По свидетельству Фукидида, он сначала доказывал, что неблагоприятные известия из Пилоса ложны, но впоследствии, когда он сам должен был отправиться на обследование их, Клеон из страха быть наказанным за ложь заявил, что такое обследование является бесполезной тратой времени; если бы афинские полководцы были действительно мужами (он намекал этим на Никия), то они, обладая таким хорошо вооруженным флотом, легко завоевали бы остров, в частности, если бы командование было в его руках, он очень быстро покончил бы с этим.

Афиняне начали роптать, почему Клеон сам не предпримет морского похода, раз дело кажется ему таким легким, а Никий от имени своих стратегов заявил, что для них очень желательно, чтобы Клеон взял себе столько власти, сколько ему угодно, и начал поход; Клеон подумал сначала, что это лишь одни разговоры, и изъявил свою готовность. Но когда он увидел, что Никий сделал свое предложение серьезно, он отступил и заявил, что главно-

командующим остается Никий, а не он. Однако Никий открыто отказался от своего звания главнокомандующего в войне в Пилосе и призвал в свидетели этому афинян. «Последние поступили так, как и полагается народу. Чем настойчивее отказывался Клеон от предводительствования флотом, пытаясь взять обратно свои слова, тем решительнее заставляли они Никия уступить свое звание главнокомандующего». Когда Клеон заметил, что для него нет более отступления, он заявил, что не боится спартанцев и согласен отплыть, взяв с собой лишь 400 легко вооруженных от союзников, не беря ни одного человека из Афин. С этими людьми и с людьми, находившимися в Пилосе, он намеревался в течение 20 дней или привезти спартанцев живыми в Афины, или же уничтожить их на острове Сфактерия. «Афиняне не могли удержаться от смеха, видя, как он легко относится к делу. Между тем благоразумные были этим очень довольны, так как они надеялись извлечь из этого то или другое преимущество: или избавиться от Клеона, на что они больше всего надеялись, или же, если эта надежда не осуществится, увидеть пленных спартанцев». Клеон выбрал своим помощником Демосфена и точно выполнил свое обещание, как оно ни было безумно, по мнению Фукидида. Он высадился на острове Сфактерия, завладел островом, взял всех оставшихся в живых, и в числе их 120 спартиатов, после жестокой битвы в плен и, едва исполнилось двадцать дней, победоносно возвратился с ними в Афины.

Г-н Дельбрюк считает занятие Сфактерии действительно «большим делом» и удивляется, что Фукидид, «не уменьшая серьезности дела, совершенного демагогом, представляет вместе с тем нам этого человека как бесполезного труса». Мы должны сознаться, что и для нас эта психология чересчур возвышенна и что мы оказались бы в большом затруднении, если бы нам пришлось указать, на что еще мог быть способен Фукидид в своей ненависти, чтобы превратить объективное дело Клеона в шутовскую проделку, унизить его исполнителей и сделать смешной афинскую демократию. К счастью, Фукидид так ослеплен своей ненавистью, что, сам того не желая и не подозревая, навлекает на голову своих единомышленников самый тяжелый позор. Уже Грот спрашивал: если глупость Клеона и афинской демократии была так велика, как это думает Фукидид, то что можно сказать о подлости олигархической партии, с Никием во главе, которая побуждала народ к этой глупости, лишь бы уничтожить своего полити-

ского противника? Но об этой подлости, которую Фукидид называет «разумной», г. Дельбрюк тщательно умалчивает.

Если олигархической интриге дать подобающую оценку, то положение вещей становится достаточно понятным. В то время как Демосфен, командующий в Пилосе, считал завоевание Сфактерии возможным, Никий и его клика преувеличивали трудности предприятия не столько из природной трусости, хотя Никий и не был героем, сколько из предательских соображений, чтобы не сделать перевеса Афин над возлюбленной Спартой слишком большим. Этому противился Клеон, и вот «благоразумные» люди, так как Клеон не был полководцем и не имел на это даже никаких претензий, пришли к той коварной мысли, которую им приписывает Фукидид. Поэтому Фукидид может рассматриваться как их единомышленник. Наоборот, все, что он хочет прочитать в душе Клеона и афинской демократии, — не что иное, как злостная болтовня. Клеон действовал столь же правильно, как и умно, противясь предательским махинациям олигархии; афинская же демократия делала то, чего требовали интересы Афин, послав своего уполномоченного с необходимым подкреплением и полной властью к своему искуснейшему полководцу, который был достаточно способен и решителен, чтобы завоевать остров Сфактерию.

После такого большого успеха афиняне были менее чем когда-либо склонны выслушивать мирные предложения спартанцев. Наоборот, они бросились со всеми силами на Мегару и Беотию, но имели лишь небольшой успех в Мегаре и почти полную неудачу в Беотии, проиграв битву при Делионе. Особенно тяжелым ударом для них было победоносное продвижение в их фракийских владениях спартанского полководца Бразида; они потеряли здесь город Амфиполь вследствие небрежности Фукидида; последний владел большими горными копями на фракийском берегу, для защиты которых ему было предоставлено командование над афинским флотом. Он искупил свою вину 20-летним изгнанием из родного города, причем, по сообщению не его самого, а другого историка, это произошло по предложению Клеона, что, конечно, увеличило ненависть Фукидида к последнему. Война во Фракии не прекратилась во время заключенного в 423 г. в Афинах, под влиянием олигархической партии, перемирия, являвшегося предвестником всеобщего мира.

Клеон возражал против этого мира, по мнению Фукидида, из недостойных побуждений, фактически же опять-

таки вполне в духе перикловского военного плана. Перикл хотел, чтобы Афины железной рукой удерживали свое морское могущество, и Клеон требовал примерно того же, чтобы господство Афин во Фракии во что бы то ни стало было восстановлено, прежде чем начались приготовления к миру. Возражение, сделанное г. Дельбрюком, что вследствие мира Афины могли получить Амфиполь и другие свои фракийские владения, совпадает с этим по двоякой причине. Прежде всего Клеон совершенно не доверял спартанцам и их друзьям-олигархам в Афинах; насколько он был в этом прав, показывает то, что когда после его смерти действительно был заключен мир, Спарта не сдержала своего обязательства вернуть Амфиполь. Во-вторых, для сохранения и укрепления афинского морского владычества имел большое значение вопрос, смогут ли Афины собственными силами вернуть под свою власть отложившихся союзников, или же приобретут их по милости спартанцев.

Ввиду того что Никий и олигархическая партия вели войну во Фракии очень медленным темпом, Клеон и на этот раз вынужден был заставить афинян последовать своему совету. «Он принудил афинян, — пишет Фукидид, — послать его с флотом к фракийскому берегу, для чего он получил 1 200 гоплитов, 300 всадников и значительное количество союзных войск». Хотя Клеон и не был полководцем, он начал поход счастливо, покорил несколько отпавших городов и расположился лагерем перед Амфиполем с вполне понятным намерением подождать вспомогательные македонские войска, прежде чем начать решительное нападение на Бразида.

Ему помешало, — как рассказывает со своей коварной манерой Фукидид, настолько ослепленный ненавистью, что он обвиняет там, где ему хочется обвинять, — то, что «его солдаты стали проявлять недовольство слишком продолжительным бездействием и начали роптать против его командования, порицая его трусливое и глупое поведение по отношению к такому смелому и коварному врагу; они говорили, что неохотно отправились с ним из дома, так что, когда до его ушей дошел этот ропот, он, против своего убеждения, лишь бы только положить конец их тяжелому, вызванному бездействием настроению, снялся с лагеря и двинулся вперед. Он приступил к делу так же, как перед этим при Пилосе, где только что испытанная им удача заставила его поверить, что он не так уж глуп». Клеон предпринял против Амфиполя то, что теперь называют рекогно-

сцировкой. Он не мог думать, да и не думал неожиданно захватить город; как только он заметил по некоторым признакам, что Бразид подготовляет вылазку, он повернул назад, но было уже слишком поздно. Когда афинское войско в походном порядке шло вдоль стен города, чтобы вернуться в лагерь, Бразид ударил ему во фланг. Афиняне обратились в поспешное бегство без малейшей попытки к серьезному сопротивлению. Бразид и Клеон погибли. Последний, по словам Фукидида, — конечно, как жалкий трус, по словам же Диодора, позднейшего греческого историка, — как смелый воин.

По г. Дельбрюку, эта битва прежде всего показывает полное ничтожество Клеона: «Полководец, теряющий битву так, как Клеон битву при Амфиполе, не только плохой военный, но и никуда не годный человек», по сравнению с которым Никий выступает в свете благородного, внушающего доверие человека.

Трусливое поведение афинских гоплитов в сражении, к которому они принудили Клеона почти явным мятежом, объясняется г. Дельбрюком так: «Их поведение как раз показывает, с чем Клеону нужно было бороться. Такое позорное дезертирство не случается ни с одним полководцем, если только он порядочный человек (для этого ему совсем не нужно быть выдающимся военным)». Однако что касается поражения Клеона, то действительные причины здесь чрезвычайно многочисленны.

Г-н Дельбрюк прекрасно знает, что греческое гражданское ополчение не знало дисциплины римских легионеров, не говоря уже о муштровке прусских рекрутов. Оно было так своенравно, что доставляло много хлопот даже настолько опытному и счастливому полководцу, как Демосфен. В сухопутном войске олигархия имела такую же поддержку, какую демократия имела во флоте. Сам Фукидид свидетельствует, что гоплиты очень неохотно отправились во фракийский поход, и их мятеж против «бездействия» был настолько же бессмысленен, насколько разумна и понятна для самой тупой головы была причина, имевшаяся у Клеона для «долгого бездействия».

В другом месте, где речь идет уже не о Клеоне, но о римской военной системе по сравнению с греческой, г. Дельбрюк сам приводит массу доказательств того, что афинские гоплиты видели даже доблесть в непослушании своим командирам. Главная вина в потере Амфиполя лежит, таким образом, на афинском войске. В настоящее время нельзя уже более говорить, что Клеон не был на

высоте своего трудного положения, так как представление Фукидида о полной безрассудности Клеона, естественно, покоится на мнении тех, кто был единственно виноват в поражении и кто имел все основания выставлять погибшего козлом отпущения своей собственной негодности. Суждение Фукидида поэтому совершенно недостойно внимания, даже независимо от того, что Диодор дает совершенно иное описание битвы и настойчиво доказывает храбрость Клеона.

Если г. Дельбрюк пользуется манускриптом реформатора Биллингера о Бургундской войне, чтобы путем исторической аналогии проверить рассказ Геродота о персидских войнах, то он должен бы воспользоваться и манускриптом реформатора Меланхтона о Томасе Мюнцере, чтобы представить в истинном освещении фукидидовский рассказ о битве при Амфиполе. Это как раз то же самое: Томас Мюнцер в битве при Франкенгаузене представлялся таким же безголовым болваном и так же трусливо бежал, как и Клеон под Амфиполем. Разница лишь в том, что меланхтоновскую ложь о Мюнцере под Франкенгаузеном мы по крайней мере частично обнаружили из других источников, тогда как рассказ Фукидида изобличает себя своей внутренней противоречивой невероятностью как образчик того славного метода, которым исторически отсталые партии вынуждены бороться с историческими передовыми направлениями.

После смерти Клеона и Бразида партии мира в Афинах и Спарте получили перевес, и в 421 г. между Афинами и Спартой был заключен Никиев мир, названный так по имени истинного своего творца и покоившийся на том положении вещей, которое существовало перед войной. По мнению г. Дельбрюка, перикловский военный план был бы выполнен и все было бы благополучно, если бы Афины не были вовлечены в «неслыханную глупость» сицилийской экспедиции. Почему была предпринята эта «неслыханная глупость»,— это остается у г. Дельбрюка совершенно неясным. Судьбы народов так же мало определяются неслыханной глупостью, как и неслыханной мудростью.

На самом деле мир Никия был так же гнил, как и человек, имя которого он носил. Афинская олигархия заключила его через голову афинской демократии, которая была подавлена падением Клеона и поражением под Амфиполем. Спарта же, чтобы получить обратно пленников со Сфактерии, заключила его через голову своих союзников, из которых Беотия, Коринф и Мегара — непосредственные

враги Афин — и слышать ничего не хотели о мире. Спартанцы ни в каком случае не хотели и не могли отдать афинянам Амфиполь. Из открытой войны получилась скрытая, вылившаяся в афинскую экспедицию в Сицилию, которая тем менее была «неслыханной глупостью», в смысле г. Дельбрюка, что она имела своей целью достигнуть одним ударом того, чего Перикл хотел достигнуть своей стратегией на истощение и что было вопросом жизни для афинской демократии, именно — распространения морского господства Афин на все Средиземное море.

В катастрофе сицилийской экспедиции афинская олигархия снова несла на себе часть вины, особенно же злополучный Никий, «преступные дурачества» которого, как справедливо говорит Грот, сыграли большую роль в неудачном окончании экспедиции. После своего позорного поражения он был, несмотря на все старания своих спартанских друзей, казнен победоносными сиракузцами, проклят афинским народом, но остался почитаем своим единомышленником Фукидидом, доверявшим ему как человеку, «который из всех греков моего времени менее всего заслуживал такой ужасной участи, так как поведение его было всегда строго закономерно и он всегда стремился выполнять свои обязанности перед богами».

Если сравнить эту ханжескую тираду с тем гнусным злорадством, с которым Фукидид сообщает о смерти Клеона, то становится понятным, что после решительного примера Грота оппозиция среди беспристрастных историков стала гораздо значительнее, так что даже немецкие историки писали: «Олигархические тенденции, и только они, вызвали падение Афин». Однако, хотя это мнение гораздо более правильно, чем высказываемые из боязни перед правителями речи о том, что Афины погибли от афинской демократии, все же проблема этим вполне не разрешается. Остается неясным вопрос: почему демократия не подчинила себе олигархию? Исследования Грота оставили также и здесь существенный пробел.

Экономические условия жизни афинской демократии, как мы их здесь бегло набросали, делали ее, с одной стороны, все более и более воинствующей и увеличивали, с другой стороны, ее моральное разложение. Этот двойной процесс мы можем изучить на ее вождях, сначала по еще небольшому антагонизму между Периклом и Клеоном, а затем по зияющей пропасти между Клеоном и Алкивиадом, истинным виновником сицилийской экспедиции. Он был любимым учеником Сократа и наиболее беспринципным

человеком своего времени, несмотря на то, что в этом отношении он имел достойного соперника в другом любимом ученике Сократа — Критии[1].

Вожди афинской демократии, конечно, не ответственны за ее судьбу; наоборот, народы ответственны за своих руководителей, и поэтому можно сказать про каждую партию: покажи мне твоих вождей, и я скажу тебе, кто ты.

Не Афины погибли от афинской демократии, но афинская демократия погибла, как вообще вся античная культура, от рабовладельческого труда так же, как современная культура погибнет от «свободного труда», если он из обманчивого лозунга не превратится во всемирно-исторический факт, т. е. если не будет осуществлена диктатура пролетариата.

4. ГАННИБАЛ И ЦЕЗАРЬ

В противоположность Афинам Рим с самого начала был сухопутной державой, возникшей не из таких блестящих войн, как персидские, но в упорной борьбе, при скудных источниках, в непрерывных битвах с мелкими государствами, а потому с самого начала создавшей свою военную дисциплину совсем иначе, чем это было возможно в Афинах и даже в Спарте.

Г-н Дельбрюк делает очень ценные выводы, связывая корни римской военной организации с корнями римского

---

[1] Было бы слишком большим отступлением останавливаться здесь на отношении Сократа к борьбе, связанной с Пелопоннесской войной. Можно лишь заметить, что неоднократно встречаемая даже в партийной литературе склонность рассматривать историческую позицию Сократа и присуждение его к смерти чисто идеалистическим образом, почитание его как борца за правду, добро и красоту не имеет за собой ничего, кроме голубого воздуха идеализма. Сократ как учитель Алкивиада, Крития и других подобных умов пал жертвой процесса самопознания афинской демократии, которая снова стремилась подняться после ужасного поражения Пелопоннесской войны и была самым чувствительным образом уязвлена тем, что Сократ снова, как будто ничего не произошло, принялся проводить антидемократическую агитацию, как делал это и в течение войны. Весьма возможно, что при существовавшей в Афинах свободе слова Сократ отделался бы дешево, если бы он сам не вызывал на это суд в самой недопустимой форме; по утверждению своего ученика Ксенофонта, снискавшего известность предателя своей родины, он сделал это потому, что ему наскучила жизнь и он хотел обеспечить себе достойный конец, что ему и удалось. Хотя вполне понятно, но вместе с тем достойно строгого порицания, что отчаявшаяся демократия не имела достаточно самообладания, чтобы отпустить Сократа, несмотря на его вызывающие речи, но, с другой стороны, нет также никакого основания рассматривать Сократа как выдающегося героя и страдальца, так как за заслугу воспитания Алкивиада, Крития и Ксенофонта он был вполне достоин своей участи.

государственного устройства, но при недостаточности исторических источников он должен был в существенном ограничиваться заключениями от позднейшего развития к раннему. Полный исторический свет начинает пробиваться лишь со второй Пунической войны, историком которой является Полибий в такой же мере, в какой Фукидид является историком Пелопоннесской войны. Однако г. Дельбрюк не позволяет Полибию завладеть собой так безапелляционно, как Фукидиду.

Вторая Пуническая война создала эпоху в истории римского военного дела. Она была таким же испытательным огнем для Рима, как Пелопоннесская война для Афин. Дело шло здесь о гегемонии Рима в Италии, но только Рим это испытание выдержал. В тяжелой борьбе приобрел Рим также права и на мировое господство. Его войска, бывшие до тех пор, несмотря на существовавшую строгую дисциплину, гражданским ополчением, превратились в профессиональную армию. Республиканское устройство Рима, победоносно устоявшее под ужасными ударами Ганнибала, вследствие своей победы стало превращаться в военную монархию. Сципион, победоносно закончивший войну против гениального карфагенянина, был предшественником Цезаря.

Пока римское военное государство имело лишь граждан-солдат, граждан-офицеров, граждан-полководцев, оно не могло и думать о том, чтобы послать войско в Африку и сразить своего опасного соперника — Карфаген. С другой стороны, богатый торговый город Карфаген обладал прекрасно организованным профессиональным войском, с великолепными полководцами и главнокомандующим, являвшимся беспримерным в истории военным гением. Если Ганнибала часто сравнивают с Наполеоном, то не следует забывать, что Ганнибал не смог в конце концов добиться успеха вследствие узкого и завистливого торгашеского расчета правителей своего отечества, тогда как Наполеон был вынесен на поверхность волной великой революции.

Если гениальность карфагенского полководца хотят поставить в известные рамки, то мы должны сказать, что величие Ганнибала проявилось как раз в том, что, несмотря на военно-техническое превосходство карфагенского войска над римским, он не увлекся утопическими целями. Особенность его войска позволяла ему вторгнуться в Италию и атаковать противника на его собственной земле, чего не позволял римлянам характер их войска, но Ганнибал никогда не думал, даже после своей победы при Каннах, уничтожившей полностью римское войско, повести

наступление на Рим и занять город. Упреки, которые ему делают за то, что, победив, он не сумел воспользоваться плодами своей победы, основаны на полном непонимании положения вещей. Его войско далеко не было достаточно сильным, чтобы осадить и взять такой большой, хорошо укрепленный и богато снабженный всевозможными продуктами город, как Рим. Неудачный штурм города отнял бы у Ганнибала плоды всех его побед и помешал бы как раз тому, на что Ганнибал рассчитывал,— отложению итальянских союзников от римской гегемонии.

Это отложение началось в широких размерах после битвы при Каннах. К Ганнибалу перешло большое количество областей и мелких общин, а также и такие большие города, как Тарент, Сиракузы и Капуя — величайший город Италии после Рима. Если бы это движение продолжалось, Рим неминуемо пал бы. Медленное истечение кровью было бы его верной смертью. Это знали и римляне. Они избегали поэтому решительной битвы, в которой они могли бы погибнуть, и делали неслыханные усилия для того, чтобы снова подчинить себе отложившиеся города и общины. В течение более чем целого десятилетия почти все боеспособные мужчины Рима носили оружие, что, по вычислению г. Дельбрюка, составляло 10% населения — цифру, величину которой можно понять, лишь учитывая, что Пруссия в 1870 г. имела под ружьем 3½% и даже в 1813 г. только 5½% населения, но и это продолжалось не дольше 1¼ года. Благодаря такому беспримерному напряжению сил римляне окончательно разбили Ганнибала. Несмотря на свое превосходство в открытом поле, он не мог помешать римским легионам в осаде и покорении отложившихся городов. Эти осады после битвы при Каннах стали центром военных событий. Военных средств, имевшихся в распоряжении карфагенского войска, было недостаточно, чтобы атаковать римские лагери, которые воздвигали консулы при осадах. Атака карфагенской кавалерии и тактические сочетания различных частей и родов оружия — это крупное превосходство карфагенян — здесь не могли проявиться, и поэтому упорная храбрость римских легионов одержала верх. Этот единственный факт, встречающийся в истории, где одна сторона умела производить большие и продолжительные осады, в то время как другая обладала несомненным превосходством в открытом поле, может быть объяснен исключительно различной конструкцией военных сил — тем, что войска не были однородны и каждая сторона имела свою особую организацию.

Когда римляне осадили Капую, Ганнибал не смог напасть на них в их укреплениях и пытался терроризировать их демонстративным походом на Рим. Однако римляне не дали себя запугать, и Капуя пала.

В известном смысле это было решительным кризисом войны. Если могучая Капуя не смогла устоять собственными силами против Рима, а также не могла быть защищена от Рима Ганнибалом, это означало, что гегемония Рима над Италией была несокрушима и что план Ганнибала не удался. Значение падения Капуи как переворота в существовавшем положении вещей было тотчас же понято современниками. Оно отразилось в легенде, которая и до сегодняшнего дня сохранила за словом «Капуя» характер поговорки,— в той легенде, что грубые солдаты Ганнибала якобы изнежились в распущенном и богатом городе и стали неспособны к бою. Это очень интересный случай исторического образования легенды; насколько правильно понято историческое значение факта, настолько неверно его историческое объяснение. Войска Ганнибала не изнежились в Капуе, так как он продержался в Италии еще 12 лет, в течение которых римляне не осмеливались напасть на него; однако падение города запечатлело крушение военного плана Ганнибала.

Пожалуй, вместе с этим война пришла к известному равновесию. Сколько бы ни склонялись весы в сторону римлян, последние не могли говорить о какой-либо решительной победе, пока они не разбили в открытом поле карфагенское войско, предводительствуемое Ганнибалом. Это удалось им лишь тогда, когда гражданское ополчение было реорганизовано в профессиональную армию и были подготовлены офицеры-специалисты, заступившие место ежегодно сменявшихся гражданских начальников, под командой которых римское войско находилось еще под Каннами. Сципион, переправившийся в Африку, чтобы напасть на Карфаген на его собственной земле и этим заставить Ганнибала уйти из Италии, был облечен продолжительной военной властью, а войско его состояло главным образом из навербованных солдат, искавших службы ради службы и ради добычи, ставших в течение войны настоящими воинами и отвыкших от гражданской жизни. Это войско, впоследствии победившее Ганнибала при Заме, и принудило Карфаген к унизительному миру, от которого он уже более не оправился; оно имело характер профессионального солдатского войска не только по своим военно-техническим достоинствам, но также и по своим морально-политическим

порокам, по заносчивому, грубому обращению со своим собственным гражданским населением.

В течение полутора столетий происходило затем медленное распадение староримского государственного устройства, пока Цезарь не закончил того, что начал Сципион. Начиная с Моммзена особым пристрастием всех буржуазных историков было прославление Цезаря, и даже г. Дельбрюк не совсем свободен от такого прославления. Однако к стратегии Цезаря, известной нам преимущественно по его собственным сочинениям, г. Дельбрюк сохраняет критическое отношение и доказывает на отдельных фактах, что сочинения Цезаря — в самом лучшем случае, прибавим мы от себя,— должны оцениваться не выше, чем воспоминания, написанные Наполеоном на острове св. Елены, т. е. не иначе, чем «причудливая смесь реалистической правды и совершенно сознательной выдумки». Особенно же часто Цезарь берет сведения с потолка там, где вопрос идет о бесчисленных массах побежденных им войск. На самом деле он был уже глубоко проникнут мудростью старого Фрица, что добрый бог всегда сопутствует большим батальонам, и во всех своих битвах, в лучшем случае за одним исключением битвы при Фарсале [1], он умел позаботиться о том, чтобы численный перевес всегда был на его стороне.

В этом, конечно, его нельзя упрекнуть. Однако невероятные мошенничества, которые он проделывает с численностью войск своих противников, освещают «несравненный» гений Цезаря очень своеобразным светом. При Алезии — решительной битве в Галльской войне — Цезарь имел будто бы 70 000 человек; галлам, которых он держал блокированными в Алезии, Цезарь приписывает 80 000 человек, а их приближавшейся деблокадной армии [2] даже 250 000 пехотинцев и 8 000 всадников. Путем глубокого анализа фактов г. Дельбрюк доказывает полную несостоятельность и неправдоподобность этих цифр; он приходит к выводу, что в Алезии было не более 20 000 галлов, а в деблокадной армии — не более 50 000 человек; силы галлов и римлян, следовательно, приблизительно равнялись друг другу,— так, между прочим, утверждал и Наполеон.

Победоносная стратегия Цезаря в Галлии покоилась как раз на том, что он умел избегать сильной стороны галль-

---

[1] В битве при Фарсале Цезарь наголову разбил своего соперника Помпея и после этого стал неоспоримым претендентом на фактическое единодержавие над Римом.— *Ред.*

[2] Армия, идущая на выручку блокированной армии.— *Ред.*

ского войска и использовать сильную сторону римлян. Силу галлов составляло большое число более или менее воинственных, физически сильных народностей. Если бы Цезарь разделил свои легионы, чтобы победить сразу все галльские племена, и затем выделил бы гарнизоны для крепостей и главных городов, чтобы удерживать их в подчинении, он проиграл бы. Однажды, когда он, по соображениям снабжения, вынужден был разместить свои войска на различных зимних квартирах, у него было полностью уничтожено $1\frac{1}{2}$ легиона — 9 000 бойцов,— приблизительно половина того количества войска, которое Вар потерял в Тевтобургском лесу. Стратегия Цезаря состояла в том, что он все свое войско постоянно держал вместе, чтобы побивать отдельные галльские народы своими превосходными силами; это была стратегия, вполне отвечавшая существовавшим условиям, но она была полной противоположностью той поразительной стратегии, которую он позднее демонстрировал доверчивой публике,— стратегии, которая якобы давала ему возможность с ничтожным меньшинством обращать в бегство бесчисленные полчища.

В конечном счете Цезарь победил в Галльской войне не благодаря своему исключительному гению, но вследствие того превосходства, которым обладало римское военное искусство как таковое по сравнению с военным искусством варваров. Г-н Дельбрюк достаточно беспристрастен; при всем своем почтении к Цезарю он исчерпывающе выясняет этот вопрос и приходит при этом к поражающим выводам.

Варвары имеют перед цивилизованными народами то преимущество, что они обладают для военных целей необузданной первобытной силой. Цивилизация делает человека более утонченным, более впечатлительным, уменьшая вместе с тем его военную ценность — не только телесную силу, но и психическое мужество. Любая масса римлян, бывших прежде крестьянами или горожанами, противопоставленная такой же массе варваров, была бы, без сомнения, побеждена, обращена в бегство без сопротивления. Этот естественный недостаток, порождаемый цивилизацией, должен быть возмещен помощью искусства: дисциплина должна сделать утонченные нации способными сопротивляться грубым. Но этого мало. Нет никакого основания предполагать, что римская когорта в 600 человек должна победить отряд галлов такой же силы. Римская дисциплина и тактика не давали еще так много, чтобы одержать верх над бешеной храбростью варварских войск, особенно если по своей численности они превосходили римские. Поэтому

Цезарь так старательно избегал столкновений с превосходными силами и заботился о том, чтобы иметь перевес на своей стороне.

В чем же заключалось преимущество римского военного искусства? Г-н Дельбрюк отвечает: «Оно покоилось на организации войска в целом, которая позволяла концентрировать в одном месте очень большие массы, двигать их в порядке, снабжать, поддерживать их связь. Этого всего не умели делать галлы. Их подавляла, конечно, не храбрость римлян, которой не уступала их собственная храбрость, и не массы римских войск,— совсем нет: их массы были не меньше,— но их массы были мертвы, не были способны к движению. Римская культура восторжествовала над варварством, так как сделать большую массу подвижной — это есть искусство, которое дается лишь высокой культурой. Варварство на это неспособно. Римское войско являлось не только массой, но массой организованной; оно представляло собой сплоченный, сложный живой организм. Сюда относились не только солдаты и вооружение, всадники и пехота, не только легаты, трибуны, центурионы, легионы, когорты, манипулы, центурии, дисциплина снизу, управление сверху, авангард, арьергард, патрули, донесения, устройство лагерей, но также квестор и его войско чиновников и контролеров, инженеры с их орудиями, умеющие быстро сооружать мосты, валы, блокгаузы, тараны, метательные орудия, корабли, интенданты с их обозами, доктора с лазаретами, магазины, цейхгаузы, полевые кузницы и т. д.».

Действительно, нельзя лучше доказать, что способ производства имеет решающее значение и в области военного искусства, но это, конечно, не мешает г. Дельбрюку метать снова громы против исторического материализма.

5. БИТВА В ТЕВТОБУРГСКОМ ЛЕСУ

В первом томе своего сочинения г. Дельбрюк занимается древними временами, во втором — борьбой между германцами и римлянами.

Первый отдел этого тома по своей методологии является наиболее выдающимся из всего сочинения. Он начинается предложением: «Чтобы понять германский способ ведения войны, необходимо изучить сначала политико-социальное устройство этого народа». Выводы, делаемые отсюда г. Дельбрюком, не могут встретить никакой отрицательной критики со стороны последователя исторического материа-

лизма. Конечно, этим еще не сказано, что в каждом отдельном случае г. Дельбрюк совершенно прав. В отдельных подробностях, вследствие недостаточности и недостоверности источников, неизбежно постоянное расхождение мнений, но против метода, при помощи которого г. Дельбрюк объясняет военное искусство германцев производственными отношениями, ничего нельзя возразить.

В начале нашего летосчисления германцы распадались на народности, из которых каждая владела областью в среднем до 100 квадратных миль. Границы областей, вследствие вражеских нападений, не были заселены; даже от самых удаленных населенных мест можно было достигнуть расположенного посредине страны места собраний в течение одного перехода.

Так как бо́льшая часть местности была покрыта лесом и болотами и жители имели лишь небольшие запашки, питаясь преимущественно молоком, сыром и мясом, то население не могло превышать в среднем 250 человек на 1 квадратную милю; таким образом, отдельные народности насчитывали до 25 000 душ населения, самые крупные, возможно,— от 35 000 до 40 000. Это составляло от 6 000 до 10 000 мужчин (за вычетом 1 000 или 2 000 человек отсутствовавших), имевших право голоса и образовывавших общие совещательные собрания. Эти всеобщие народные собрания представляли собой высшую суверенную власть. Между Рейном и Эльбой жили 20 таких народностей, названия которых у нас сохранились.

Германия была, следовательно, очень редко населена. Объяснение того, каким образом Германия могла противостоять римскому мировому государству и его закаленным в боях легионам, лежит в социальной структуре германских народностей. Они распадались на роды, или сотни. Назывались они родами потому, что образовывались не произвольно, но в зависимости от естественного происхождения; городов, в которые могло бы устремиться избыточное население, чтобы завязать там новые взаимоотношения, не было. Каждый оставался в том союзе, в котором он был рожден. Сотнями же роды назывались потому, что они включали в себя около 100 семейств или бойцов. Фактически число бойцов, конечно, не соответствовало этой цифре; слово «сотня» германцы употребляли вообще как большое круглое число. Роды составлялись не таким образом, что множество отдельных пар селилось вместе, образуя в течение нескольких столетий большие роды, но таким образом, что роды, сделавшиеся слишком большими, чтобы

быть в состоянии прокормиться на одном месте, делились: определенная величина, определенное число были таким же обязательным элементом союза, как и происхождение; название бралось как с одной, так и с другой стороны; род и сотня были одно и то же.

Род (сотня), величина которого достигала 400—1 000, может быть даже 2 000 душ, размещался на пространстве от одной до нескольких квадратных миль и жил вместе в одной деревне. Свои хижины германцы строили не вплотную одна к другой, но, по известному выражению римского историка, «как кому нравилось, на любом месте в лесу или у источника», и даже не как отдельные дворы, но как широко разбросанные поселения. Земледелие, которым главным образом занимались женщины и не пригодные для войны и охоты мужчины, было очень скудным. В целях возделывания свежей плодоносной почвы место поселения часто перемещалось в пределах округа. Еще значительно позднее германское право считало дом не неподвижной, но передвигающейся единицей. Так как на 250 душ населения приходилась 1 квадратная миля, а на 750 — около 3 квадратных миль пространства, значительная часть пахотной земли не могла быть иначе использована. Если германцы и не были уже кочевниками, то во всяком случае они еще и недостаточно крепко сидели на земле.

Сородичи, бывшие в одно и то же время односельчанами, во время войны выступали одним отрядом. Поэтому еще и сейчас военный отряд называют на севере «Thorp» («деревня»), а в Швейцарии говорят «Dorf» («деревня») вместо «Haufe» («отряд») и «dorfen» («сходиться деревней») вместо «Versammlung halten» («держать собрание»). Даже наше слово «Truppe» («отряд»), занесенное франками к романским народам, а затем переданное последними нам, происходит от того же понятия и представляет собой памятник социального устройства наших предков в те времена, относительно которых не имеется никаких письменных сообщений. «Schar» («толпа»), жившая вместе и сообща выступавшая в войне, являлась одним и тем же понятием. Поэтому из одного и того же слова возникли названия: для местожительства — «деревня» («Dorf») и для солдат — «отряд» («Truppe»).

Старогерманская община была, следовательно, деревней по своему типу населения, округом — по своему объему, сотней — по своей величине и родом — по своей организации; земля не была частной собственностью, но принадлежала всем вместе внутри этой тесно замкнутой общины;

она представляла собой, по позднейшему выражению, товарищество, «марку» («Markgenossenschaft»).

Во главе каждой общины стояло выборное должностное лицо, которое называлось «альтерманом» или «гунно» («Hunno»), так же как сама община называлась то родом, то сотней. Ульфила в своем переводе библии называет сотника в евангелии «Hundafats» («гундафатс»). У англосаксов мы встречаем «aldorman» («эльдормен»). В Германии гунно в течение всех средних веков под названием «гунне», «гунн» обозначал деревенского старосту и до сих пор существует еще в Трансильвании как «хон» («Hon»).

Альтерманы были представителями общины в мирное время и предводителями мужчин во время войны. Они жили с народом и в народе, они были такими же свободными членами общины, как и все другие. Но, конечно, среди них тотчас же начало образовываться нечто вроде аристократии; в каждой народности были отдельные фамилии, которые стояли выше других членов общины не в силу существовавшего положительного права, но в силу естественного преимущества, которое дается при выборах сыновьям выдающихся отцов и которое превращается затем в привычку на место умершего деятеля выбирать его сына. В этих семействах вследствие дележа добычи, получения дани, подарков и военнопленных накапливались большие богатства, позволявшие владельцам их держать при себе свиту свободных людей, смелых воинов; они были обязаны жизнью и смертью своему господину и жили рядом с ним как совладельцы его богатств. Народные собрания каждой народности выбирали из этих фамилий «князей», или «предводителей», которые разъезжали по округу, производя суд, входили в сношения с чужими государствами, и один из них должен был во время войны брать на себя высшее командование.

Из этих политико-социальных установлений старых германцев г. Дельбрюк выводит очень правильно историческую сущность их военной организации. Они располагали в широком объеме двумя источниками военной силы: храбростью и физической силой отдельных воинов, с одной стороны, тактической силой, твердой связью между отдельными воинами — с другой. При суровой, варварской первобытной жизни, постоянной борьбе с дикими животными и соседними племенами каждый из них достигал высокой личной храбрости, и сплоченность каждой общины, являвшейся в одно и то же время землячеством и родом, хозяйственным товариществом и военным союзом, общины, ру-

ководимой вождем, авторитет которого распространялся над всем жизненным укладом, над всем существованием как в мирное, так и в военное время,— сплоченность подобной германской сотни под руководством их гунно обладала такой крепостью, которой не могла создать даже самая строгая дисциплина римского легиона.

Германцы не обучались военному делу, гунно вряд ли имел определенную дисциплинарную власть; даже само понятие специальной военной дисциплины было чуждо германцам. Но неразрывное единство всего существования, это естественное единство, было сильнее искусственного единства, которого могли достигнуть римляне дисциплиной. По внешней сплоченности выступлений, передвижений и атак, по выправке и строю римские центурии превосходили германские сотни; по взаимному доверию, по внутренней спайке, по моральной силе германцы были сильнее и даже настолько сильны, чтобы остаться несокрушимыми при внешнем беспорядке, при полном расстройстве и временном отступлении, чего не может дать даже самая строгая дисциплина. Каждый призыв гунно — о приказании в строгом смысле слова не приходится говорить — встречал немедленное повиновение, так как всякий знал, что ему будут повиноваться все остальные. Характерной слабостью каждой недисциплинированной толпы воинов является паника, но германские сотни могли быть даже и при отступлении остановлены и снова двинуты в наступление по одному слову своего предводителя.

Из сущности старогерманской военной организации рождалась ее форма — четырехугольник (карре), тесно сплоченная масса, одинаково сильная со всех сторон, не только с фронта и тыла, но и с флангов. Карре являлось основным тактическим построением у германцев, как фаланга у греков и римлян. Г-н Дельбрюк думает, что обе формы не представляют безусловного противоречия друг другу; это не только правильно, но может быть распространено до положения, что фаланга есть то же карре, лишь на более высокой ступени своего исторического развития. В своей первой книге г. Дельбрюк не рассматривает вопроса о происхождении фаланги; это объясняется тем, что мы не имеем относительно этого никаких исторических данных. Но мимоходом он указывает на то, что она развилась из многих одиночных боев, что так же невероятно, как и высказываемое им мнение, будто германские родовые союзы возникли из отдельных семейств.

Стоит лишь посмотреть на разницу между фалангой и

карре, как ее излагает сам г. Дельбрюк, чтобы тотчас же признать, что развитие средств производства привело к развитию фаланги из карре. Преимущество тонкой фаланги перед глубоким карре состояло в том, что она могла ввести в бой гораздо больше бойцов и оружия. 10 000 человек в десятишеренговой фаланге имели в шеренге 1 000 человек, тогда как карре той же силы имело 100 человек в глубину и 100 человек по фронту. Таким образом, фаланга могла охватывать; если карре не пробивало ее немедленно, оно очень быстро могло быть окружено со всех сторон. Эта разница находит объяснение в том факте, что греки и римляне в то время, когда они появились в истории со своей фалангой, обладали уже развитой индустрией, облегчавшей им более широкое производство оружия; наоборот, у германцев как раз в этом отношении дело обстояло очень плохо в тот момент, когда они вступили в историю со своим карре; они принуждены были иметь узкий фронт, так как у них было лишь очень ограниченное количество хорошего вооружения, и они стремились восполнить этот недостаток тем, что делали возможно неотразимее первый массовый удар.

С другой стороны, развитие индустрии у греков и римлян разрушало примитивное первобытное единство, которым был пропитан весь быт германцев. Греко-римская фаланга могла считаться разбитой, как только она была разорвана. Германцы гораздо скорее могли потерять всякий внешний порядок, но они были способны беспорядочными группами и совершенно разрозненно наступать или отступать среди скал и лесов. Душа тактической части сохранялась неизменной; сохранялись внутренняя связь, взаимное доверие, умение действовать в подчинении инстинкту или призыву вождя. Германцы не только были пригодны для правильной битвы, но особенно годились для боя в строю, для нападения в лесу, для засад, притворных отступлений и вообще для малой войны всякого рода.

Вести малую войну на германской земле римляне не отваживались и даже не пытались. Завоевание суровой, негостеприимной страны привлекало их очень мало. Им надо было задушить германскую свободу лишь для того, чтобы защитить завоеванную Галлию от нападения германских варваров. Если бы римляне могли надеяться смирить дикий народ подавляющим количеством своих войск, то перед ними как самое большое затруднение встал бы вопрос о продовольствии, и притом в такой форме, которой не знал Цезарь при завоевании плодородной и богатой Галлии.

Прокормить большое войско в глубине Германии было очень трудно; страна с таким скудным земледелием могла дать очень мало, а продовольственным обозам приходилось проходить большие расстояния по проселочным дорогам; это требовало мощного аппарата, что было особенно затруднительно в такой стране, как тогдашняя Германия, где совершенно отсутствовали искусственные дороги.

И действительно, при первой же попытке продвинуться в глубь страны римский полководец Друз должен был вернуться обратно. Он создал себе двойную базу на водном пути. Прежде всего он провел из Рейна в Иссель канал, позволивший ему проникнуть через Цвидерское озеро прямо к берегам Северного моря, Fossa Drusina (Друзианский ров), существующий и до сих пор; затем он использовал как водный путь р. Липпе, впадающую в Рейн как раз напротив главной крепости римлян на нижнем Рейне, у лагеря Фетера (Биртен) при Ксантене.

Весной р. Липпе может быть использована как водный путь почти до самых своих верховьев; поднявшись по ней, Друз построил на том месте, где она становится уже несудоходной, небольшую крепость Ализо, служившую складом. Г-н Дельбрюк блестяще доказывает, что эта прославленная крепость ни в каком случае не могла быть средством для покорения и усмирения соседних народностей. «Германцы представляли собой нечто иное, чем хотя бы современные негры, которых можно держать в покорности на большом пространстве, посылая лишь небольшие экспедиции из укрепленного пункта». Но как склад Ализо имел свой смысл: если римское войско пользовалось водным путем для своего обслуживания, то этот водный путь нуждался в конечном пункте, где челны выгружали бы свой груз, а провиантские обозы препровождали бы его дальше в глубь страны. Если бы рожь и муку надо было везти не с Рейна, но нагружать за 150 километров по прямому измерению, ведение войны в средней Германии было бы совершенно немыслимым.

Способом же, указанным выше, завоевание Германии могло казаться возможным. Друз принудил береговые народности к признанию римского владычества, а после него Тиберий привел к покорности все племена до границ Эльбы, не прибегая к большим боям. Объяснения этого поразительного факта г. Дельбрюк ищет, по примеру Ранке, в том, что германцы бросились в объятия Друза и Тиберия из страха перед большим королевством, основанным в Богемии князем маркоманнов Марбодом, распространившим

уже свои владения за нижнюю Эльбу, так же как галлы из страха перед королевством Ариовиста бросились в объятия Цезаря. Римляне пришли как союзники, и их владычество было скорее кажущимся, чем действительным; лишь в течение короткого лета осмеливались римские войска держаться внутри страны; зимой они обыкновенно уходили на Рейн. Зимой снабжение даже водным путем становилось невозможным; плавание по Северному морю, Эмсу, Везеру или Эльбе, и летом требовавшее смелости, зимой совершенно прекращалось; самое большее, на что осмелился один раз Тиберий,— это на зимовку при Ализо.

Возможно, что господство римлян, являвшееся более видимостью, чем реальностью, казалось германцам более сносным по сравнению с завоевательными стремлениями Марбода. Во всяком случае, как только римский наместник Квинтилий Вар попытался превратить кажущееся господство в действительное, германцы не имели уже никаких сомнений и уничтожили его вместе с его войском, состоявшим из трех легионов и соответствующего количества вспомогательных войск, после ужасной трехдневной битвы в Тевтобургском лесу под предводительством князя херусков Арминия.

Относительно места битвы, как известно, очень много спорили, так же как и относительно местоположения Ализо, окончательное открытие которого часто всплывало на столбцах газет, как морская змея в ясные дни. Г-н Дельбрюк примыкает, в сущности, к старому архивному советнику Клостермейеру, известному в истории германской литературы в качестве тестя Граббе и учителя Фрейлиграта. Фрейлиграт в одном из последних своих произведений описал, как он ходил со старым господином «тевтобургствовать» на Гротенбург, где сейчас стоит памятник Арминию.

«Там ты подойдешь к Рейну, к месту, что зовут «утесом», где среди скал когда-то стоял лагерь Ализо.

Вынь бинокль и окинь взглядом местность. Ты увидишь прекрасный пейзаж. У обрыва в лесу Доренплюхт есть лощина, которая ведет к топи, она называется воротами. У этих ворот стоял Герман, когда избивал Вара. Лес мечей встретил здесь римский полководец».

Поэтому удачно выдвинуты здесь решающие моменты вопроса. Арминий (между прочим, это имя не имеет ничего общего с Германом; оно является римским именем князя херусков, бывшего в Риме и сделавшегося даже римским всадником; его германское имя неизвестно) по пути римлян к Рейну и прежде всего к Ализо запер Доренское ущелье,

глубокую седловину в Оснинге, через которую должен был пройти Вар, и измученные ежедневными битвами легионы разбились об этот железный засов.

Об этой битве мы не имеем никаких сообщений с германской стороны, сообщения же со стороны римлян далеко не исчерпывающие и не ясные; сообщение их, что германцы устроили ложное восстание удаленных народностей, чтобы вызвать римского полководца из лагеря, до сих пор понималось так, что Вар был завлечен в совершенно непроходимую чащу и попал в засаду, расставленную ему здесь германцами. Это объяснение г. Дельбрюк отстраняет как романтическое измышление, и, конечно, совершенно основательно. Завлечение в столь искусственную ловушку такого большого войска противоречит всем стратегическим возможностям.

Истинный ход событий вырисовывается из двух обстоятельств, о которых сообщалось настолько единодушно, что в их достоверности не приходится сомневаться. Во-первых, битва происходила осенью, и, во-вторых, Вар продвигался со всем своим обозом; оба эти обстоятельства не в малой степени содействовали его гибели, так как его продвижение очень затруднялось вследствие ненастной осенней погоды и обременительного обоза. Очевидно, это было обычное ежегодное возвращение римлян из глубины Германии к Рейну или же к Ализо. Обман Вара ложным восстанием имел своей целью не принудить его выступить в военный поход, так как Вар выступил бы в таком случае без обоза, что затруднило бы его поражение, а только создать предлог, который позволил бы германцам, не возбуждая подозрений, собрать свои силы и выступить вместе с ним в качестве союзников для подавления вымышленного восстания; это восстание, естественно, оказалось в местности, к которой Вар должен был приближаться при своем возвращении в Ализо. В действительности мнимые друзья напали на римлян, как только они вышли из лагеря, и до такой степени ослабили их, что Вар не смог взять штурмом Дёренское ущелье и нашел здесь свой печальный конец.

Где находился лагерь, из которого выступил Вар, из римских сообщений не видно, и принятые по стратегическо-тактическим соображениям предположения г. Дельбрюка, что он находился на Ганненкампе при Реме-Квинхаузене, не подтвердились. Раскопки, сделанные г. Дельбрюком на этом месте, показали, что римляне никогда не стояли здесь лагерем и что на Ганненкампе скорее всего была расположена какая-нибудь старогерманская деревня.

Летний лагерь Вара должен был находиться где-нибудь на Везере, тогда как Ализо, следы которого до сих пор еще не могут быть найдены, не считая имени Эльзен, должен был лежать где-нибудь на р. Липпе. Никакой другой исторической связи и никакого другого смысла нельзя вывести из сообщений римлян о битве в Тевтобургском лесу.

Римляне не в состоянии были отомстить тотчас же за свое ужасное поражение. Хотя Тиберий и поспешил к Рейну, но он должен был удовольствоваться лишь тем, что снова создал войско и укрепил границу. Как наследник императора Августа, имевший основание опасаться за свое престолонаследие, он не мог предпринять трудного похода в Германию, но должен был оставаться в Риме на случай, если Август умрет. Лишь после того как последний умер и Тиберий взошел на трон, Германик — родной сын Друза и приемный сын Тиберия — предпринял карательный поход с конечной целью подчинить все германские народы до самой Эльбы.

Об этом походе Германика рассказывает Тацит, но, в сущности, мы знаем о нем еще менее, чем о битве в Тевтобургском лесу, о которой передавали несравненно менее осведомленные историки. Как раз в военной области Тацит оказывается почти несостоятельным со своим риторическим методом, хотя он, несомненно, удачно характеризует сущность вещей метким указанием, что Арминий не был победителем в битвах, но был непобедим в войне. Это суждение еще более метко, если отнести к области басен две крупные победы, одержанные якобы Германиком над германцами, как это и делает г. Дельбрюк. Арминий избегал открытых сражений, не дававших ему никакой надежды победить римлян, обладавших несравненно большей численностью и неизмеримо лучшим оружием, но он парализовал римское войско партизанской войной, которую римляне не могли вести в этой непроходимой стране, вызывавшей чудовищные трудности снабжения, которые заставляли их возвращаться к Рейну.

Покорение германцев римлянами не было абсолютной невозможностью. Одна оборона никогда не может привести к окончательной победе. В конце концов та из борющихся сторон, которая не может отважиться на большие тактические решения, на сражения сосредоточенными силами, должна истощиться. К тому же среди германцев, так же как и среди галлов, начала образовываться римская партия, к которой принадлежали даже ближайшие родственники Арминия — не только его тесть, но и его родной

брат. Поэтому г. Дельбрюк думает, что окончательное решение надо искать во внутренних отношениях Римской империи, в чем он, несомненно, прав.

Ради собственной своей безопасности Тиберий не мог допустить, чтобы между Германиком и его легионами в течение многолетней войны образовались такие же взаимоотношения, как раньше между Цезарем и его легионами в Галлии. Битва в Тевтобургском лесу и три похода Германика показали, каким трудным делом является покорение этих упрямых сынов природы: их мог бы победить только полководец, пользующийся высоким авторитетом, громадными средствами и облеченный властью на многие годы.

Этого Тиберий не мог допустить. Он отозвал Германика, и германцы остались свободными.

6. СРЕДНИЕ ВЕКА

Показав лучшие свои стороны как историка, г. Дельбрюк немедленно показывает себя и со своей худшей стороны. Он не хочет признавать внутреннего разложения Римской мировой империи — ни хозяйственного, ни духовно-морального ее упадка; по его мнению, она оставалась полной расцвета сил и славы до III столетия, пока случайный естественный процесс — оскудение запасов благородного металла — не вызвал денежного кризиса, который в первую очередь привел в расстройство войско и тем самым открыл границы беззащитной империи для натиска германских народов.

При этом г. Дельбрюк указывает, что германское войско не могло достигать сотен тысяч, как исчислили его римские писатели. Хозяйственные отношения германцев были во времена переселения народов, в сущности, такими же, как и в дни Арминия: у германцев все еще не было городов; как и раньше, они были лишь слабо связаны с землей, занимаясь преимущественно охотой и скотоводством и лишь в незначительной степени земледелием. Так как количество средств потребления очень мало увеличивалось, то и масса населения не могла значительно возрасти.

Все это правильно, и вряд ли можно возразить что-нибудь, когда г. Дельбрюк делает вывод, что при определении численности каждого из странствовавших народных войск следует исходить из численности не свыше 15 000 воинов.

Народонаселение Римской империи в середине III столетия г. Дельбрюк исчисляет, наоборот, самое меньшее в 90 000 000 человек, но «оно вполне может быть принято

и за 150 000 000». Теперь он спрашивает: «Мыслимо ли, чтобы такая масса населения уступила напору орд варваров, из которых каждая достигала не более 5 000—15 000 человек? Я думаю, что если это было действительно так, то в истории не существует более важного происшествия. Поражение римского народа пытались объяснить падением его численности. Но это не так. Римская империя была полна людей и сильных рук, когда она все же пала под ударами совсем небольших варварских орд. Мировая история получает с этого времени освещение как относительно прошлого, так и будущего. Откуда же исходит этот свет? От неизмеримо большого превосходства регулярного войска над народным ополчением». Здесь поклонник немецкого милитаризма совсем ослепил историка, и этот аргумент звучит особенно странно в сочинении, начавшемся с описания блестящих побед греческого гражданского ополчения над персидским профессиональным войском.

В изложении истории военного искусства средних веков г. Дельбрюк снова становится на правильный путь, но мы не можем проследить здесь даже в общих чертах, как произошел описываемый им полный переворот в военном искусстве. Как военное сословие германцы осели в провинциях Римской империи, охватив ее тонким слоем, одев ее, если можно так выразиться, при чудовищном ее разложении, как бы новой кожей и создав, таким образом, новое римско-германское государство. В вассалитете, связанном с земельными наделами, в ленной системе они нашли, прежде всего во франкском государстве, форму для сохранения пригодного военного сословия. Воины были по преимуществу всадниками и приносили с собой необходимое продовольствие; вооружение каждого отдельного воина представляло собой большую тяжесть: по старофранкскому обычаю оно (шлем, панцырь, меч, копье, боевой конь) оценивалось стоимостью 45 коров или 15 кобылиц, т. е. стоимостью крупного рогатого скота целой деревни. К этому прибавлялись продовольствие, повозка с упряжкой или вьючное животное для перевозки продовольствия и слуга к этому животному.

Переход от старого народного ополчения во главе с королем как предводителем народа к ополчению из вассалов и их подвассалов с королем как верховным ленным владельцем происходил медленно, но безостановочно.

При Карле Великом народное ополчение существовало еще по государственному праву и по форме, но не факти-

чески; «крестьянские войска» Карла относятся к области басен; он никогда не выводил в поле крестьянских массовых войск, а выводил лишь небольшую квалифицированную армию. При его внуках народное ополчение окончательно отжило; военное дело целиком стало покоиться на вассалитете; лишь в ландштурме — в ополчении для защиты от вражеских нашествий — продолжала жить старая всеобщая воинская повинность.

Г-н Дельбрюк излагает это развитие и прогрессирующее феодализирование военного дела в весьма детальных и основательных исследованиях, подробное рассмотрение которых здесь завело бы нас слишком далеко. К тому же история средневекового военного искусства не представляет крупного интереса. Развитие феодального ленного государства полно войн и военной шумихи, но его военные возможности чрезвычайно малы, войска невелики по численности. В них отсутствует военная дисциплина. Рыцари — главный род войска — имеют так же мало общего с античной или современной кавалерией, как их пешие слуги — их вспомогательные войска — с античной или современной пехотой. Война ведется постоянно, но битвы, имеющие действительно историческое значение, как, например, битва на Лехфельде или битва при Гастингсе, очень редки. Даже прославленные войны Гогенштауфенов были простыми драками, о которых грешно говорить как о каком-нибудь проявлении военного искусства. В средние века не было, в сущности, ни тактики, ни стратегии; можно было бы говорить лишь с некоторыми оговорками о стратегии на истощение в самом тривиальном значении этого слова.

Тем не менее войны средневековья не следует считать менее жестокими по сравнению с войнами древности. Как раз наоборот. Они могли бы быть менее кровавы, так как войск было значительно меньше и, кроме того, рыцари из классовых интересов взаимно щадили жизнь друг друга, но тем ужаснее опустошалась, разорялась и уничтожалась масса населения. Вообще говоря, стратегия на истощение, несмотря на то, что она имеет вид более слабой формы ведения войны, на самом деле является несравненно более жестокой формой. Мы видели уже, насколько она истощила античную Грецию. Что же касается примеров новейшего времени, то стоит лишь сопоставить Тридцатилетнюю войну с наполеоновскими войнами. Тридцатилетняя война с ее стратегией на истощение стоила одной германской нации 16 000 000 человек, отбросив ее на столетие назад в ее развитии. Наполеоновские войны с их стратегией на уни-

чтожение не стоили всей Европе и 2 000 000 человек, вырвав вместе с тем половину Европы из феодального болота и осуществив, таким образом, мощный исторический прогресс.

Поэтому поклонники современного милитаризма совершенно правы, когда утверждают, что войну, проводимую быстрыми и сильными ударами, легче перенести, чем войну, тянущуюся без решительных столкновений; их глупость начинается тогда, когда они утверждают, что колоссальные вооружения на море и на суше, в которых сейчас соперничают все великие державы, являются вернейшими средствами стратегии на уничтожение. Они являются в гораздо большей степени вернейшими рычагами стратегии на истощение. При современном состоянии международных вооружений ни одна держава или коалиция держав не может рассчитывать на то, чтобы покорить другую державу или коалицию держав превосходством своих сил. Все они одинаково действуют в направлении взаимного истощения, конечно, средствами разрушения, которые в современном просвещенном мире могут достигнуть гораздо большего, чем Пелопоннесская война достигла по отношению к Греции или Тридцатилетняя война по отношению к Германии.

Возвращаясь снова к феодально-рыцарскому способу ведения войны, следует сказать, что его исчезновение является гораздо более поучительным, чем его существование. По общепринятому воззрению, он был вытеснен огнестрельным оружием, относительно чего существуют два различных мнения. Одни, и среди них весьма ученые профессора, воображают, что огнестрельное оружие было изобретено случайно и что оно уже само по себе изменило все лицо земного шара. Г-н Дюбуа-Реймон не только прославляет Берлинский университет как духовную гвардию Гогенцоллернов, но и порицает римлян за то, что они не изобрели кремневых ружей, при помощи которых так легко можно было бы обратить в бегство германских завоевателей. Здесь, конечно, благоразумные люди не спорят. Гораздо логичнее другое мнение, сводящееся к тому, что новый капиталистический способ производства создал в огнестрельном оружии средство для преодоления феодального способа производства, но и это мнение не совсем правильно. Прежде чем огнестрельное оружие выиграло первую битву, что случилось при Павии в 1525 г., феодально-рыцарский способ ведения войны потерпел уже поражение от новой народной пехоты, которая, не обладая огнестрельным оружием, побеждала рыцарское войско

даже тогда, когда последнее было снабжено огнестрельным оружием.

Эта пехота возникла от двух различных корней. Один из них, исторически сильно развившийся и даже переступивший за границы своего времени, уже предвосхищал грядущее, тогда как другой, исторически очень отсталый, достиг приблизительно той ступени, на которой тысячу лет назад стояли германские народности, и, как это ни странно, влияние как раз с первой, исторически прогрессивной стороны оказалось непрочным, тогда как с другой, исторически отсталой стороны оно оказалось гораздо более крепким.

Мы подразумеваем гуситов и швейцарцев, которые впервые сумели создать пехоту, заставившую отступить перед собой рыцарские войска. Военная сила гуситов сконцентрировалась в коммунистическом лагере Табор и погибла вместе с ним. Военная же сила швейцарцев сумела продать себя за хорошую цену интересам нарождающегося капитализма.

7. ШВЕЙЦАРЦЫ

Фридрих Энгельс охарактеризовал однажды в свои юные годы борьбу старых швейцарских кантонов[1] с габсбургской монархией, прославленную в сказании о Рютли и Телле, как битву ханжеского и грубого горного племени против цивилизации и прогресса. Это было в дни Швейцарской союзной войны (Sonderbundskrieg), когда старые кантоны выступили за иезуитов и тем навлекли на себя сильнейший гнев европейской демократии; поэтому ясно, что здесь говорил не столько Энгельс-исследователь, сколько Энгельс-борец.

Во всяком случае, этот взгляд ближе подходит к исторической правде, чем прекрасные сказания о благочестивом народе пастухов, который был вынужден бесчеловечной жестокостью габсбургских ландфогтов выступить за свои неотъемлемые права. То, что швейцарцы защищали от Габсбургов, на самом деле было историческим застоем, и, конечно, защищали они его на основании того же права, с каким низшая культура восстает против высшей культуры, с тем же правом, с каким германские народности защищались против легионов Вара. Сравнение это напрашивается само собой, так что даже Энгельс сделал его, сказав, что швейцарцы представляли собой «неподдельный образец той человеческой расы, которая когда-то избивала

[1] Старые кантоны Швейцарии: Швиц, Ури, Унтервальден. — *Ред.*

римлян в Тевтобургском лесу по-вестфальски — дубинами и цепами». Г-н Дельбрюк делает тот же вывод в следующих словах: «Способ ведения войны швейцарцами носил тот же разбойничий и насильнический характер, как когда-то у германцев». Сходство идет еще дальше: как германцы, несмотря на всю свою ненависть к римским угнетателям, массами поступали к ним на службу, так и швейцарцы шли на службу к буржуазной цивилизации, с той только разницей, что им никогда не удавалось разрушить эту цивилизацию.

Формой боя швейцарцев являлось то же карре, которое было в обычае у германских народов, и так же, как у последних, оно было тесно связано с общиной (маркой), которая сохранялась в Швейцарии во все времена. Никто не доказал этого яснее, чем наш старый товарищ Бюркли, которому мы обязаны глубочайшими историческими исследованиями о швейцарской военной организации и о первых швейцарских битвах против дома Габсбургов. Г-н Дельбрюк писал о Бюркли: «Я обратил на него внимание после его работы «Настоящий Винкельрид», появившейся в момент, когда мои «Персидские и бургундские войны» были в печати, и я разыскал его, когда в 1888 г. проезжал через Цюрих. Этот оригинальный старый господин рассказал мне, что в юности своей он отправился вместе с Виктором Консидераном в Техас, чтобы основать там идеальное коммунистическое государство; когда это, несмотря на богатые денежные средства, не удалось, он пережил много приключений на мексиканской военной службе, прежде чем вернулся на родину; здесь он в течение продолжительного времени проявлял себя в качестве социал-демократического политика, настолько беспокойного, что швейцарские ученые по этой причине, а также вследствие его еретических взглядов в вопросах отечественной военной истории не хотели иметь с ним никакого дела. Он обладал не только большой начитанностью, но также и природным даром исторической критики, а главное — поразительной силой проникновения в прошлые времена, особенно же в военно-исторические события. Временами его живая фантазия побуждала его рассказывать больше, чем это непосредственно вытекало из данного источника, но во всяком случае не то, что было невозможно само по себе или являлось бы психологически невероятным». Нам кажется, что эти строки в такой же степени с хорошей стороны рекомендуют того, кто их написал, как и того, к кому они относятся.

Все же очень характерно, что, принимая почти целиком блестяще развитые положения, которые Бюркли делает

относительно битвы под Моргартеном — первой победы, одержанной швейцарцами 15 ноября 1315 г. над рыцарским войском, — г. Дельбрюк все же делает некоторое ограничение, говоря: «Совершенно не прав Бюркли, полагая, что такая битва, как Моргартенская, является, так сказать, непосредственно делом народа». По мнению г. Дельбрюка, народ смог победить рыцарство лишь потому, что демократия имела руководителя. Этого руководителя г. Дельбрюк видит в Вернере Штауффахере, которого он так же превозносит, как унижает Клеона, предводителя афинской демократии. Из его суждений следует, что если бы такой человек, как Клеон, командовал под Моргартеном, дело было бы погублено; в Пелопоннесской же войне, наоборот, дело было бы выиграно, если бы во главе афинской демократии стоял такой человек, как Штауффахер.

Г-н Дельбрюк не говорит этого прямо, — мы даже не думаем, чтобы он полностью сознавал делаемый им вывод. Но его стремление во что бы то ни стало найти «предводителя» в битве при Моргартене, несмотря на то, что сообщения о битве не дают для этого ни малейшего основания, соответствует, быть может бессознательно, буржуазному почитанию «великих мужей», с инициативой которых будто бы связан исторический прогресс. В другом месте г. Дельбрюк присоединяется, к сожалению, с большой горячностью к положению Трейчке, что личности делают историю. Это положение — или абсурд, или тривиальность. Абсурд в том случае, если этим хотят сказать, что отдельные великие люди определяют исторический ход вещей по своему собственному желанию и при желаемых ими условиях; тривиальность, если этим хотят сказать, что люди делают свою историю при определенных исторических условиях. Трейчке понимает это положение в абсурдном смысле, так как он употребляет его в связи с тем, что Германия была спасена великим родом Гогенцоллернов после Тридцатилетней войны, и г. Дельбрюк также употребил бы его в абсурдном смысле, если бы он действительно стал утверждать, что Штауффахер привел швейцарцев к победе, а Клеон виновен в поражении афинской демократии. Если же, наоборот, он хочет этим сказать, что каждая демократия нуждалась в своих доверенных лицах для проведения ее объединенной воли, особенно же при военных действиях, где нельзя отказаться от единого руководства, то его полемика против Бюркли несостоятельна. Это само собой понятно, и говорить так по отношению к Бюркли он имеет тем менее оснований, что источ-

ники, как уже сказано, не называют никакого предводителя.

В битве при Земпахе играл якобы большую роль швейцарский герой Арнольд Винкельрид, хотя мы узнаем это не из сообщений современников, но из значительно позднейших хроник. Однако Бюркли так элегантно и основательно выпроводил из истории этого героя, что даже г. Дельбрюк признает критическое развенчание сказания о Винкельриде «истинно драгоценным плодом беспристрастного исследования» Бюркли. Однако он возражает против установленного Бюркли представления об этой битве в другом отношении. Земпахская война была вызвана ужасными разбойничьими набегами со стороны швейцарцев в габсбургские владения; герцог Леопольд, прекрасно помнивший, что случилось под Моргартеном с его дядюшкой, носившим то же имя, и обладавший несомненными военными знаниями, очень неохотно и лишь после больших приготовлений решился на борьбу с швейцарцами. Лишь после того как его попытки снискать своей уступчивостью сносный мир разбились о хищнические наклонности швейцарцев, он решился вкусить от этого горького плода.

Тем знаменательнее тот факт, что его рыцари дрались при Земпахе пешими, о чем в один голос говорят старые хронологи. Этим Леопольд заранее обрек себя на поражение. Все снаряжение, экипировка и тактика рыцарей были приноровлены к битве на коне, все основывалось на силе атаки, при которой сила тяжелого коня поддерживала силу удара копья. Рыцарское копье лишь постольку было оружием массового сражения, поскольку оно поддерживалось силой коня. Когда рыцарь участвовал в массовом бою пешим и потому в высшей степени был обременен своим вооружением, рыцарское копье имело значение лишь оборонительного и даже весьма неудовлетворительного оружия, так как оно направлялось лишь одной рукой. Поэтому пеший бой рыцарей применялся лишь в крайних случаях, когда местность не допускала конного боя или когда предводитель не вполне доверял рыцарям и заставлял их спешиться, чтобы они не уехали на своих конях. Но при Земпахе не было ни того, ни другого повода: битва происходила на гладком поле, и заботливо подобранное рыцарство было предано своему герцогу.

Бюркли разрешает эту загадку предположением, что швейцарцы внезапно напали на рыцарей. Битва произошла 9 июля 1386 г., в жаркий летний день, около полудня.

Рыцарское войско, двигавшееся с утра, сделало привал для обеда; их кони были разнузданы, и беззаботность их была тем более велика, что местонахождение главных швейцарских сил предполагалось около Цюриха, где швейцарцы до этого ожидали нападения герцога. Хронологи почти единогласно утверждают, что оба войска наткнулись друг на друга неожиданно для себя. Бюркли предполагает, что швейцарцы усиленным ночным маршем продвинулись от Цюриха, и он толкует сообщение хроники таким образом, что рыцарские лошади были «разнузданы».

Г-н Дельбрюк возражает против обоих этих предположений. Он указывает, что, во-первых, по цюрихским актам, швейцарцы покинули Цюрих самое позднее 7 июля и, таким образом, не нуждались ни в каком форсированном ночном марше, чтобы быть 9 июля у Земпаха, и что, во-вторых, слово хроники «ungezämpt» следует понимать не как «ungezäumt» («разнузданные»), но как «ungezähmt» — в смысле «неукротимые». Если даже он в этом прав, то он опровергает предположения Бюркли, как говорят на юридическом языке, «в побочном обстоятельстве». Вопрос, почему рыцари дрались при Земпахе спешившись, этим не разрешается. Когда же г. Дельбрюк считает не «невозможным», что герцог Леопольд заставил рыцарей спешиться, чтобы поднять мужество рядовых бойцов,— прием, который встречался тогда во Франции, — то такое объяснение кажется гораздо менее вероятным, чем объяснение Бюркли. Каковы бы ни были французские нравы, Леопольд именно потому, что он знал швейцарцев, собрал отборное рыцарство, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он в значительной степени обезоружил рыцарство для того, чтобы подкрепить мужество рядовых бойцов, т. е. пеших слуг, которые играли в рыцарском войске роль вспомогательного оружия и перед такой тактической частью, как швейцарская квадратная колонна, должны были разлететься, как мякина от ветра. Таким образом, при всех попытках объяснить пеший бой рыцарей при Земпахе предположение Бюркли является единственно приемлемым и возможным.

Битву при Моргартене можно еще назвать освободительной битвой, так как она должна была защитить независимость старых кантонов от габсбургского господства, хотя не силами благочестивого пастушеского народа, но силами опытных и искушенных в военном деле общин. Битва у Земпаха была только формально оборонительным сражением; фактически же герцог Леопольд защищал свои

владения от постоянных грабежей швейцарских соседей. Наконец, бургундские сражения (Грансон — 2 марта 1476 г., Муртен — 22 июня 1476 г. и Нанси — 5 января 1477 г.), поднявшие военную славу швейцарцев чрезвычайно высоко, хотя и являлись наступательными войнами швейцарцев, но велись швейцарцами даже не в собственных интересах, а на службе у французского короля.

Наемничество еще значительно ранее сделалось любимой профессией старых кантонов; следы его сохранились до последних времен Гогенштауфенов, т. е. до середины XIII столетия. Во время битвы при Земпахе оно, конечно, было в полном расцвете. Бернабо Висконти из Милана взял к себе на службу в 1370 г. 3 000 швейцарцев, проявивших себя в Италии жестокими насильниками и принудивших в 1373 г. папу к серьезному увещанию по адресу кантона Швиц. Между прочим, герцог Леопольд, погибший при Земпахе, был зятем этого Висконти и также знал швейцарцев с этой стороны. Дело приняло крупные размеры в то время, когда Людовик XI сразу купил все восемь кантонов, образовавших тогда союз (Швиц, Ури, Унтервальден, Люцерн, Цуг, Цюрих, Берн, Гларус), чтобы обратить их в качестве войск против Карла Смелого, герцога Бургундского. Попытка швейцарских историков представить дело так, как будто кантонам угрожала опасность со стороны Бургундии, совершенно не выдерживает критики. Самое большее — один кантон Берн имел некоторые интересы в том, чтобы Бургундия не укрепилась в Эльзасе и Шварцвальде, однако Берн заставил заплатить себе, так же как и семь остальных кантонов, которые вели войну как чистые наемники, без малейшей собственной заинтересованности.

Здесь мы стоим у конца средневековой военной истории, у большого поворотного пункта истории, который нигде не проявлялся с такой ясностью и очевидностью, как в этой торговле. При Карле Смелом рыцарство переживало свое последнее блестящее время. Оно было уже так ограничено и разложено, что искало новой опоры даже в огнестрельном оружии. Напротив, Людовик XI являлся первым монархом нового времени, национальным королем, подчинившим крупные вассальные государства внутри Франции, распространившим свое господство до Пиренеев, Альп и Юры, покровительствовавшим земледелию и горному делу, торговле и промышленности и, конечно, повысившим податные сборы с 2 000 000 до 4 000 000 франков. Для проведения своих централистских тенденций он нуждался в боеспособном войске и, с верным инстинктом поднимаю-

щейся исторической силы, нашел в швейцарских квадратных колоннах, с их строгой дисциплиной и тактической сплоченностью, в их несокрушимых массовых ударах то, что было нужно ему в борьбе против рыцарских войск. Он купил швейцарцев за наличные деньги, показав этим, что денежное хозяйство является настолько же предпосылкой современного военного дела, насколько натуральное хозяйство являлось предпосылкой средневекового военного дела.

Битвы при Грансоне и Муртене также освещены еще последним сиянием той трогательной поэзии, которая окружает битвы при Моргартене и при Земпахе, но исторически они представляют собой несравненно более важные по своему значению события. Они принадлежат уже не столько к швейцарской, сколько к европейской истории, и г. Дельбрюк не преувеличивает, рассматривая их как исходный пункт нового развития, подобно битвам под Марафоном и Саламином, с которыми они сходны еще тем, что швейцарцы имели склонность невероятно преувеличивать силы противника. Фактически во всех этих битвах они имели на своей стороне значительный численный перевес. Это видно из имеющихся военных списков бургундцев; на наличность же легендарных измышлений в обоих случаях г. Дельбрюк указал еще до своего большого сочинения о военном искусстве, в своей работе о персидских и бургундских войнах, где он сокращает миллионные числа Геродота. Бургундцы имели перевес лишь в огнестрельном оружии. Это не помешало, однако, их поражению и послужило доказательством того, что огнестрельное оружие не было ни первым, ни наиболее действительным средством превращения феодального общества в современное.

Вступлением швейцарцев в военную историю заканчивается третий том сочинения, о содержании которого мы старались здесь дать нашим читателям общее представление — представление, относительно которого мы должны настойчиво указать, что оно и отдаленно не исчерпывает богатого содержания этих книг. Многих и важных вопросов, которые рассматривает г. Дельбрюк, мы не коснулись даже бегло; мы довольствуемся главным образом тем, чтобы возбудить у наших читателей интерес к работе, бесспорно представляющей собой честный, серьезный труд научного исследования в той области, которая имеет для современного рабочего движения не только научный интерес.

В заключение мы можем еще заметить, что форма этого труда также очень удачна. Изложение ясно, язык свободен

от всех недостатков суконного профессорского жаргона, и научный материал, поскольку его нельзя было избежать, так удачно расположен в примечаниях к отдельным главам, что тот, кто хочет обойтись без него, легко может это сделать.

В конце концов можно лишь с живейшим интересом ожидать появления новых книг, которые должны осветить современную историю военного искусства.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭКСКУРСИИ[1]

Дать правильное представление о перипетиях настоящей войны гораздо труднее, чем это можно было делать о прежних войнах. Официальные сообщения с театра военных действий менее всего годятся для этого, да их и не приходится особенно порицать, так как они должны соответствовать текущим целям военного командования.

При этих условиях можно считать чистейшим дилетантством критический разбор развивающихся военных событий, держащих в настоящее время в величайшем напряжении бóльшую часть культурного человечества. Но если горячая потребность познания по отношению к этой войне и должна быть временно ограничена, то она может быть удовлетворена по крайней мере в отношении войны вообще, и это также является для нас неотложной задачей. К чему могло бы послужить даже самое точное знание мельчайших подробностей, если нет уменья подчинить их руководящей точке зрения и понять их в их внутренней зависимости? Вряд ли еще в какой-либо другой области знания царствует такой поверхностный дилетантизм, как в учении о войне, хотя военная наука, в известном смысле, самая несложная из всех наук. Клаузевиц, один из известнейших ее представителей, говорит по этому поводу: «Основные законы сами по себе очень просты, весьма доступны для здравого человеческого рассудка, и если они и покоятся — в тактике более, чем в стратегии — на известном знании, то это знание так невелико, что по своей сложности и размерам вряд ли может сравниться с каким-либо иным знанием. Здесь совсем не требуется большой учености и глубоких познаний и даже больших умственных способностей». Те же мысли выражены в форме острой эпиграммы, что самые прославленные маневры, ко-

[1] «Neue Zeit» за 1914/15 г., ч. I, стр. 341 и след.—*Ред.*

торые история считает образцом истинного гения, может изобразить на карте любой полковой писарь.

Что действительно важно в войне — это, по Клаузевицу, не основные законы, но уменье правильно проводить эти основные законы: «Все ведение войны похоже на действие сложной машины с громадной силой сопротивления, так что комбинации, которые легко набросать на бумаге, могут быть проведены в жизнь лишь с большими усилиями». Эти «большие усилия» и «чудовищную силу сопротивления в войне» известнейший военный историк нашего времени изобразил так: «По ровному полю очень легко пройти милю за 1½ часа. Если же стоять по шею в воде, то же самое передвижение может быть произведено лишь очень медленно и с усилиями, и лишь чрезвычайно сильный человек мог бы вообще пройти одну милю. Если же дно покрыто острыми камнями или тиной, а вода непрозрачна, то движение становится почти невозможным. Не меньшая разница существует между комбинациями и решениями за учебным столом и комбинациями на поле битвы или в палатке командующего».

Короче и ярче всего сущность этой мысли выразил Мольтке в своей излюбленной поговорке: «Сначала взвешивать, затем дерзать». Но уже Наполеон считал ценнейшим качеством генерала равновесие между смелостью и проницательностью, когда та и другая выражены в равной степени. Гнейзенау был великим полководцем, хотя, по свидетельству его друга Клаузевица, он не был «хорошим логиком». Наоборот, сам Клаузевиц как военный практик очень много вредил себе своим засвидетельствованным многими авторитетными мнениями пессимизмом, т. е. его «большие умственные способности» так быстро и ярко рисовали перед ним все возможные плохие последствия какого-либо смелого предприятия, что парализовали этим его решимость...

Из всего этого явствует, что сущность войны познается не из отдельных общих и в основе своей несложных правил, но из исторического хода вещей; последний же не укладывается в жесткие рамки теории, а порождает массу сложных явлений, из которых и познаются в своих основных чертах законы войны. Цитируя еще раз Клаузевица, мы видим, что он приводит исторические примеры не только для иллюстрации, но и для доказательства. Он пишет: «Исторические примеры делают все понятным и вместе с тем в области эмпирических наук обладают наибольшей доказательной силой. И больше, чем где-либо, это

проявляется в военном искусстве. Генерал Шарнгорст, лучше всех писавший о войне в своей записной книжке, считает «исторические примеры важнейшими в этой области и делает из них удивительнейшее употребление». Действительно, Шарнгорст ставит в своих военных сочинениях «исторические доказательства» на первое место, и «удивительнейшее употребление» их заключалось прежде всего в том, что он, доказывая упрямому королю целесообразность своих военных реформ, выдавал их за возвращение к средневековому наследию Гогенцоллернов.

Если сделать здесь некоторую экскурсию в военную историю, чтобы устранить ошибочные воззрения на войну, то будет целесообразно, и не только по условиям недостатка места, ограничиться лишь новейшей военной историей. Война есть неизбежное явление всякого классового общества, а потому сущность войны во многих основных чертах можно познать уже из древней истории греков и римлян, отчасти с большей трудностью вследствие пробелов исторического предания, отчасти с большей легкостью вследствие большей простоты исторических предпосылок и взаимоотношений. Однако классовое общество находится в потоке исторического развития, и капиталистический способ производства так основательно преобразовал его, что сравнительное рассмотрение сущности войны — плохо или хорошо, — но должно, поскольку оно имеет своей задачей служить настоящему, ограничиться периодом капитализма.

Этот период, можно считать, начинается с конца XV и начала XVI столетия, когда швейцарские кантоны образовали на службе у капитала современную пехоту и когда Макиавелли писал о военном искусстве.

I

Основную мысль Клаузевица, высказанную в сочинении, создавшем целую эпоху и написанном через сотни лет после смерти Макиавелли, итальянский политик выразил так: «Если ты сумеешь выиграть у врага решительную битву, то, значит, все другие ошибки, допущенные в ведении войны, незначительны; если же ты этого не можешь, то если бы даже в остальных областях войны ты действовал безукоризненно, ты никогда не доведешь войны до почетного конца. Ибо главная битва, выигранная тобой, уничтожает последствия всех ошибок, когда-либо тобой совершенных».

То, чего требует здесь Макиавелли, есть стратегия на уничтожение, которая непосредственно устраняет врага и

главную свою цель видит в уничтожении боем вражеского войска.

Однако войны XVI, XVII и XVIII столетий велись не по законам стратегии на уничтожение, но по законам стратегии на истощение; последняя же видит свою задачу в том, чтобы утомлять врага маневрами и избегать сражений, принимая или ища их лишь в случаях крайней необходимости или при чрезвычайно благоприятных условиях. Буржуазная наука видела поэтому в Макиавелли, требовавшем к тому же всеобщей воинской повинности, великого мыслителя, еще в начале XVI столетия познавшего ту истину, которую прочий глупый свет уразумел лишь в конце XVIII столетия. Макиавелли был, конечно, очень проницательным политиком, но не потому, что он видел вещи во мраке будущего, а потому, что видел их в свете действительности. Он писал под впечатлением длинного пути побед, по которому в его время шли швейцарские войска. Эти войска были народным ополчением со всеобщей воинской повинностью и применялись только в сражении на уничтожение. В мощных швейцарских колоннах он, подобно гуманистам, видел возрождение греческой и римской фаланги.

Капитал с самого своего возникновения охотно сокращал издержки производства; заимствуя свое духовное вооружение из древности, свое светское оружие он брал даже не из «античных установлений», как полагал Макиавелли, но из гораздо более раннего общественного порядка — из первобытного коммунизма. Подражать рыцарскому войску, а тем более превзойти его капитал не мог; это войско отжило вместе с феодальным строем, так как всякая военная организация всеми своими нитями связана с тем общественным строем, из которого она выросла.

От распадающихся рыцарских войск начала уже зарождаться пехота, превратить которую в боевое оружие и было задачей нарождающегося капитализма. Он облегчил себе эту требовавшую долгого времени задачу тем, что в соответствии с духом своего денежного хозяйства покупал нужное ему войско. В швейцарской квадратной колонне с ее строгой дисциплиной, с ее тактической сплоченностью и неотразимым массовым ударом была найдена пехота, доказавшая, что она далеко превосходит рыцарские войска.

В Швейцарии, именно в древних кантонах Швиц, Ури и Унтервальден, образовались общины с военной конституцией, в полной мере обладавшие основными военными качествами: мужеством и храбростью отдельных бойцов, их

дисциплиной и непоколебимой взаимной спайкой. Первые качества воспитывались жизнью среди суровой природы негостеприимных гор, вторые — общинным коммунистическим бытом; род и соседство, военное товарищество и земледельческое хозяйство были теснейшим образом связаны. Первобытные швейцарцы были воинственным горным племенем, которое не слишком строго относилось к грабежам и разбою. «Освободительные битвы», которые они предпринимали якобы для свержения австрийского господства, с точки зрения цивилизации весьма двусмысленны, и военную славу, которую они при этом приобретали, они охотно обменивали на золото.

Поскольку дело идет не только о легендарных преданиях, но об исторически вероятных сообщениях, швейцарцы имели лишь две «освободительные битвы», т. е. битвы, в которых они сражались, по крайней мере, за свои собственные интересы: битву при Моргартене (1315 г.) и битву при Земпахе (1386 г.); в первой сражались одни старые кантоны (Швиц, Ури, Унтервальден), во второй — кантоны с Люцерном, в обоих случаях против габсбургского рыцарского войска. Между этими битвами произошла битва при Лаупене (1339 г.), в которой кантоны участвовали как наемники в борьбе между Берном и Фрейбургом, совершенно их не касавшейся.

Когда в 1847 г. своей позорной политикой старые кантоны навлекли на себя гнев европейских революционных партий, молодой Энгельс в своей горячей статье назвал битвы при Моргартене и Земпахе «отчаянием грубых и ханжеских горных племен, упорно боровшихся против цивилизации и прогресса». Это суждение верно во всяком случае постольку, поскольку кантоны и после своей победы над австрийским рыцарским войском могли вести и вели лишь консервативную политику. Через несколько лет после битвы при Земпахе они заключили с Австрией мир, сначала на 7, потом на 20 и, наконец, на 50 лет; по этому миру Габсбурги временно отказывались от известных прав и областей, сохраняя, однако, за собой значительную часть Швейцарии. Хотя союз кантонов к тому времени несколько расширился вступлением пяти других кантонов (Люцерн, Цуг, Цюрих, Берн, Гларус), однако внешнее усиление Швейцарского союза сопровождалось известным внутренним его ослаблением.

Старые кантоны были слабо связаны между собой, так как в каждом из них проявлялся крестьянский партикуля-

ризм, но все же вследствие общности этих крестьянских интересов они оставались верны своей связи.

Вступлением городских кантонов, особенно влиятельного и богатого по тому времени Берна с его аристократической конституцией, в союз было внесено чреватое последствиями зерно разложения. Кантоны были равноправны, но Берн рассматривал старые кантоны как подчиненные ему, подобно тому как делали это когда-то могущественные Афины со своими союзниками; крестьяне же и пастухи старых кантонов были чересчур упрямы и не желали жертвовать своими интересами в пользу города Берна. Не способные сами ни к какой внешней политике, они были готовы продавать свою военную силу, однако со свойственной крестьянству практичностью, тому, кто больше за нее заплатит.

«Наемничество» («Reislaufen») начало практиковаться в старых кантонах уже давно. Молодежь, скучавшая в своих суровых горах, продавала себя чужеземным воевавшим державам, и даже перед Земпахской битвой старые кантоны находили удовольствие в том, что переводили на золото славу Моргартена. Первая сделка этого рода была заключена в 1373 г. с Висконти, герцогом Миланским. Кантоны поставили ему 3 000 наемников, которые так зверски хозяйничали в Италии, что папа Григорий XI сделал внушительные увещевания по этому поводу кантону Швиц.

Войдя в союз, городская аристократия Берна пыталась противодействовать этому наемничеству, стоявшему в резком противоречии с ее собственными интересами. В этом она имела некоторый успех, но, несомненно, скорее на бумаге, чем в действительности: она не могла помешать наемничеству даже внутри своего собственного кантона. В 1453 г., когда Карл VII французский хотел завербовать наемников в Швейцарии для своей войны с Англией, аристократия Берна провела на заседании сейма решение, что кантонные солдаты не должны сражаться для других стран, однако это решение имело так мало влияния, что уже в следующем году 3 000 бернцев продались герцогу Савойскому, а сейм в значительной степени подтвердил безрезультатность своего решения приказом, чтобы местные власти под страхом телесного и гражданского наказания запрещали наемничество.

Когда король Людовик XI, основоположник новой монархии во Франции, вступил в борьбу с крупными феодалами, особенно с могущественнейшим своим вассалом — герцогом

Бургундским, и попытался нанять швейцарских наемников, Швейцарский союзный совет издал в 1465 г. новое запрещение «наемничества». Оно опять оказалось безрезультатным и даже подвергалось насмешкам, в то время как наемники направлялись толпами не к французскому королю, а к герцогу Бургундскому. Поскольку они принадлежали к Бернскому кантону, то их при возвращении на родину принимали не особенно ласково. Бернский совет постановил, что непокорные наемники должны заплатить из своего жалованья по 3 гульдена на постройку церкви св. Винцента и отбыть по 8 дней в тюрьме. Тот же, кто не принес домой 3 гульденов, должен был оставаться под арестом на хлебе и воде, пока совету не заблагорассудится освободить его.

Через несколько лет, однако, Людовик смог купить не только швейцарские войска, но и все восемь кантонов. Габсбурги вступили в борьбу с герцогом Бургундским, которого они тщетно пытались вовлечь в союз против Швейцарии; они привлекли тогда швейцарцев против герцога Бургундского, предложив им взамен существовавшего до сих пор временного «вечный мир» — «ewige Richtung», т. е. окончательно отказавшись от владений и прав, потерянных ими раньше из-за военных неудач. Сделка совершилась при посредстве Людовика XI, рассыпавшего по кантонам французские деньги, чтобы вовлечь таким образом в борьбу со своим кровным врагом всех годных к войне швейцарцев. На этот раз сам Берн шел впереди кантонов, так как ему казалось, что укрепление бургундского господства в Эльзасе и Шварцвальде угрожало его владениям или по крайней мере их окрестностям. Остальные семь кантонов не имели ни малейшего политического повода к борьбе против герцога, бывшего старым другом союза; они просто продались французским и австрийским интересам.

Однако если они рассчитывали, как союзники немецкого императора и французского короля, на богатую и легкую добычу, то этот расчет оказался неверным. Император и король заключили мир с Бургундией, предоставив Швейцарский союз мести герцога. Карл Смелый, хорошо знавший, с кем он имеет дело, прекрасно вооружился и искусно построил свой план похода на расколе, образовавшемся между Берном и сельскими кантонами.

Он не смог выставить армию, равную по численности швейцарцам, но его войско состояло из квалифицированных бойцов и имело сильное преимущество в новом артиллерийском вооружении. Все же он был наголову разбит

швейцарцами при Грансоне и Муртене (1476 г.). Эта битва доказала, что час феодального рыцарского войска пробил и что будущность военной истории принадлежит современной пехоте.

II

Швейцарский союз до сих пор считался первым военным государством в Европе. Но и на нем оправдалось старое правило, что государства охраняются теми же средствами, с помощью которых они возникли. Вступив в Бургундскую войну как наемники чужеземной державы, члены Швейцарского союза так и остались наемниками, продававшими себя то одной, то другой стране, совершенно независимо от интересов собственной страны, а лишь считаясь с более выгодной и добросовестной оплатой; они продавали себя зачастую даже обеим враждующим сторонам, так что в бою им приходилось истреблять друг друга.

Неуклюжая форма их союза затрудняла всякую самостоятельную политику, а единственная попытка их в этом направлении разбилась о противоречия между Берном и другими кантонами. На этот раз инициаторами были старые кантоны; они стремились на юг, к сокровищам верхней Италии, тогда как политика Берна все время была направлена на запад. После ужасной битвы под Наваррой (1513 г.), самой крупной из битв, в которых участвовали швейцарские наемники, где они впервые бились в меньшинстве (до тех пор они были глубоко проникнуты истиной, что добрый бог всегда покровительствует большим батальонам), они сломили в союзе с папой и Карлом V, бывшим одновременно немецким кайзером и испанским королем, французское владычество над верхней Италией, приобретая такую силу в Ломбардии, что Максимилиан Сфорца, герцог Миланский, фактически стал их вассалом. Вследствие этого политика старых кантонов взяла было перевес, но затем, когда битва при Мариньяно (1515 г.) между швейцарскими и французскими войсками осталась нерешенной и даже, как это утверждали старые исследования, оказалась неблагоприятной для швейцарцев, Берн снова одержал верх на сейме. Под его влиянием Швейцарский союз заключил в 1516 г. «вечный мир» с Францией, продав ей Ломбардию. Лишь Тессин и Вельтлин остались у Швейцарии — первый навсегда, второй же до наполеоновских дней. Но это еще не все. Сейм продал Франции для борьбы против Карла V и папы 16 000 наемников,

тогда как кантон Цюрих с 2 000 наемников остался им верен.

При всем этом все же остается под большим сомнением, мог ли Швейцарский союз, хотя бы он и являлся крупнейшей военной силой своего времени, удержать господство над верхней Италией. Его население достигало самое большее 500 000, а суровая страна давала лишь очень скудное вознаграждение своим обитателям за их тяжелую работу. Для того чтобы держать под ружьем 4 или 5% своего населения, хотя бы и периодически, от всякой страны, находящейся даже в более благоприятных условиях, чем тогдашняя Швейцария, требовалось совершенно исключительное напряжение сил, прямо-таки немыслимое в течение продолжительного времени.

Этим, а вовсе не какими-нибудь теоретическими соображениями, от которых швейцарцы были, несомненно, очень далеки, и объясняется применявшаяся ими стратегия на уничтожение. Их поля и луга все же должны были непрерывно обрабатываться; мужчины, способные носить оружие, могли оставлять землю лишь на короткое время и были принуждены вследствие этого как можно скорее и основательнее сокращать ту кровавую работу, на которую они нанимались. Рассеять рыцарей и пеших слуг феодального войска могучим ударом своей квадратной колонны было еще недостаточно: надо было отнять у них возможность снова собраться. Верным средством для этого была только смерть. И швейцарцам строго запрещалось брать пленных; все, что попадало в их руки, уничтожалось. И поскольку они, как настоящие наемники, думали лишь о грабеже, то перед каждой битвой они должны были приносить клятву, что павших будут грабить не раньше, чем битва будет окончена. Захват пленных и грабежи не удерживали их от убийств. Когда в Бургундской войне мирный город Штеффис на Нейенбургском озере осмелился оказать слабое сопротивление швейцарцам, все жители его были перебиты. Гарнизон замка, взятого штурмом, был живьем сброшен с башен; мужчины, найденные спрятавшимися, были связаны одной веревкой и сброшены в озеро; затем городок был разграблен, так что женщинам и детям не осталось никакого имущества. Эта бесчеловечная жестокость встретила некоторое, правда слабое, порицание даже в самом Швейцарском союзе, но основные приемы этой войны от этого не изменились уже потому, что безумный ужас, внушаемый швейцарскими наемниками, был одной из ощутительных причин их непрерывных побед.

Из швейцарской стратегии на уничтожение Макиавелли и вывел свой принцип боя. Однако едва успел он высказаться в 1521 г. по поводу военного искусства, как битва при Бикокка (1522 г.) обнаружила глиняные ноги этой блестящей военщины. В этой битве швейцарцы потерпели свое первое решительное поражение, и это было таким поражением, которого не могла бы искупить новая победа. К ней подходят слова одного буржуазного историка: «Перемены в судьбах человечества обнаруживаются на полях сражений». Это положение правильно лишь в применении к классовому обществу вообще и капиталистическому в частности, но так как человечество в течение тысячелетий живет в классовом обществе, оно остается при всей своей резкой односторонности необычайно поучительным и для тех, кто объявляет войну войне. Ибо, чтобы успешно вести войну против войны, надо прежде всего знать, что такое война.

Уже из жалоб античных трагиков известно, какое разлагающее влияние оказывают деньги на патриархальное общество. Столь же разлагающе действовала эта сила и на военную мощь швейцарцев, вытекавшую из определенных естественных причин. Она уничтожила тот военный подход, который так блестяще оправдался при Моргартене или Земпахе, и породила безрассудную, безумную храбрость, готовую за плату на любой штурм, независимо от того, где и когда он производится. В дальнейшем она разрушила дисциплину, так как швейцарцы начинали бунтовать, если плата задерживалась или не выплачивалась, а это по тогдашним безденежным временам случалось довольно часто; если поход затягивался слишком долго, они просто разбегались из-под знамен; заботы о доме, о хозяйстве, о детях и жене, о родине, разумеется, напоминали им о себе. Наконец, споры о высшей и низшей оплате (существовали особо привилегированные наемники, получавшие двойную и даже в десять раз бо́льшую плату) вносили разлад в их собственные ряды.

Но не только упадок военной доблести швейцарцев, происходивший по вышеуказанным причинам, побуждал развивавшиеся государства того времени освободиться от швейцарских наемников. Крупные державы — Австрия, Франция, Испания — должны были подумать о том, чтобы создать собственные войска. Если швейцарцы продавались кому-нибудь — а своих покупателей они меняли по возможности ежегодно, — то другие не могли оставаться беззащитными. Таким образом появилась французская, немец-

кая, испанская пехота по образу и подобию швейцарцев, которые, чувствуя себя под всеми знаменами как дома, повсюду являлись учителями и, таким образом, сами рыли могилу своей военной монополии. Правда, вначале им не приходилось слишком бояться конкуренции; дело шло, конечно, еще не о национальном и даже не о постоянном войске, содержание которого требовало такого разветвленного административного аппарата, каким тогдашние, даже самые крупные государства еще в течение продолжительного времени не обладали. По существу это были такие же наемные войска, которые могли сделаться боеспособными и пригодными только через продолжительное время; они уже потому уступали швейцарцам, что естественная дисциплина последних делала излишней искусственную муштровку. Быстрее всех догоняли швейцарцев немецкие ландскнехты, уже по своему названию (солдаты страны) являвшиеся солдатами своей собственной страны, но это не мешало их склонности сражаться и под чужими знаменами.

Отсюда возникло еще одно противоречие: новая пехота, которую так легко было разбить и так трудно пополнить в случае потери, вначале не могла сравняться по силе удара с швейцарскими колоннами и вообще была не годна для стратегии на уничтожение. И здесь не теоретические взвешивания, но непосредственное давление исторического положения заставило всех главнокомандующих тогдашних государств отдать предпочтение стратегии на истощение; самое большее, если их симпатии к ней были несколько повышены преданиями из времен феодального рыцарского войска.

Эти изменения, указанные здесь лишь в самых общих чертах, легко и ясно проследить на примере битвы у Бикокка. В большой борьбе между Карлом V и Франциском I за обладание Ломбардией противостояли друг другу два войска. Войском Карла командовал его итальянский полководец Проспер Колонна. Оно состояло из 19 000 человек испанской пехоты под командованием испанца же Пескара и немецких ландскнехтов под командой Георга фон-Фрундсберга. Французское войско под командой маршала Лоутрека было несравненно сильнее: оно насчитывало 32 000 человек и состояло наполовину из французских, венецианских и других пехотинцев и наполовину из швейцарцев, делившихся по городским и сельским кантонам на две колонны; одна из них была под командой Альбрехта фон-Штейна из Берна, другая — Арнольда фон-Винкельрида из Унтервальдена.

И Колонна и Лоутрек вели войну по принципам стратегии на истощение. Французский маршал вызывал этим величайшее негодование швейцарцев. Уже в предшествовавшем году они целыми группами убегали от него, наскучив постоянными передвижениями взад и вперед. Но посредством большого денежного куша французскому королю удалось принудить Швейцарский союз дать ему и в 1522 г. еще 16 000 человек и вынудить от него запрещение для отдельных кантонов посылать людей к Карлу V. В январе 16 000 швейцарцев спустились с Альп и присоединились к армии Лоутрека. Тотчас же разгорелась старая распря; швейцарцы требовали опрокинуть врага сокрушительным ударом, в то время как Лоутрек — швейцарцы называли его Лаутердрек (настоящая дрянь) — хотел парализовать его медленной маневренной войной.

В конце апреля дело дошло до столкновения. Колонна и его 19 000 человек укрепились в охотничьем замке и парке Бикокка, расположенном в 1½ часах пути от Милана, по всем правилам искусства, со рвами, земляными валами, брустверами и траншеями, так что штурм казался если не совсем невозможным, то во всяком случае очень трудным и сомнительным. Лоутрек даже и не думал о нем, несмотря на ощутительное преимущество, которое ему давало его тридцатидвухтысячное войско; он хотел вытеснить врага с этой почти неприступной позиции маневрами. Но давно уже недовольные швейцарцы разразились настоящим мятежом; они угрожали немедленно вернуться домой, если Лоутрек не даст приказа к штурму, а французский маршал, по примеру прошлого года, знал, что эта угроза не пустой звук, особенно если учесть, что швейцарские наемники были в этом отношении вполне единодушны, так же как и их предводители — Альбрехт фон-Штейн и Арнольд фон-Винкельрид. Между этими последними не всегда царило полное единодушие вследствие давних споров Берна со старыми кантонами.

Арнольд фон-Винкельрид принимал выдающееся участие в попытке сельских кантонов превратить герцога Миланского в своего вассала, а Ломбардию — в подвластную им землю. Он отличился в Наваррской битве и выдвинулся тогда в начальники миланской лейб-гвардии. Во главе ее он искусно руководил битвой при Мариньяно, с исходом которой были тесно связаны виды старых кантонов на Миланское герцогство. Арнольд Винкельрид выдвинул после этого тяжкое обвинение против Альбрехта фон-Штейна, командовавшего бернскими войсками, в том, что он прежде-

временно оставил поле сражения и этим помешал одержать блестящую победу. Это обвинение имело, или казалось, что имело, вес, потому что Берн противился политике старых кантонов и после нерешенной битвы при Мариньяно действительно провел свою точку зрения в Швейцарском союзе. Но все же доказать свое обвинение Арнольд Винкельрид не смог, и после состоявшегося в 1517 г. суда в Стансе он должен был взять обратно свои обвинения и клятвенно заявить, что «Альбрехт фон-Штейн не был негодным дезертиром», а войска Берна «ушли из Пьемонта как честные и доблестные союзники и солдаты».

Под Бикокка оба полководца были единодушны; Альбрехт фон-Штейн, несмотря на свое дружелюбие к французам, также заявил маршалу: «Вы, как и в прошлом году, хотите упустить врага из наших рук, но мы этого не позволим». Лоутрек должен был уступить. Он наметил план битвы, который при правильном выполнении должен был иметь верный успех. Половина его войска — 16 000 швейцарцев — должна была удерживать врага на фронте, отвлекая его внимание на себя; тем временем другая половина — 16 000 французов и венецианцев — должна была обойти его с фланга и атаковать в более удобном месте; лишь после того как начнется здесь бой, швейцарцы должны были начать штурм.

Проведению этого плана помешали швейцарцы. За время мятежного настроения распри проникли и в их собственные ряды. При развертывании они кричали: «Вперед, дворяне, пенсионеры, денежные мешки! Пусть те, кто получает двойное жалованье, идут впереди, а не распоряжаются и не шумят в тылу». Находясь в таком возбужденном настроении под огнем вражеских укреплений, они не имели достаточно терпения, чтобы дождаться сигнала к нападению, который им должны были дать, как только обход вражеского фланга будет закончен. Они слишком рано бросились в атаку, перешли с тяжелыми потерями рвы и атаковали валы. Поднявшись на бруствер не сомкнутой колонной, но отдельными группами, они увидели перед собой густой лес копий немецких ландскнехтов, попав в то же время под сильный огонь испанских стрелков.

В этом отчаянном положении швейцарцы дрались храбро, как всегда. Идя во главе штурмующих, Винкельрид вызвал начальника ландскнехтов на единоборство: «Я найду тебя, старый коллега, ты умрешь от моей руки!» Фрундсберг, уверенный в своем успехе, не поддался этому нелепому предложению, и, чтобы разыскать его, Винкельрид бро-

сился в ряды ландскнехтов, где и нашел свой конец. В страшном смятении швейцарцы были сброшены во рвы; 3 000 убитых, не считая раненых, остались на поле сражения, и между ними Альбрехт фон-Штейн. Колонна при своей численной слабости не решился на преследование. Фрундсберг также охотно согласился с ним не принимать решительного сражения; он не хотел испортить неудачным преследованием первую победу немецких ландскнехтов над своими до сих пор недосягаемыми учителями. К тому же швейцарцев уже не приходилось бояться; рассчитывать на добычу они больше не могли: французская военная касса была пуста, и они отправились по домам. Лоутреку пришлось вернуться за Альпы, и кампания для французского короля была проиграна.

Если после битвы под Бикокка швейцарское наемничество и не закончилось — оно, как известно, продолжалось до XIX столетия, — то европейская военная слава швейцарцев значительно померкла. Самое главное было потеряно и не могло уже возвратиться; всем было ясно, что потеря битвы произошла не вследствие каких-либо неблагоприятных случайностей, которых так много приносит с собой переменчивое счастье войны, не вследствие чрезмерной храбрости или превышающей численности врага, но вследствие полного паралича того, что составляло непобедимую силу швейцарских отрядов,— дисциплины.

Тем удивительнее кажется с первого взгляда, что имя, с которым поражение при Бикокка было политически и морально связано еще больше, чем в военном отношении, окружается в швейцарских сказаниях героическим ореолом. Однако сказание о самоотверженной смерти Арнольда фон-Винкельрида, происшедшей будто бы в битве при Земпахе, за 136 лет до битвы при Бикокка, за свободу Швейцарского союза, мастерски разоблачено уже нашим старым партийным товарищем Бюркли; и выводы его не только подтверждаются, но и дополняются всеми произведенными с тех пор научными исследованиями относительно швейцарского военного дела.

Есть два рода исторических легенд, отличающихся друг от друга, как штукатурка от мрамора. Одни создаются искусственно, другие возникают естественным путем. Первые — бессмысленная ложь, вторые — неосознанная правда. Первые есть фальшивая игра под маской учености, вторые — истинное познание, нуждающееся лишь в ясном изложении. Первые легко разбить, но так же легко и слепить снова, вторые, однажды разбитые тяжелым молотом

знания, никогда не могут более восстановиться, но их осколки продолжают блестеть, как драгоценные камни.

Образчиком первого рода является сказание о том, что наша классическая литература вдохновлялась кабинетными войнами и наемными войсками старого Фрица. Эта штукатурка уже много раз сметалась со стен казарм и университетов, но заботливые руки снова и снова приклеивали ее, и она опять принимала прежний вид. Образец второго рода — легенда о Капуе; эта легенда, находясь в непримиримом противоречии с таблицей умножения, пережила уже 2 000 лет и все еще имеет значение поговорки. Рассказ, что Ганнибал был побежден во второй Пунической войне потому, что его ветераны слишком изнежились в Капуе, уже опровергнут цифровыми данными, доказавшими, что эти ветераны еще 12 лет удерживались в Италии после обратного завоевания Капуи римлянами. Но в бессмысленной форме эта легенда выражает здесь истинное и не поверхностно схваченное наблюдение, что единственная возможность победить Рим заключалась для Ганнибала не в блестящих победах, даже не в уничтожающих поражениях римских войск, как это было, например, при Каннах, но лишь в отторжении союзников от Рима, и что эта возможность была окончательно потеряна с обратным завоеванием римлянами Капуи. Хотя Ганнибал продержался в Италии еще 12 лет, легенда отметила, что решение произошло в Капуе, оставляя без объяснения тот факт, как он мог все же продержаться в Италии еще 12 лет.

Легенда о Винкельриде не штукатурка, а настоящий мрамор. Как ни самовольно обращается она с местом, временем и сопутствующими условиями, она констатирует, что в Винкельриде, боровшемся при Наварре и Мариньяно за самостоятельную политику Швейцарского союза, протестовавшем в битве при Бикокка и безумно бившемся, пока он не нашел смерти на копьях немецких ландскнехтов, выступивших впоследствии заместителями швейцарских наемников, олицетворялись счастье и конец швейцарского военного государства. Но объяснить его жизнь и существо со всеми их противоречиями легенда не сумела.

Она перенесла Винкельрида в Земпахскую битву, победа в которой была одержана одними старыми кантонами, видевшими в Винкельриде прежде всего своего героя.

III

Приблизительно около полустолетия, со времени битв под Грансоном и Муртеном (1476 г.) до битвы при Бикокка

(1522 г.), европейское военное дело находилось под гегемонией швейцарцев; с этого момента в течение приблизительно столетия оно было под гегемонией немецких ландскнехтов и испанской пехоты — победителей у Бикокка.

Они выиграли битву при Павии (1525 г.), решившую окончательно в пользу Карла V борьбу за Ломбардию в результате захвата в плен французского короля; они взяли штурмом Рим (1527 г.), подчинив папу власти императора; они решили битву при Мюльберге (1547 г.), разбившую Шмалькальденский союз, и предали в руки императора как государственных изменников вождей немецкого протестантизма — курфюрста Саксонского и ландграфа Гессенского, подняв этим императора на высоту его власти.

И те и другие были наемными войсками, но национальный цвет испанцев был более выдержан, чем у немцев, в соответствии с тем, что Испания, как первая из тогдашних держав, начинала в то время сплачиваться, между тем как немецкая империя неудержимо распадалась. В общем и целом испанская пехота сыграла наруку Карлу V, который, вероятно, никогда не был ни испанцем, ни немцем. Испанское войско создало новые строи, при которых швейцарская квадратная колонна была разделена на более мелкие — батальоны.

Это преобразование произошло под влиянием усовершенствованного огнестрельного оружия. Густые огромные колонны, особенно если они задерживались каким-нибудь местным препятствием, слишком сильно страдали от тяжелых орудий, в то время как растущее количество мушкетеров могло развертываться свободно в широких интервалах новых строев и под их защитой принимать более деятельное участие в сражении. Но мушкетеры все же стояли еще значительно позади пикинеров, которые, собственно, и образовывали боевой порядок; царицей оружия, как и раньше, считалась пика.

Немецкие ландскнехты, наоборот, гораздо упорнее придерживались системы трех эшелонов, применявшейся у швейцарцев — авангард, главные силы, арьергард, — а также наемничества и связанной с ним беспринципности. При Павии под императорским знаменем их было 15 000 человек, а во французском войске рядом со швейцарцами — 5 000 человек. В Римском походе апоплексический удар, вызванный бунтом ландскнехтов, закончил военную карьеру «отца ландскнехтов», победителя при Бикокка, Георга Фрундсберга. В Шмалькальденской войне Себастьян Шертлин, в то время известнейший после Фрундсберга предводи-

тель ландскнехтов, сражался на стороне протестантов, а ландскнехты, выигравшие императору битву при Мюльберге, были очень недовольны одержанной ими победой, очевидно потому, что было возмущено их религиозное чувство. В большинстве своем они, как известно, придерживались протестантской веры, тогда как испанцы были фанатичными католиками.

Это, конечно, не мешало испанцам временами брать за горлю святого отца. При ужасном разграблении Рима в 1527 г., одном из наиболее ужасных его опустошений, которое помнит история, испанцы своими многочисленными зверствами над женщинами и девушками возбудили негодование ландскнехтов. А у последних таких зверств тоже насчитывалось достаточно. «Мы взяли Рим штурмом, — сообщал Себастьян Шертлин, — умертвили свыше 6 тысяч человек; разграбили весь город; во всех церквах и где только можно забрали все, что нашли; сожгли большую часть города и едва ли пощадили хоть один дом. В Энгельсбурге мы нашли в узком зале папу и 12 кардиналов; мы взяли их в плен, они очень горевали, очень плакали; мы все разбогатели». Вместо папы ландскнехты провозгласили святым отцом Мартина Лютера — грубая шутка, бросившая, однако, луч света в царивший вокруг мрак.

О немецко-испанском войске, с которым Карл V победил при Мюльберге, дает весьма наглядное представление в своих воспоминаниях Бартоломей Застров из Грейфсвальда. Он находился при войске как посланник померанских герцогов, имевших некоторые грешки и не осмеливавшихся показаться перед разгневанным императором. Застров сопровождал императора от Галле до Аугсбурга, где должен был заседать рейхстаг. В его жизнеописаниях встречаются некоторые подробности, освещающие тогдашние военные порядки.

В Галле произошла горячая стычка между испанцами и немцами из-за испанского жеребца, украденного немцами. Немцы расположились лагерями «на прекрасном лугу, веселом местечке по реке Заале», испанцы — на возвышенности вокруг замка. У них был громадный перевес над немцами, находившимися почти под ними, но немцы храбро сопротивлялись. Они застрелили «испанского вельможу», которого прислал император, чтобы уладить спор; когда же император выслал посредником своего племянника, эрцгерцога Максимилиана, то и этот «испанский негодяй» был встречен диким криком и принужден был возвратиться, получив удар по правой руке. Наконец появился сам император: «Дорогие

немцы, я знаю, вы не виноваты, успокойтесь, я вознагражу вас за понесенные вами потери и завтра на ваших глазах повешу испанцев». Тогда немцы успокоились и удовлетворились лишь возмещением понесенных ими потерь, установив на следующий день, что с их стороны пало 18 человек, со стороны же испанцев — 70 человек.

Войско медленно продвигалось через Намбург, Кобург, Бамберг, Нюрнберг в Аугсбург. При этом испанцы «скверно хозяйничали». Вдоль всего пути, по которому проезжал император, лежало немало мертвых тел. Так же плохо обращались испанцы с женщинами и девушками, не щадя ни одной из них. Из Бамберга они вели с собой до Нюрнберга 400 женщин и, обесчестив, прогнали их. В настоящее время едва ли можно передать все ужасающие подробности их зверств. Но Застров повествует о них с большим хладнокровием. «Разве же это не шаловливая нация? После окончания войны, в дружеской стране, в присутствии его императорского величества, установившего очень строгий режим... Каждый вечер, раскинув свою палатку, он приказывал строить виселицу и заставлял ее изрядно увешивать... Однако это не помогало...»

Как только император прибыл в Аугсбург, он снова приказал поставить виселицу, для большего устрашения посредине города, как раз перед ратушей, а напротив ее — эшафот высотой в средний рост человека, на котором «колесовали, рубили головы, четвертовали и производили другую подобную же работу».

Но хотя император на «закованном в латах рейхстаге» и произвел суровую расправу над мятежными князьями, — набожных ландскнехтов он не мог ничем устрашить. В городе ко времени прибытия императора находилось уже десять отрядов ландскнехтов, которые не получали жалованья в течение нескольких месяцев и должны были получить его из штрафов, наложенных на побежденных князей и города. Когда жалованье не было получено и к тому же распространился слух, что будто бы герцог Альба проиграл штрафные суммы, они возмутились и окружили императорский дворец на винном рынке. «Когда ландскнехты достигли рынка, среди испанских солдат началось сильное смятение и бегство. Ландскнехты заняли все улицы, ведшие к рынку; все жители, особенно купцы, привезшие к рейхстагу дорогие товары, шелковые ткани, серебряные и золотые изделия, жемчуга и драгоценные камни, боялись, что город может быть разграблен, что, конечно, легко могло случиться, если бы ландскнехты вздумали сами искать свое жалованье».

То же беспокойство, очевидно, испытывал и император, так как он поспешил уступить мятежникам. Он послал к ландскнехтам и велел их спросить, чего они хотят. «Держа в левой руке ружья, а правой поднося к ним вплотную горящие фитили, стрелки отвечали: «Деньги или кровь!» На это император приказал им ответить, чтобы они успокоились и что на следующий день им будет заплачено полностью. Они не хотели уйти, пока им не будет обещано, что их не накажут за то, что они потревожили императора в его дворце. Император обещал, тогда они отошли и на следующий день были вознаграждены и отпущены». Однако это унижение перед лицом рейхстага, должно быть, сильно подействовало на нервы императора; он решил отомстить, но смог удовлетворить свою жажду мести далеко не по-императорски.

После того как отряды ландскнехтов разошлись, он отправил за их вождями «нескольких шпионов»; они замешивались в их среду и, сопровождая их в течение нескольких дней, следили, не ведутся ли непочтительные речи по адресу императорского величества, и если это случалось, призывали стражу и, захватив виновных, отправляли их обратно в Аугсбург. «Вечером на второй или на третий день ландскнехты устроили пирушку в гостинице; в их кошельках завелись деньги, и они считали себя теперь в полной безопасности, как у христа за пазухой. Не подозревая, что среди них находятся предатели, они вспоминали его императорское величество следующим образом: «Как же! Надо было позволить Карлу из Женевы нанять солдат и не платить им!» Они призывали на голову императора всевозможные несчастья и говорили: «Мы его хорошо проучили, и бог посрамил его!» За подобные речи они были схвачены, снова приведены в Аугсбург и повешены на виселице. Но немецкие ландскнехты через 5 лет после этого, под предводительством курфюрста Морица Саксонского, «Иуды из Мейсена», взяли реванш у императора и при этом в гораздо больших размерах, заставив его бежать через Бреннер».

Воспоминания Застрова приведены здесь несколько пространно, так как они бессознательно, а потому и особенно убедительно вскрывают те взаимоотношения, которые господствовали в европейской военной организации в XVI и в значительной части XVII столетия; причиной их является неспособность нового, возникшего на капиталистическом базисе государства, с одной стороны, существовать без вооруженной силы, а с другой — содержать постоянное войско. Могущественнейший владыка христианского мира,

одновременно немецкий император и испанский король, повелитель Нидерландов и австрийских коронных земель, Милана и Неаполя, обеих Индий с их сокровищами, владыка, в царстве которого действительно, по известному выражению, никогда не заходило солнце, должен был терпеть возмутительные злодеяния своей солдатчины, несмотря на стоявшие перед его палаткой виселицу и колесо, или должен был унижаться перед бандой ландскнехтов, не имея возможности отомстить им иначе, как коварной хитростью.

Причину этого надо искать в том, что новое государство только что вылупилось из феодального общества и в продолжение долгого времени не имело ни сил, ни уменья создать соответствующий финансовый и административный аппарат, без которого было невозможно существование постоянного войска.

IV

Между тем военные силы возникавшего капитализма росли из дикого корня. Распадение феодального общества выбило все классы из того социального порядка, в котором они жили в течение столетий: мелкое дворянство, цеховое бюргерство, крестьян и наемных служащих. Во всех культурных странах количество бродяг и вообще деклассированного элемента никогда не было так велико, как в первой половине XVI столетия; по крайней мере часть из них была всегда готова к военной службе, и ни в коем случае не худшая часть. Военные люди имели свой цеховой порядок. Они образовывали вполне уважаемое и по тогдашнему времени неплохо оплачиваемое ремесленное сословие. Большое количество сыновей обедневшего дворянства снискивали себе пропитание в качестве простых солдат, что считалось вполне совместимым с их званием. Если бы этот факт не был уже хорошо доказан, то его можно было бы установить еще и теперь из того презрительного и враждебного тона, который свойственен многим песням ландскнехтов о крестьянах.

Однако военное ремесло переняло от средневекового цеха лишь свои формы; в действительности же оно с самого начала покоилось на капиталистической основе. В нем осуществился так горько осмеянный Лассалем идеал ничем не стесняемой свободы торговли, предоставлявший все преимущества тому, кто мог дороже заплатить. Существовало два основных метода: или военные командиры сами, независимо от какого-либо государства, содержали собственные военные отряды, с которыми они нанимались на службу то

к одному, то к другому государству, вынужденному прибегать к оружию, или же правительства поручали своего рода военным подрядчикам навербовать для них отряды за определенную сумму, которая обычно уплачивалась вперед. В обоих случаях навербованные наемники правительства, платившего деньги, должны были принести ему присягу в верности, но ясно также, что в обоих случаях фактическая власть находилась гораздо больше в руках военного начальника, чем в руках государственных органов.

Уже отсюда возникала чрезвычайная неустойчивость взаимоотношений, которая не могла не влиять парализующим образом на военные действия. Но эти более или менее крупные предводители банд и тогда уже были омыты всеми водами капитализма. Они с одинаковой добросовестностью надували как правительства, так и своих наемных солдат: первых — тем, что подделывали списки и заставляли платить жалованье за гораздо большее количество солдат, чем их было в действительности, вторых — тем, что всеми правдами и неправдами сбавляли и задерживали условную плату; это в значительной степени облегчалось для них тем обстоятельством, что при постоянных финансовых затруднениях тогдашних правительств жалованье солдатам выплачивалось довольно нерегулярно, а часто и совсем задерживалось. Таким образом, этим полководцам постоянно приходилось бороться с недоверием сверху и мятежами снизу, что не мешало им как капиталистическим предпринимателям делать блестящие дела, но что, однако, делало всю эту военную организацию весьма сомнительной в военном отношении. Преступность проникла во все должностные инстанции. Полковники держали себя с генералами так же, как генералы с монархами, капитаны с полковниками так же, как полковники с генералами, и т. д.

Войско испанской мировой монархии так и не смогло выйти из состояния кондотьерства,— употребляем это своеобразное, в своей исторической окраске трудно переводимое иностранное слово,— ни под управлением Карла V, ни во времена его сына, Филиппа II. Мрачное недоверие этого деспота тяготело даже и над теми генералами, которые оказывали ему неоценимые услуги, как, например, Александр Фарнезе, герцог Пармский и собственный сводный брат Филиппа, дон-Жуан Австрийский; доверенного Жуана, Эскобедо, король приказал умертвить, Фарнезе же и Жуан избежали участи Валленштейна, вероятно, лишь потому, что успели умереть во-время естественной смертью. Альба также не был пощажен недоверием короля.

V

Важнейшая, с точки зрения исторического развития, война второй половины XVI столетия возникла из-за отпадения Нидерландов от испанского владычества. И если могущественной Испании в течение восьмидесятилетней борьбы не удалось все же вернуть под свое ярмо маленькую Голландию, то глубочайшие причины этого победоносного сопротивления нидерландских повстанцев скрывались в условиях экономического развития этой страны. Голландский купец победил испанского дворянина и попа, так как его главным и решительным орудием была та самая промышленность, которая так грубо разрушалась в Испании и так заботливо культивировалась в Голландии.

Буржуазный торговый капитал понимал безумие капиталистического абсолютизма, полагавшего, что если господствующие классы располагают сокровищами других стран света, то производство собственной нации может быть уничтожено.

При всех своих аппетитах к испанским колониям голландские купцы прежде всего поддерживали отечественную промышленность — шерстяные фабрики в Лейдене, полотняные в Гарлеме, многочисленные предприятия, необходимые для постройки кораблей, и не менее многочисленные предприятия, которые были нужны для переработки заморского сырья: табачные фабрики, москательные фабрики, сахарные заводы, гранильни алмазов. Интеллигентные и прилежные рабочие, которых капиталистический абсолютизм изгонял из других стран, находили в Голландии радушный прием. Каждый уголок страны жужжал, как пчельник. Что мог поделать Голиаф против этого Давида, когда даже во время ожесточеннейшей борьбы на жизнь и смерть нельзя было закрыть испанские гавани для голландских кораблей? Уничтожив испанскую промышленность, Филипп II должен был покупать каждый крючок, каждый канат, каждый гвоздь у своих смертельных врагов, которые умели назначать хорошие цены.

Голландцы были кальвинистами; кальвинизм, родившийся в Женеве, соответствовал идеологическим потребностям буржуазного торгового капитала. Поэтому вполне понятно, что испанские иезуиты того времени говорили: «Ересь окрыляет торговый дух», не давая, однако, этими словами блестящего доказательства своей прославленной мудрости.

Но что можно сказать, когда новейший историк военного искусства в своем далеко не плохом сочинении, о котором мы будем еще говорить, объясняет силу военного

сопротивления нидерландских повстанцев «лишь во вторую очередь благоприятными внешними условиями, в первую же — внутренними силами реформации».

Таким образом, возраставшая хозяйственная сила Голландии проистекла будто бы косвенным образом из религиозной догмы, из освещения буржуазной, особенно же торговой деятельности протестантизмом, из вновь рожденной нравственной идеи с ее трансцендентальным могуществом. Косвенным образом? О, да! Насколько это верно — знает, возможно, бог, а может быть, и сам чорт! Но сами голландские кальвинисты хорошо знали, откуда непосредственно вытекало «несравненное благосостояние Нидерландов», повторяя в своих утренних и вечерних молитвах крылатые слова: «Торговля должна быть свободной, хотя бы и в самом аду; если господин сатана будет платить хорошие деньги, то ему надо хорошо служить».

В действительности «хорошие деньги» и решили войну между Испанией и Голландией. Когда герцог Альба в 1567 г. отправился в Нидерланды для подавления восстания, его войско, достигавшее для того времени очень большой численности — 20 000 бойцов, состояло главным образом из испанцев и затем уже из итальянских, валлонских и немецких наемников. С противоположной стороны выступали также наемники, но в весьма пестром смешении — немцы, англичане, шотландцы и французы; здесь не было такого крепкого ядра, которое давали войску Альбы национальные испанские отряды с их фанатичной ненавистью к еретикам. Военное превосходство было на стороне испанцев.

Так или иначе, голландцам очень благоприятствовало то, что они имели сильные оборонительные средства в своих обнесенных стенами городах, в самой природе страны с ее многочисленными плотинами и шлюзами, которые при искусственном затоплении в высшей степени затрудняли осаду городов, наконец, в «гезах» («geuse») — народной милиции. Однако сопротивление опять-таки парализовалось тем, что, в то время как гезы рекрутировались из низших классов населения (уже само слово «гез» означает нищий), голландские купцы гораздо более склонялись к миру с испанцами, и богатые города, как, например, Амстердам, в течение ряда лет медлили отложиться от испанцев. Если принять еще во внимание, что Испания представляла собой могучую монархию, а генеральные штаты семи восставших провинций были связаны весьма несовершенной федеративной конституцией, наподобие швейцарских кантонов, то

военный перевес окажется, несомненно, на стороне испанцев.

И если после длительной борьбы чаша весов склонилась все же на сторону Нидерландов, то это во всяком случае не было результатом трансцендентального могущества новых нравственных идей, но следствием весьма прозаического факта, что генеральные штаты могли платить жалованье своим наемникам аккуратно. Испанская же монархия не могла этого делать. Испанское войско было совершенно расшатано, даже в своем национальном испанском ядре, продажностью военных начальников и мятежами среди солдат. «Испанские зверства» («Furia espagnole») превратились в пословицу. Что под этим подразумевалось, видно из следующего факта. 4 ноября 1576 г. ужаснейшим образом был разграблен Антверпен — самый оживленный, богатый торговый город христианского мира, затмивший даже славу Генуи и Венеции, о котором было сказано: мир — кольцо, и Антверпен — бриллиант в нем. Он был разграблен наемниками испанского войска, так как им не было уплачено их жалованье; ратуша и 600 буржуазных домов были сожжены; свыше 10 000 жителей были убиты и сброшены в воду.

Сначала в войсках генеральных штатов дело обстояло не лучше, так как им недоставало национального ядра, а также единого руководства. Предводителями войск были принцы Оранские, наместники восставших провинций, но они находились в непосредственном подчинении у купеческого правительства, с надменным презрением торгашей смотревшего на этих бедняков, принужденных продавать свою жизнь. Члены генеральных штатов сидели как депутаты в главной квартире; в крепостях бургомистры стояли выше военных комендантов; в довершение всего наместники командовали лишь теми войсками, которые оплачивала их провинция. С большим трудом удалось добиться того, что один принц Оранский сделался главнокомандующим всего войска, но собранное с трудом войско ускользало из его рук, так как плата ему не поступала во-время.

Но если беда не излечила финансового банкротства испанской монархии, то она все же научила кое-чему купеческую скаредность генеральных штатов. Принцы Оранские создали наконец под собой твердую почву пунктуальной выплатой жалованья солдатам, и то нетвердое положение, которое они занимали в бесформенном государственном организме Нидерландов, заставило их, в интересах их собственной династии, создать годное для войны войско. Их

духовный кругозор соответствовал не испанскому иезуитизму, но начавшему в то время расцветать буржуазному просвещению. Гуго Гроций и Барух Спиноза были их соотечественниками. Известно, что внимание Морица Оранского на античное военное искусство было обращено профессором филологии Лейденского университета, а Вильгельм-Людвиг Оранский совместно с известным историком выяснял на оловянных солдатиках, почему тонкие строи древних римлян имели преимущества над глубокими колоннами македонской фаланги. Тем и другим принцы Оранские могли воспользоваться при своей военной реформе. Но, конечно, не следует думать, что чисто теоретические соображения могут изменить организацию войска, если к этому нет реальных предпосылок.

В данном случае эти предпосылки были созданы правильной и аккуратной выплатой жалованья, обеспечившей принцам Оранским гораздо более ценный солдатский материал, чем тот, который имелся у их противников.

Если раньше усовершенствование огнестрельного оружия принудило испанцев разбить старые боевые колонны швейцарцев на более мелкие тактические единицы, то все более возрастающее усовершенствование огнестрельного оружия, все более и более увеличивающееся количество мушкетеров заставило уменьшить испанские колонны пикинеров, образовав вместо немногих глубоких колонн большое количество широких. Таким образом, вместо нескольких больших колонн в 50 человек глубиной образовался боевой порядок из рот глубиной лишь в 10 человек. Благодаря этому большее число пик могло принять участие в ударе, и было создано больше интервалов, в которых могли бы развертываться мушкетеры.

Большая опасность, вызывавшаяся этим бесспорным прогрессом, состояла в том, что тонкий боевой порядок легко мог быть прорван сильным ударом глубокой колонны. Этой опасности принцы Оранские старались избежать тем, что очень заботливо обучали как солдат, так и офицеров. Они изобрели то, что мы называем теперь муштровкой: прилежное, постоянное обучение солдат, беспрекословное повиновение, которое даже в ужасах битвы заставляет так же автоматически подчиняться приказаниям офицеров, как и на полковом плацу.

Такой муштровки можно достигнуть лишь в том случае, если солдаты аккуратно получают свое жалованье и привязаны к своему знамени. Тот же самый историк, который приписывает силу военного сопротивления нидерландцев

трансцендентальному могуществу новых нравственных идей, спрашивает с полным правом: «Могли ли они бросить щедрого и платежеспособного хозяина и пойти на службу к обанкротившимся испанским гидальго?» Военные реформы принцев Оранских не были самостоятельным измышлением их гениальных голов, но они лежали на том пути, на который впервые вступила Испания и с которого она должна была сойти, свалившись в пропасть финансового краха.

Большая подвижность многочисленных тактических единиц, на которые распадалось нидерландское войско, предъявляла более высокие требования не только к солдатам, но и особенно к офицерам. Для обучения солдат требовалось несравненно большее количество труда, а для руководства битвой требовалась несравненно большая степень образования. Из этой необходимости возник офицерский корпус, носивший на себе национальный отпечаток и состоявший на государственной службе.

Эти военные реформы превратили Нидерланды на рубеже XVI и XVII столетий в высшую школу военного искусства. Но военным государством они не сделались. Центр тяжести их могущества лежал на море, и чем более принимали Нидерланды характер первоклассной морской державы, тем менее могли они думать о том, чтобы стать первоклассной сухопутной державой. Целый ряд других причин, о которых здесь не приходится распространяться, действовал в том же направлении. Поэтому не могло случиться, чтобы Нидерландское восстание ввело в практику остальной Европы новое военное искусство хотя бы в той степени, как это сделала через два века Французская революция. Голландская военная реформа осталась теоретическим образцом, который европейские военные ревностно изучают, но мы должны сказать здесь еще раз: чистая теория может очень немного дать войне, если при этом отсутствуют фактические предпосылки, при которых она осуществляется.

Это больше всего относится к Германии, с которой Нидерланды были тогда связаны теснее, чем в настоящее время. Один из принцев Оранских, правда, основал в Зигине в 1607 г. «военную и рыцарскую школу», чтобы пересадить в Германию нидерландскую военную организацию. Но из этого получилось очень мало, вернее — даже ничего. Немецкие ландскнехты были еще более развращены, чем испанская пехота, с которой они так часто делили битвы и победы в первую половину XVI столетия. В то время как испанская пехота все еще вела мировые войны, немецкие ландскнехты, с того времени как Мориц Саксонский помог

княжескому господству восторжествовать над императорской властью, унизились до целого ряда жалких, мелочных сделок, в которых они продавали себя направо и налево. В поджогах Альбрехта Бранденбургского, в Грундбахской распре, в Кельнской резне, в июльских событиях и т. п. немецкие ландскнехты показали себя неорганизованной бандой, потерявшей последние следы национальной окраски.

Изменить это не могла ни высшая, ни низшая школа, но лишь такая катастрофа, какой была Тридцатилетняя война.

VI

Буржуазным историкам снова вздумалось отрицать, что Тридцатилетняя война была для Германии ужасной катастрофой. Правда, они признают, что убийства, грабежи, разбой, зверства и разорения достигли в этой войне колоссальных размеров, но для народа численностью в 20 000 000 человек это якобы означает не слишком много; поэтические описания, которые мы встречаем в «Симплициссимусе», нельзя считать исторической правдой, так как чудовищная ненависть последователей разных религий охотно сваливала на Тилли и на Густава-Адольфа все преступления. Фактически Тридцатилетняя война будто бы не только разрушила старые ценности, но и создала новые. Громадные денежные субсидии прибыли из Франции, Голландии, Англии, Испании и от папы в Германию; французское золото ввозилось в Германию в винных бочках. Война не столько уничтожила существовавшие экономические ценности, сколько отодвинула возможность пользоваться ими.

Первое положение в известном смысле правильно и верно как раз в настоящий момент. Мы видим каждый день, какую поразительную власть имеет война над человеческой фантазией, и если даже при нынешней всесторонней осведомленности беспрестанно возникают слухи о мнимых военных зверствах, несмотря на неоднократные опровержения осведомленных лиц, то легко можно допустить, что в тех рассказах, которые дошли до нас от современников об ужасах Тридцатилетней войны, могут быть сильные преувеличения. Но это совершенно не касается того вопроса, о котором мы хотим говорить здесь, так как если бы даже в Тридцатилетней войне не происходило никаких особенных зверств и война велась во всех отношениях так, как этого требовали тогдашние воззрения, то все равно она была бы ужасающей катастрофой для немецкой нации, и об этом больше всего свидетельствуют указания на бочки, полные золота.

Эти указания не особенно импонировали и самим современникам Тридцатилетней войны, которые уже в течение многих лет могли наблюдать, как нищала испанская нация, несмотря на то, что к ней прибывали не только целые бочки, но целые флоты благородного металла и драгоценностей из обеих Индий. Историки, оспаривающие катастрофическое значение для Германии Тридцатилетней войны, еще не поняли того, что богатство нации заключается не в деньгах, но в труде. Можно согласиться, что великие нации быстро преодолевают даже очень сильные потрясения своего производственного процесса, вызванные войной, как, например, Франция после войны 1870—1871 гг. Однако тогда дело шло лишь о коротких сроках. Если же в течение целого человеческого поколения из года в год у какой-нибудь нации уничтожается всякий новый росток того, что мы называем, по современному выражению, воспроизводством общественного капитала, то следствием этого, не только по Адаму Смиту, но и по Адаму Ризе, может быть лишь чудовищное обеднение нации. А так именно было, по всем историческим свидетельствам, в Тридцатилетнюю войну, не говоря уже о всевозможных поэтических измышлениях.

Если мы будем придерживаться прежде всего финансовой точки зрения, то сначала у всех воюющих сторон дело обстояло в этом отношении очень плохо. Война разразилась в 1618 г., когда богемские сословия отложились от дома Габсбургов и выбрали богемским королем курфюрста Пфальцского. Его поддерживала уния, в которой объединились протестантские князья, в то время как католические князья, объединившись во главе с курфюрстом Максимилианом Баварским в лигу, поддерживали императора. У богемских сословий не было ни денег, ни кредита. То же самое ощущалось и у их вновь испеченного короля, которому ничем не могли помочь его протестантские союзники. Зимой 1619/20 г. половина богемского войска замерзла, разбежалась и погибла от голода вследствие недостатка денег и снабжения.

У габсбургского императора дело обстояло так же плохо, за исключением разве того, что он мог утешаться надеждами на испанские субсидии. Курфюрст Саксонский, богатейший из владетелей Германии, не мог уже в декабре 1619 г., когда он только что набрал 1 500 человек, регулярно уплачивать им жалованье. Даже после введения военных налогов государственные сословия очень неохотно шли на помощь, а того, что они давали, везде было недостаточно. Заключать займы было трудно уже в первый год

войны. В 1621 г. Саксония тщетно пыталась занять 50 000—60 000 гульденов (гульден равен приблизительно 4 маркам на наши деньги) у банкирского дома Фуггеров. Лишь курфюрсту Максу Баварскому и лиге удалось устроить большой заем в 1 200 000 гульденов (т. е. около 5 000 000 марок на нынешние деньги) у генуэзских купцов по 12%; за него должны были поручиться Фуггеры, которые выговорили себе за это право на соляную торговлю в Аугсбурге. Макс и лига смогли поэтому раньше выставить боеспособную армию. Они взяли к себе на службу валлонского наемного генерала Тилли, который 8 ноября 1620 г. без большого труда обратил в бегство у Белой Горы голодающие и бунтовавшие войска богемских сословий. Таким образом, царствование курфюрста Пфальцского в Богемии оказалось очень непродолжительным. Он не мог даже удержать своих родовых земель и должен был бежать за границу.

При этом всеобщем банкротстве воюющих правительств содержание больших армий было вообще невозможно. Оно стоило тогда несравненно дороже, чем теперь, прежде всего потому, что ландскнехты научились за время продолжительной практики вздувать цены на вербовочном рынке. Пехотинец стоил на наши деньги ежегодно 1 200 марок. Следовательно, полк в 3 000 человек стоил ежегодно 3 600 000 марок, не считая других военных расходов и высокого жалованья офицерам. Повсюду можно было выставлять лишь небольшие армии, с которыми совершенно невозможно было проводить решительные операции. Тилли считал, что самая высокая численность войска, какую только может желать полководец, это 40 000 человек; такой численности достигала армия, привезенная Густавом-Адольфом в Германию, со всеми своими подкреплениями; почти все битвы Тридцатилетней войны решались меньшими массами. Лишь один Валленштейн[1] умел временами собирать под свои знамена до 100 000 человек, хотя и не в сосредоточенных массах.

Однако, если войска достигали относительно очень небольшой численности, то обозы, которые они возили с собой, как общее правило, были несоразмерно велики. Передвижение такого обоза было похоже на переселение народов. Солдат вел в походе свое собственное хозяйство и, как бродячий ремесленник, возил с собой жену и детей. У кого не было жены, тот брал себе возлюбленную, кото-

---

[1] Валленштейн — имперский главнокомандующий в Тридцатилетней войне (1583—1634).— *Ред.*

рая стряпала и стирала ему, а в походах возила за ним добычу и детей. Чудом дисциплины считалось уже то, что Густав-Адольф при своем вторжении в Германию допускал в своем лагере присутствие лишь законных жен и организовал походные школы для детей. Но это продолжалось очень недолго. Как только он укрепился на немецкой земле, среди его войск установился тот же порядок, что и в других наемных войсках. На один пехотный полк считалось необходимым иметь до 4 000 женщин и мальчиков для услуг. Полк в 3 000 человек вез за собой не меньше 300 повозок, и каждая из них была битком набита женами, детьми, девками и награбленным добром. Когда какой-нибудь небольшой отряд должен был выступить в поход, его выступление задерживалось до тех пор, пока для него не доставлялось десятка три повозок, а то и больше.

Военная дисциплина немецких ландскнехтов уже в начале войны пользовалась дурной славой. За время войны они сделались настоящими авантюристами, грабителями и разбойниками. При постоянном безденежье монархов они получали свое жалованье очень нерегулярно, часто неполновесной монетой; нередко для расплаты с солдатами чеканилась особая, значительно более легкая против обыкновенной монета. А то, что удавалось получать от нанимателей, в большей своей части застревало в ловких руках полковников и капитанов. В войсках постоянно царило возмущение.

Последние узы дисциплины были разрушены той грубой реквизиционной системой, при помощи которой войска должны были снабжать себя даже и в дружеских странах. Насколько ландскнехты подтверждали правило, что война кормит войну, было указано еще до начала этой войны ее современником, и не поэтом, а просто осведомленным офицером Адамом Юндхауз-фон-Ольницем в его «Военном регламенте на море и на суше».

Там сказано следующее: «Совершенно верно, каждый воин должен есть и пить независимо от того, кто будет за это платить — понамарь или поп; у ландскнехта нет ни дома, ни двора, ни коров, ни телят, и никто не приносит ему обеда. Поэтому он принужден доставать, где возможно, и покупать без денег, не считаясь с тем, нравится это крестьянину или нет.

Временами ландскнехты должны терпеть голод и черные дни, временами же у них избыток во всем, так что они вином и пивом чистят башмаки. Их собаки едят тогда жареное, женщины и дети получают хорошие должности: они

становятся домоправителями и кладовщиками чужого добра. Там, где изгнаны из дома хозяин, его жена и дети, там наступают плохие времена для кур, гусей, жирных коров, быков, свиней и овец. Тогда деньги делят шапками, меряют пиками бархат, шелк и полотно; убивают коров, чтобы содрать с них шкуру; разбивают все ящики и сундуки и, когда все разграблено, поджигают дом. Истинная забава для ландскнехтов, когда 50 деревень и местечек пылают в огне; насладившись этим зрелищем, они идут на новые квартиры и начинают то же самое.

Так веселятся военные люди, такова эта хорошая, желанная жизнь, но только не для тех, которые должны ее оплачивать. Это привлекает многих к походной жизни, и они уже не возвращаются к себе домой. Пословица говорит: «Для работы у ландскнехтов кривые пальцы и бессильные руки, но для грабежа и разбоя все паралитичные члены становятся сразу здоровыми». Так было до нас, так будет и после нас. Ландскнехты изучают это ремесло чем дальше, тем лучше и становятся так же заботливы, как три женщины, которые заказывают для себя четыре колыбели, лишнюю колыбель — на тот случай, если у одной из них родится двойня». Мрачный юмор, который слышится в этих строках, должен был усилиться после того, как ландскнехты в течение Тридцатилетней войны превратились в настоящее бедствие для страны, по которой они проходили.

При этом нельзя упускать из виду, что немецкие ландскнехты рассматриваются здесь как исторический тип и что их хозяйничанье было нисколько не хуже хозяйничанья наемников других наций. Чем больше втягивала Тридцатилетняя война в свой поток европейские державы — Францию и Испанию, Швецию и Польшу, Англию и Голландию, — тем больше примешивалось всевозможных наций к тем ордам, которые опустошали Германию. В каждом лагере образовалась пестрая смесь всевозможных наций, смешение всех языков и диалектов. Англичане, шотландцы и ирландцы, датчане, шведы и финны, даже лапландцы со своими оленями появились на берегах Померании, доставляя шведскому войску меховую одежду. Там были итальянцы, испанцы, валлонцы; были представлены почти все племена славян; появились даже казаки в качестве польских вспомогательных войск. Даже в шведском войске, состоявшем наполовину из шведов, при вступлении в Германию осталась вскоре лишь одна десятая часть шведов. В каждой армии были постоянные распри; особенно следовало удалять друг от друга немцев и романские народы.

При этом не было недостатка в строгих военных приказах и взысканиях: деревянная кобыла, прогон сквозь строй, виселицы и эшафоты, которыми, по военным правилам, карались не только убийства и военные преступления, но также и бесчеловечное обращение с крестьянами и разграбление их имущества. Приказывалось щадить по крайней мере женщин и детей, больных и стариков при всех обстоятельствах, а также запрещалось портить мельницы и плуги. Но эти запрещения при всеобщем одичании имели очень небольшое значение — вернее, не имели совсем никакого значения.

VII

Во всяком случае, необходимо отличать первую половину войны от второй. Безграничное бедствие началось лишь со второй половины; в первой же такие предводители, как Тилли, Густав-Адольф и Валленштейн, умели, несмотря ни на что, сохранять известную дисциплину,— понятно, постольку, поскольку это было возможно при существовавших условиях.

Протестантские историки проклинают Тилли как жестокого варвара и прославляют благочестивого рыцаря — короля Густава-Адольфа, а католические историки делают как раз наоборот; говорить так — это все равно, что жаловаться на чорта его бабушке. В жестоком ведении войны того времени, при котором разграбление завоеванных городов считалось неоспоримым правом солдатчины, оба были или одинаково виноваты, или одинаково невиновны. Если тотчас по своем вступлении в Германию Густав-Адольф и держал себя несколько сдержанно, то, почувствовав себя на твердой почве, он стал гораздо энергичнее, чем Тилли, угрожать «огнем и мечом», «пожаром, разграблением и смертью», и эти угрозы ни в каком случае не бросались на ветер; пожар Магдебурга следует отнести на счет Густава-Адольфа, а не на счет Тилли. Но если в методах ведения войны оба они не стояли выше своего времени, то все же внутри определенных рамок они старались удержать военную дисциплину. Гораздо выше их стоял Валленштейн: при всех своих тяжелых конфискациях и контрибуциях он всегда преследовал политическую цель, укрощая заносчивость и самомнение князей, но щадя крестьян и горожан, так что последние все же могли существовать, несмотря на все военные тяготы.

Сравнение этих трех военных предводителей в высшей степени интересно с точки зрения военной истории. Тилли

был, что называется, боевым генералом: смел и деятелен в битве, воспитание получил в испанской школе, не имел дарований полководца и политически был ограничен. Густав-Адольф стоял в военном отношении несравненно выше его; экономическая структура его государства дала ему возможность пройти нидерландскую школу. Швеция была дворянской военной монархией, где решающее слово принадлежало дворянству. Но крепкое крестьянство, не знавшее, что такое средневековое крепостничество, а также сравнительно еще мало развитые города также имели некоторое право голоса. Все классы шведской нации были заинтересованы в том, чтобы бедная страна не была разорена вконец в борьбе за господство над Балтийским морем; они выставили войско, являвшееся как по своему офицерскому составу, так и по составу солдат глубоко национальным. Густав-Адольф не только усвоил военную организацию принцев Оранских, но и углубил ее. Его боевая линия имела в глубину не 10 человек, но только 6; в артиллерии он также провел значительные улучшения. До сих пор пушки обслуживались ремесленниками. Король приказал обучить орудийную прислугу военному делу и ввел легкую артиллерию, полковые орудия, которые передвигались не лошадьми, а людьми и могли быть введены в боевой порядок. Благодаря этим военным реформам в битве под Брайтенфельдом (1631 г.) Густав-Адольф разбил Тилли наголову, вследствие чего он получил господство над всей Северной Германией, а Южная Германия осталась совершенно беззащитной.

Здесь-то и обнаружилось, что Густав-Адольф был орудием в руках шведского дворянства, но не его главой. Он поддался авантюристским планам: взять фрегат (Германию) на буксир шлюпки (Швеции); его канцлер Аксель Оксенширна уговаривал его не вести этой путаной политики; это был тот самый Оксенширна, который, несмотря на свое меланхолическое мнение, что миром управляет чрезвычайно небольшая мудрость, имел все же лишь весьма небольшие основания претендовать на государственные таланты. Для памяти Густава-Адольфа было очень благоприятно то, что его ранняя смерть в битве при Люцене (1632 г.) окутала благодетельным туманом его политические цели, если только они у него вообще имелись.

То же самое можно сказать и о Валленштейне, но с тем существенным ограничением, что еще не известно, остался ли он верен своей политической цели до конца или же нет. Эта цель не была случайной фантазией, она была истори-

ческим признанием того, что Германия может быть спасена лишь созданием современной монархии, — наподобие той, которую в это время создавал Ришелье во Франции. Сами по себе планы Валленштейна не были фантастическими, но они были неосуществимы потому, что многовластие на немецкой земле пустило такие крепкие корни, выкорчевать которые было невозможно. Величайший полководец своего времени, «кумир войска и бич народов», он был прежде всего политиком, а затем уже солдатом. Он понимал, что война является продолжением общей политики, но лишь насильственными средствами, и, где мог, предпочитал мирные средства насильственным. Значительно превосходя Тилли и Густава-Адольфа как организатор больших военных масс, он ни разу не дал наступательного сражения. Его полупоражение под Люценом было фактически доказательством его дальновидности. Он не мог подражать шведской тактике, необходимым условием которой была экономическая структура шведской нации; он же и его войско были тесно связаны с испанской тактикой. Поэтому, отбив при Люцене атаку шведов на его укрепленную позицию, он отказался перейти в наступление, так как в открытом поле ему угрожала бы участь Тилли при Брайтенфельде; вечером в день битвы он добровольно очистил поле сражения.

Новая тактика не может быть создана одним мановением руки, особенно в такой момент общего банкротства европейского военного искусства, как это было во времена Тридцатилетней войны. За время этой войны произошел также известный прогресс в технике оружия — мушкет победил пику; если в начале войны пикинер являлся образцом тяжелого пехотинца, то в течение войны он сошел с этого почетного места; несколько преувеличивая, но все же правильно писал Гриммельсхаузен, редактор «Симплициссимуса»: «Хотя мушкетер и является весьма жалким созданием, но он настоящий счастливец по сравнению с несчастным пикинером...» «За время своей жизни я видел много интересных случайностей, но мне редко приходилось видеть, чтобы пикинер кого-нибудь убил». От этого прогресса вооружения выиграло существенно лишь шведское войско; однако этот прогресс вооружения явился одним из средств уничтожения кондотьерства, полное крушение которого является единственной заслугой Тридцатилетней войны.

Но прежде чем кондотьерство сошло с исторической сцены, оно еще раз блеснуло всеми своими красками. Мы

видим здесь: графа фон-Мансфельда, который, избежав смерти на поле битвы и встречая ее в своей постели, ожидал ее стоя, опираясь на двух оруженосцев и в полном вооружении; и Христиана Брауншвейгского, выезжавшего в бой с перчатками на своей шляпе бежавшей королевы Богемской и с девизом: «Все для Бога и для нее!»

Этот оригинал, которого еще современники называли «бешеным герцогом», уже в XIX столетии привлек к себе внимание крупной немецкой поэтессы, утонченной и скромной Анетты фон-Дросте-Гюльсгоф. В прекрасном стихотворении она выступила очаровательной защитницей этого испорченного, но — ах! — такого милого малого.

Еще богаче поэтические лавры, возлагавшиеся на мрачный лоб «Фридландца», как называли Валленштейна. Валленштейн был самым крупным предводителем банд, но вместе с тем он был, наряду с Ришелье, и самым крупным политиком своего времени. Правда, сегодня нельзя уже повторить за воспевавшим его поэтом, что его образ парит в истории, вызывая в различных партиях одновременно преклонение и ненависть. Но никто на немецкой земле не завоевал себе бóльших прав в истории, чем Валленштейн; позорной изменой было свержение его немецкими князьями на рейхстаге в Регенсбурге; они открыли этим ворота государства для шведского завоевателя, и только потому, что боялись восстановления императорской власти. Когда затем нажим шведов принудил императора снова сделать Валленштейна своим генералом, то Валленштейн старался делать императорскую политику без императора и даже вопреки императору. Он должен был потерпеть в этом неудачу, так как в Германии было совершенно невозможно то, что не только было возможно, но и необходимо во Франции. Пал ли бы Валленштейн вследствие непрестанного крушения своих великих планов до степени обыкновенного наемного предводителя, или ему лишь предстояло это — остается загадкой, разрешению которой помешало трусливое убийство своего генерала, совершенное императором.

Не оправдываемое никакой романтической окраской, никакими политическими соображениями, стоит перед нами хладнокровное предательство страны и императора, которое совершил Бернгард Веймарский — предводитель наемников в Тридцатилетней войне. Чтобы обеспечить себе паразитическое существование деспота, он продавал своих наемных солдат то шведам для завоевания Франконии, то французам для завоевания Эльзаса. Этот обманщик сам был обманут Оксенширна и Ришелье и оставил после себя

лишь один след в истории: его войска были куплены после его смерти Францией и послужили основным материалом для первого постоянного войска.

VIII

С конца Тридцатилетней войны (1648 г.) и до начала Французской революции (1789 г.) европейское военное дело опиралось на институт постоянного войска из вышколенных наемных солдат.

Кондотьерство исчезло сначала лишь в своих наиболее резких формах; со времени Тридцатилетней войны сошли со сцены, так сказать, большие военные предприниматели, содержавшие собственные войска и продававшие их то одной, то другой державе, но в своей более мягкой форме, в форме приглашения правительствами опытных военных командиров для вербовки полков, которые затем до известной степени становились их собственностью и могли продаваться и покупаться внутри одного и того же государства, — в такой форме оно умирало лишь постепенно, ибо прогресс в военном искусстве, так же как и в других областях истории, происходит путем не только резких переворотов, но и путем постепенных, незаметных изменений.

Франция, долго боровшаяся с Испанией за господство в Европе, вышла победительницей из Тридцатилетней войны. В своем постепенном развитии, отдельные ступени которого ознаменованы именами Людовика XI, Генриха IV и особенно именем Ришелье, она превратилась в современную монархию с развитой бюрократией и гибкой финансовой системой. По окончании Тридцатилетней войны эта монархия при преемнике Ришелье, Мазарини, снова подверглась сильному натиску фронды, в последний раз объединившей в своих рядах крупное феодальное дворянство, но осталась победительницей; в течение долгого царствования Людовика XIV, умершего в 1715 г., она сделалась первой европейской державой, перевес которой уравновешивался лишь коалицией нескольких европейских держав, именно Англии, Голландии и Австрии.

В войнах, которые они вели между собой, окончательно создались постоянные армии, сначала во Франции, а затем, по ее примеру, и в остальных странах. Как войска ландскнехтов, так и постоянное войско покоились на принципе вербовки; взгляд на него как на военную школу для населения страны был совершенно чужд тому времени. Для того чтобы иметь кассы, полные денег (а без этого нельзя было и думать о постоянном войске), следовало заботливо

оберегать рабочую силу населения, бывшего в то время еще очень редким; нельзя было и думать о том, чтобы то «заселение» страны, которое было главной заботой тогдашних правительств, ослаблять, забирая на военную службу молодых крестьян и ремесленников.

Главным материалом для образования постоянных войск служила одичавшая солдатчина Тридцатилетней войны, равно как массы бродяг и преступников, порожденных этой войной. Прежде всего для них была необходима железная дисциплина. Этот материал был особенно плох потому, что вербовка, в целях сохранения собственной рабочей силы, производилась преимущественно за границей. Подтверждалось то, что сказал еще Макиавелли: «Те, кто, не являясь вашими подданными, добровольно идут на военную службу, представляют собой последние отбросы общества». Но с течением времени стала ослабевать и добровольная вербовка и тем больше, чем меньше выгод давала теперь военная служба даже для самого отъявленного негодяя; это не были уже дни Фрундсберга или даже Валленштейна, когда тот, кто следовал за барабаном, мог рассчитывать на добычу, на почести и по крайней мере на свободную, разгульную жизнь; после непродолжительного похмелья, за время которого рекрут прогуливал свои деньги, его ожидало в течение всей его жизни однообразное существование с жалкой оплатой, со скудным питанием и с жестоким обращением. Офицерам, производившим вербовку, приходилось прибегать к насилию и хитрости, чтобы заполучить рекрутов, к которым,— как известно, клин выбивают клином,— приходилось применять самые жестокие средства, чтобы сделать их годными для войны. Служба простого солдата, считавшаяся в XVI столетии приличной для мелкопоместного дворянства, в XVIII столетии считалась величайшим несчастьем и даже позором для самого бедного крестьянина.

Храбрость этих наемников покоилась, по прекрасному выражению прусского короля Фридриха, на том, что солдат боялся своего офицера больше, чем врага: «Иначе невозможно было заставить их итти на штурм, преодолевая огонь трехсот пушек, сметавших их с лица земли». Но всякая дисциплина исчезала, когда они были голодны; главной ее предпосылкой была своевременная и регулярная забота о снабжении солдат. Интересы всех государств одинаково сходились на том, чтобы уничтожить дикую систему грабежа, которой питались ландскнехты за время Тридцатилетней войны, распространяя ужас и разорение

на большей части европейского материка. Но даже независимо от этой точки зрения нельзя было постоянному войску, и без того редевшему с каждым днем от массового дезертирства, позволить реквизировать для себя продовольствие, не подвергаясь опасности, что солдаты разбегутся на все четыре стороны, превратившись в банды разбойников.

Из этой жестокой необходимости возникло магазинное снабжение постоянного войска. «Во время Нидерландской войны Людовик XIV ввел пятипереходную систему, т. е. было принято за правило, что войско не должно удаляться от своего магазина дальше чем на пять переходов. Здесь делалась остановка и строился новый магазин. Посредине, в двух переходах от армии и в трех — от магазина, находилась пекарня. Только при таких условиях можно было обеспечить снабжение, так как испеченный полевой пекарней хлеб мог сохраняться в течение 9 дней. Два дня нужно было повозкам, чтобы доехать от армии до пекарни, 1 день — для отдыха и нагрузки, 2 дня — обратного пути; они ездили таким образом взад и вперед, оставляя известное время для непредвиденных случайностей, что было необходимо для того времени, когда при отсутствии шоссейных дорог пути делались часто совершенно непроходимыми вследствие дождя» (Г. Дельбрюк). Таким образом продвигался еще в 1792 г. по Франции герцог Брауншвейгский.

Постоянные войска стали возможны и даже необходимы лишь тогда, когда современные монархии достигли известной степени своего развития. Но при этом нельзя забывать, что эти монархии вышли тоже из феодальной скорлупы. Средневековые силы хотя и капитулировали, но во всяком случае не на милость или немилость своего врага. Они сумели обеспечить себе достаточное участие в новых средствах управления абсолютизма. Они поставляли офицерский корпус постоянного войска, солдаты которого набирались из отбросов общества или, в лучшем случае, из беднейших слоев населения.

Этот факт особенно бросается в глаза, когда во времена Людовика XIV видишь во главе французского войска Тюренна, Конде, Люксембурга — тех самых генералов, которые в ранней молодости этого же короля, стоя во главе фронды, делали отчаянные попытки низвергнуть нарождавшуюся монархию. Все же в военном отношении они были еще пригодны, чего нельзя сказать об их преемниках позднейшего времени, когда французское дворянство потеряло свои феодальные доблести и развратилось в атмосфере придворного безделья. Французские маршалы Семилетней

войны представляли собой галлерею неспособных и даже бесчестных бездельников. Несмотря на все еще хорошее снаряжение своих войск, они терпели из года в год поражения от гораздо более слабой армии герцога Фердинанда Брауншвейгского, составленной из английских, ганноверских, брауншвейгских и других контингентов мелких государств; герцогу давал стратегические советы его гражданский секретарь Филипп Вестфален. Интересно, что внучка названного Вестфалена стала впоследствии женой нашего Карла Маркса.

В этой же войне Австрия не менее ощутительно почувствовала ту силу, которую обеспечило себе феодальное дворянство в военном командовании. Маршал Даун, из года в год назначавшийся главнокомандующим, совсем не был плохим генералом. Он даже одерживал постоянные победы над прусским королем, когда им приходилось встречаться в открытом бою, и умел довольно ловко его проводить, за исключением, правда, битвы под Торгау, где он был вынужден после ранения преждевременно покинуть поле сражения. Но он был страшно медлителен, не имел никакой военной инициативы, и вскоре для королевы Марии-Терезии, для ее государственного канцлера Кауница и для самого Дауна стало совершенно ясно, что ему никогда не удастся завоевать Силезию,— а это было главной и последней целью войны. Каждую весну Даун заявлял, что он складывает с себя свои обязанности, и каждую весну с большей горячностью обсуждалось, кто мог бы его заменить; Кауниц нашел наконец годного человека в лице генерала Лаудона, но, несмотря на все свое тогдашнее могущество, ему не удалось провести этого кандидата. Лаудон происходил из низшего дворянства, к тому же был чужеземец и протестант; он так низко стоял в родословном листе, что ему нужно было перепрыгнуть через целую массу аристократических болванов, чтобы попасть на должность главнокомандующего. Такого унижения нельзя было нанести австрийской аристократии, а сама она не могла дать ни одного человека, который хоть немного походил бы на Дауна. Сам маршал писал в своем великолепном стиле императрице: «Самое большое зло — что у нас нет людей», и должен был оставаться на своем посту до печального конца. В общем из одной только австрийской военной истории до XIX столетия включительно можно увидеть, как часто и тяжело страдала доблесть войск от бездарности «высокорожденных ослов», считавших, что по своему рождению они призваны стать военными героями.

В прусском войске родовая аристократия также имела под собой твердую почву, но опять-таки в несколько ином виде, чем во Франции и в Австрии. При более внимательном изучении здесь можно найти много поучительных различий.

IX

Если Франция во времена наемных армий была первой военной державой Европы, то в середине и в конце XVIII столетия образцовым военным государством сделалась Пруссия.

Чтобы понять это явление, надо прежде всего отказаться от того объяснения, которое дает по этому поводу новейший прусский военный историк, именно, что прусский король Фридрих-Вильгельм I и его сын Фридрих достигли якобы «самого неограниченного абсолютизма, который когда-либо существовал на земном шаре». Это утверждение — если употребить парадоксальное выражение — может послужить образчиком настоящей штукатурной легенды, которая давно уже была опровергнута другими прусскими историками, но, как кажется, возрождается снова.

Основателем постоянного войска в Пруссии был курфюрст Фридрих-Вильгельм, вступивший на престол в 1640 г. двадцатилетним молодым человеком. Тогда еще бушевала Тридцатилетняя война, опустошившая маркграфство Бранденбург гораздо больше, чем любое немецкое государство, отчасти потому, что военная организация Бранденбурга была слабее, чем где бы то ни было в Германии. Молодой курфюрст состоял в близком родстве как с оранским, так и со шведским домами. Как наследный принц он прожил несколько лет в голландских военных лагерях; когда его многолетнее сватовство за королеву Христину шведскую — его родственницу — не дало результатов, он женился на принцессе из оранского дома. Состоя в тесной связи с обеими наиболее развитыми военными державами своего времени, он вступил в еще более тесную связь со вновь появившейся на сцене военной державой — Францией. При заключении Вестфальского мира Мазарини предоставил слабому курфюрсту большие льготы, так как надеялся найти в нем сильный противовес против дома Габсбургов.

Для этого было необходимо постоянное войско. И молодой курфюрст имел достаточно военной сметки, чтобы понять эту необходимость. Но этого было бы мало, если бы эту необходимость не понимало также и бранденбургское дворянство, державшее благодаря своим сословным собраниям деньги в своих руках.

Грабители-ландскнехты Тридцатилетней войны не считали нужным щадить дворянских поместий; среди крепостных крестьян в результате войны началось брожение, и они плохо поддавались управлению; многочисленные «наездники», обедневшие юнкера, производившие более или менее бесстыдные грабежи на дорогах, тяжело ложились на плечи дворянства и увеличивали его сословные заботы. Эти и другие причины делали дворянство весьма склонным к созданию постоянного войска, и на ландтаге 1653 г. сословные представители вотировали курфюрсту «контрибуцию», т. е. постоянный налог, необходимый ему для вербовки и содержания наемного войска.

Но при этом они обеспечили себе, в соответствии с соотношением сил договаривающихся сторон, львиную долю. «Контрибуция» должна была взиматься только с крестьян и городов, само же дворянство было свободно от всяких налогов; дальше, им должна была быть предоставлена безусловная поместная власть, полное господство над крестьянским сословием, составлявшим тогда бо̀льшую часть населения, и, наконец, дворянство выговорило себе офицерские должности в новом войске, что одно обеспечивало ему гораздо большую власть, чем та, которой оно могло похвастаться на своих уже ослабевших сословных собраниях. Эта новая Пруссия возникла как юнкерская военная монархия, прообразом которой может считаться Швеция Густава-Адольфа.

Внук курфюрста Фридриха-Вильгельма, носивший то же самое имя, так же мало, как и его дедушка, мог «добиться неограниченного абсолютизма», несмотря на то, что из всех своих предшественников и наследников он больше всех старался «воздвигнуть эту скалу из бронзы». Это еще более хрупкая штукатурная легенда, по поводу которой можно только удивляться, что она все еще существует, прославляя короля за то, что он будто бы ввел в 1773 г. кантонным регламентом всеобщую воинскую повинность. Такой кантонный регламент никогда не существовал; всеобщая воинская повинность была в Пруссии того времени так же невозможна, как и во всяком другом европейском государстве; король был так далек от этой мысли, что вел решительную борьбу с самим словом «милиция» и решительнейшим образом отстаивал принцип наемного войска.

Легенда о кантонном регламенте, по всей вероятности, является извращением того факта, что давно изжитое кондотьерство гораздо дольше сумело удержаться в прусском войске, чем в каком-нибудь другом, — до самой катастрофы 1806 г., — и существовало даже в самой гадкой

форме — в форме ротного хозяйничанья. Правительство вручало капитанам определенную сумму, чтобы вербовать и оплачивать рекрутов; капитаны же, пользуясь господским правом, которое они имели как дворяне над крестьянским населением, принуждали крепостную молодежь к военной службе и после необходимого обучения снова отправляли ее на сельские работы. Таким образом, капитаны получали возможность прятать в собственный карман значительную часть полученных от правительства сумм, а кроме того, представляя ему фальшивые списки, поддерживали практику старого кондотьерства. Эта «кантонная система» является разительным доказательством не за, а против прусского абсолютизма; королевская власть никогда не изобретала ее, но примирилась с ней лишь после продолжительного сопротивления, так как дворянство оказалось сильнее королевской власти.

Но совершенно по другим причинам ей было все же значительно легче, чем французскому королю или германскому императору, выработать дельных офицеров. В Пруссии не было могущественной, богатой аристократии, а лишь бедное многочисленное юнкерство, возникшее из тех элементов, которые когда-то, на службе у имперского маркграфства, отвоевали у славян Остэльбские провинции. Это низшее дворянство, на которое феодалы вне Пруссии смотрели с большим презрением, было как класс достаточно сильно, и против его желания король ничего не мог поделать, но над некоторыми из них, несмотря на их количество, он все же имел значительную власть. Имелось большое количество бедных дворян, считавших, что «королевский хлеб самый вкусный». У этих протестантских дворян не было возможности получать обеспечение и синекуры у секуляризованной церкви, так как эти средства удерживались для заслуженных офицеров.

Непозволительным обобщением совершенно единичных явлений являются рассказы, будто прусские короли насильно принуждали дворянство к военной службе. Это было лишь вначале и только в Восточной Пруссии, дворянство которой не хотело сперва присоединиться к прусскому владычеству. Но это продолжалось недолго; уже племянник того самого Калькштейна, которого курфюрст Фридрих-Вильгельм казнил как изменника, сделался военным воспитателем кронпринца, будущего короля Фридриха.

Когда этого короля выставляют классическим защитником прусского военного государства, то прежде всего следует вспомнить о том, что он стремился пополнять офи-

церский корпус из низшего дворянства. В сражении под Прагой наследный принц Шанейх-Каролат однажды командовал конницей, но это был первый и последний случай, когда владетельный князь получил крупное военное назначение от короля Фридриха. Этот король питал глубокое недоверие даже к низшему дворянству, если оно было хоть несколько зажиточно. Однажды он ответил графу Шуленбургу, желавшему сделать своего сына офицером, что он отдал приказание не принимать в офицерский корпус графов: «Если ваш сын хочет служить, то ему не для чего графство... В случае если произойдет чудо и из графа выйдет что-нибудь путное, то ему не понадобятся ни его титул, ни рождение; это просто вздор. Все зависит от его личных достоинств». Подобным же образом высказывал король свое отрицательное отношение к богатому и знатному офицерству.

Особую любовь проявлял он к так называемым «панкам»— мелкопоместному кошубскому дворянству, часто жившему несколькими семьями под одной крышей у польской границы, почти на положении поляков. Он открыл для этого дворянства в Стольпе и Кульме специальные кадетские школы, чтобы обучить «господ юнкеров» чтению, письму и счету, так как знание этих несложных искусств было необходимо для вступления в берлинский кадетский корпус. Из этих глухих лесов король извлек немалое количество военных начальников, отличившихся при нем или при его наследниках. В деревне Большой Густков, недалеко от Бютова, в «голубой стране», на одном из бесчисленно раздробленных кусочков земли обитало семейство фон-Яркен. Один представитель этого семейства, не будучи в состоянии кормиться на своем жалком участке, сделался пастором в бедной приморской деревушке, и внук этого «голодного пастора», сын дочери ремесленника, оказался впоследствии генералом Йорком, известным героем Таурогена. Официальная биография рисует его, конечно, совершенно иначе — отпрыском английского дворянского рода, один из членов которого эмигрировал якобы во времена Кромвеля как верный приверженец Стюартов, в то время как другой процветал на старой родине в лице графа фон-Хардвига. Перед нами опять пример чистейшей штукатурки.

Внутри набранного таким образом офицерского корпуса господствовала до известной степени демократическая организация. Вступивший в корпус должен был отбыть 20 лет суровой службы с жалованьем от 10 до 14 талеров в месяц; затем выручала рота, которая давала ему возможность

в течение 10 лет составить небольшое состояние, с которым он мог спокойно пойти на отдых в свой майорский угол. Достижение звания майора зависело от количества прослуженных лет и являлось бесспорным принципом, которого не мог нарушить даже и король; однако и на более высоких командных должностях выслуга лет имела свой, весьма трудно нарушаемый порядок. Правда, в трудное время Семилетней войны король не раз объявлял, что при назначении, начиная с полковников, он не будет считаться с количеством прослуженных ими лет, что если бы он знал в своем войске какого-нибудь поручика, который обладал бы достоинствами принца Евгения Савойского, то он тотчас произвел бы его в генерал-фельдмаршалы. Но на практике ему было очень трудно провести этот принцип. Когда вскоре после этого заявления король хотел одного генерала, которому он особенно доверял, назначить начальником других генералов, бывших старше его по службе, ему пришлось назвать этого генерала чем-то вроде «диктатора на манер римских времен». Насколько эта мера оказалась удачной, трудно судить, так как новый «диктатор» спустя несколько дней был разбит наголову русскими.

Вообще генералитет, как признавал и сам король, был самой слабой стороной офицерского корпуса, и причина этого скрывалась в очень слабом образовании, которое получали офицеры. Правда, современный фельдмаршал фон-дер-Гольц, когда он был еще майором генерального штаба, уверял, что фридриховский офицер являлся самым образованным представителем немецкой нации, но в течение целого поколения нашелся лишь один последователь этого смелого утверждения, а именно буржуазный поклонник милиции Блейбтрей. Старый Беренхорст, знавший вдоль и поперек фридриховское прусское войско как его современник, рассказывал весьма красочно в своих «Заметках о военном искусстве», что при вступлении на престол короля Фридриха для офицеров сама военная терминология являлась загадкой за семью печатями. Когда был получен приказ двигаться колоннами, смелые вояки рассуждали: «Что же такое значит колонны?» И так как они не могли решить этой загадки, то успокоились на следующем: «Так вот, я буду следовать за тем, кто идет впереди меня, куда он — туда и я». Фридрих по крайней мере заботился все же о военном образовании офицеров, но результаты очень мало удовлетворяли даже и его самого.

Несомненно, среди прусского войска встречались некоторые высшие офицеры, которые для своего времени были

образованы и даже высоко образованы, как, например, фельдмаршал Шверин, но таких было очень мало. Даже генерал Винтерфельд, которого называют начальником королевского генерального штаба, принадлежал к тем людям, о которых говорят: «Деревенский учитель передал ему всю полноту своих знаний». Сам Винтерфельд признавал, что он гораздо большему научился от одного старого сержанта, чем от кандидата в пасторы, обучавшего его по поручению отца. Прекрасными образчиками высшего офицерства были генерал Бланкензее, про которого король сказал, что если он умрет, то вряд ли кто это заметит, или фельдмаршал Мориц фон-Дессау, которого старый Дессау, его отец, ничему не обучал, желая, очевидно, испытать, что может сделать природа из его любимого сына. Однако все же после смерти Шверина и Винтерфельда, погибших в первый же год Семилетней войны, стал ощущаться недостаток в генералах, которым могло бы быть поручено самостоятельное командование; даже знаменитый кавалерийский генерал Зейдлиц, не говоря уж о еще более популярном Цитене, не дорос еще до этой задачи.

Недостаток дельных генералов заставил короля поручать ответственное командование, которое сам он тоже не мог вести, или принцам своего собственного дома, или же принцам других княжеских домов, зависимых от него, как, например, Брауншвейгу и Дессау. Но и это средство имело свои тернии, так как, несмотря на заботливый выбор, он не всегда мог найти прирожденного героя, и, кроме того, у него было слишком много той подозрительности, которая заставила когда-то испанского короля подозревать даже своего собственного брата. Фридрих так безжалостно преследовал моральными шпицрутенами своего брата и наследника престола, оказавшегося неспособным к самостоятельному командованию, что принц умер от горя в сравнительно еще молодых годах. Этот пример имел очень устрашающее влияние. Другой высокорожденный командующий, герцог Брауншвейг-Бавери, проигравший однажды дело, сбежал от своего войска при одном известии о приближении короля и вместе со своим слугой сдался в плен кроатам. Во всей военной истории известен лишь один подобный случай! Это недоверие короля, сохранившееся у него со времен кондотьерства, лучше всего характеризует выпущенный им дворцовый декрет, по которому ни один принц королевского дома не мог достигнуть высших военных должностей. Когда король Вильгельм осенью 1870 г. произвел в фельдмаршалы кронпринца и принца Фридриха

Карла, он особенно подчеркнул: «Это первый подобный случай в нашем доме».

Тем, что король выдержал в военном отношении Семилетнюю войну, он обязан был тогдашнему прусскому офицерскому корпусу. Были попытки сравнивать этот корпус с чем-то вроде монашеского ордена. Этому очень содействовал тот факт, что король, насколько ему позволяла его власть, принуждал офицеров к безбрачию. Без долгого и сурового послушания никто не мог достигнуть высокой должности; но при этом условии она делалась доступной для всякого. Однако весьма характерно для этого ограниченного и сурового поколения, что такой человек, как Готгольд-Эфраим Лессинг, охотно вращался в его кругу и даже провел там самое лучшее и радостное время своей жизни. По большей части бедняки, не имевшие ничего, кроме чести, сабли и жизни, ежедневно подвергавшие свою жизнь опасностям в боях, эти офицеры скорее способны были сломать свои шпаги, чем запятнать, по прихоти короля, свою честь.

Однако Семилетняя война была для них не только славной, но и роковой. Четыре тысячи их осталось на полях битвы, и даже после мира не удалось заполнить образовавшиеся пробелы, так как войско беспрерывно возрастало. Король не умел восстановить разбитые организации офицерского корпуса; все военные нововведения короля после войны приводили лишь к тому, что офицеры превращались в банду «спекулирующих лавочников»,—как сказал когда-то грубо, но зато очень метко Бойен, позднейший реформатор прусского войска. Ротное хозяйство, самое тяжелое испытание для офицерского корпуса и опаснейший источник разложения, превратилось, вследствие реформы короля, в неизлечимую язву, которая в течение нескольких десятилетий окончательно погубила боеспособность войска.

Из всех ошибок короля наиболее порицаемая является, в известном смысле, и наиболее извинительной. Даже со стороны своих буржуазных поклонников «философ из Сан-Суси»[1] встречал довольно резкое порицание за то, что после Семилетней войны он прогнал из войска всех буржуазных офицеров, вступивших туда под давлением нужды во время войны, и, так как собственное дворянство не могло удовлетворить потребностей в офицерах, заменил их авантюристами дворянского происхождения из-за границы. Лишь мимоходом можно заметить, что буржуазные офи-

[1] Так звали иногда короля Фридриха.— *Ред.*

церы в массе своей далеко не были лучшими. Если юнкерские офицеры предпочли бросить свою шпагу к ногам короля, нежели по его приказу разграбить саксонский охотничий замок, то офицер из бюргеров не только охотно выполнил бы это приказание, но наполнил бы при этом и собственные карманы, причем доля короля в награбленном была бы по крайней мере пожертвована на лазареты; это укрепляло короля в его убеждении, что лишь дворяне имеют чувство чести. Между прочим, об этом можно совсем не говорить. При закостеневшем сословном делении фридриховского государства буржуазному сословию нельзя было дать возможности занимать офицерские должности, не перевернув до основания всего государства. Хотя это и смогла сделать битва под Иеной, но король Фридрих не был в состоянии этого сделать, если бы даже и хотел.

Проклятием либеральной истории является то, что она всегда попадает впросак, если вздумает ругнуть какого-нибудь короля. Личное расположение короля к дворянству было лишь рефлексом старопрусского государственного разума; последствием его явилось наводнение прусского офицерского корпуса иностранным дворянством; по поводу вербовки его можно было сказать то же самое, что сказал Макиавелли о вербовке чужеземных рекрутов: получались лишь подонки и отбросы. Это было полным возвратом к временам ландскнехтов Тридцатилетней войны. В год Иенской битвы среди штаб-офицеров прусского войска находились 19 французов, 3 итальянца, 1 грек, 20 поляков, 3 австрийца, 6 голландцев, 23 курляндца и русских, 15 шведов, 5 датчан, 13 швейцарцев из непрусской Германии, 4 баварца, 8 вюртембержцев, 39 мекленбуржцев, 10 ангальтцев, 12 брауншвейгцев, 108 саксонцев и тюрингенцев, 8 ганноверцев, 18 гессенцев и около 50 человек из других мелких немецких государств. Еще более многочисленное и разнообразное смешение почти всех европейских наций (также англичан, шотландцев и португальцев) наблюдалось среди высшего офицерства. Офицеров с французским именем и фамилией значилось в офицерском списке свыше 1 000. Более пестрого смешения национальностей не было даже среди полковников и капитанов валленштейновской армии.

Что касается нижних чинов, то прусская наемная армия являлась классическим образцом лишь постольку, поскольку в ней была развита до крайности изнурительная дисциплина. В то время как во французском войске было

запрещено употребление палки, в прусском войске палка работала с утра до вечера. Приблизительно половина войска состояла из крепостных крестьянских парней, по отношению к которым могла бы применяться более мягкая дисциплина, но с ними обращались очень жестоко; правда, они были приучены к палкам еще на господском дворе и находились под знаменами лишь один месяц в году. В очень незначительной части постоянное войско могло состоять из обманутых юношей, попавших в руки вербовщиков, но в несравненно большей своей части оно состояло все же из бродяг, дезертировавших ради денег из одного войска в другое. «Это были, — говорит Шарнгорст, — бродяги, пьяницы, воры, негодяи и вообще преступники со всей Германии». Такую публику можно было удерживать в рамках дисциплины лишь самыми суровыми принудительными мерами.

Все же главное свое основание эта система находила не только в жестокой необходимости, но в принципе, как это признавал и сам король. Он не верил в существование каких-либо моральных побуждений в простом солдате; ему было совершенно безразлично, что думали и чувствовали те, кто плечо к плечу, вымуштрованные офицерами, должны были итти навстречу вражеским пулям. Из времен Тридцатилетней войны он, несомненно, сохранил известную склонность к кондотьерству, так же как перенял от Густава-Адольфа манеру последнего, применявшуюся там очень широко, — зачислять военнопленных в свои войска. «Король не видел ничего дурного в том, чтобы, по примеру Мансфельда и Валленштейна, заключать соглашения с полковниками, которые обязывались навербовать за границей к нему на службу целые полки. Он охотно взял к себе на службу в 1744 г. часть войск, только что защищавших от него Прагу; он принудил саксонские полки, капитулировавшие в 1756 г. под Пирной, вступить в ряды его войск; в следующем году он навербовал свои полки из пленных австрийцев. Много тысяч набрал он в Моравии и Богемии, Саксонии и Мекленбурге, Ангальте и Эрфурте» (М. Леман). Подобные методы применялись и раньше в наемных войсках, но нигде не проводились они так систематически, как в войске Фридриха.

Что из этого получилось, коротко и метко охарактеризовал Шарнгорст: «Ни одного солдата не истязали так ужасно, как прусского, и ни один не был так плох, как прусский».

X

Время расцвета постоянного наемного войска было также расцветом и стратегии на истощение. Это с такой же необходимостью вытекало из военной организации войска, как сама военная организация возникла из экономической структуры общества.

В военной литературе стратегия на уничтожение считается высшим видом военного искусства и даже его классической формой, рядом с которой стратегия на истощение представляется лишь несовершенным вспомогательным средством. Стратегия на уничтожение является, таким образом, проявлением якобы более высокого исторического развития. Но неправильность этого положения обнаруживается уже из самого поверхностного взгляда на античную военную историю. Древние афиняне вели Персидскую войну по законам стратегии на уничтожение, а Пелопоннесскую войну — по законам стратегии на истощение, однако никому не придет в голову утверждать, что в дни Мильтиада и Фемистокла Афины стояли на более высокой ступени исторического развития, чем в дни Перикла. Новая военная история также началась со стратегии на уничтожение, стратегии полуварварских швейцарцев, в то время как современная мировая война со дня на день проявляет все больше и больше признаков стратегии на истощение.

Если отвлечься от всех исторических условностей и установить коренное различие между этими формами войны, то можно сказать, что стратегия на уничтожение является не более высокой, но более простой формой ведения войны. Наполеон, ее величайший маэстро, сказал однажды: «Я знаю в войне лишь три вещи: ежедневно проходить по десять миль, сражаться и отдыхать». Уничтожение вражеского войска в бою — единственная цель стратегии на уничтожение. Стратегия на истощение, наоборот, склонна рассматривать сражение как прием плохих генералов. Во всяком случае, наряду с ним она признает и даже предпочитает изнурение врага, отрезывая его от его базы, заставляя его разбить себе головы об укрепленные позиции, захватывая его отдельные крепости и провинции как залог заключения мира или обходя его стратегическими маневрами и т. п.

Таким методом и велись войны во времена постоянного наемного войска; многие из них, и даже такие, которые оканчивались серьезными завоеваниями, проходили без единой битвы: например, так называемая Деволюционная война (1667 г.), в результате которой Франция приобрела

бо́льшую часть Фландрии; война за польский престол (1734 г.), в результате которой была приобретена Лотарингия. Война за баварское наследство (1778 г.) также не видела ни одной битвы; разорив Богемию, король Фридрих принудил императора Иосифа отказаться от завоевания Баварии. Исключением является год Семилетней войны, за время которого произошло четыре сражения (Прага, Колин, Росбах[1], Лейтен[2]), но с каждым следующим годом войны количество битв уменьшалось, и за два последних года прусский король едва дал одно сражение, как позднее в войне за баварское наследство.

Эта боязнь битв, характерная для времени постоянного наемного войска, происходила не из каких-либо духовных или нравственных побуждений, но сама собой возникла из сущности наемного войска; после того как мушкет победил пику, или, вернее, когда между обоими этими видами оружия был найден компромисс в штыке, это войско в сражении представляло собой подвижную машину для стрельбы. Тремя шеренгами, плечо к плечу, нога в ногу, имея по бокам взводных, а позади замыкающих офицеров, которые могли заколоть или застрелить каждого уклоняющегося, двигались эти солдаты, давая по команде залп и бросаясь прямо на вражеский огонь, пока снова не раздастся команда. Если враг не отступал под огнем, надо было выбивать его штыками. «Тогда король доволен тем,— любил говорить Фридрих своим «молодцам», — что им не придется стрелять второй раз».

О действии этих залпов создалось несколько преувеличенное представление; оно не совсем правильно, так как кремневые ружья были далеко не опасны: из них могли стрелять лишь на дистанции 200 шагов, не имея возможности прицеливаться при стрельбе (не было прицелов). Гораздо опустошительней было действие пушек среди тесно сплоченных рядов; артиллерия с ее картечным огнем делала битвы того времени чрезвычайно кровавыми. Средняя

---

[1] Росбах (в Саксонии) — сражение 5 ноября 1757 г. (в Семилетнюю войну) между войсками Фридриха II (21 000) и французско-имперской армией (64 000). Союзники были разбиты и потеряли 7 000, пруссаки — 540 чел.— *Ред.*

[2] Лейтен (в Силезии) — сражение 5 декабря 1757 г. (в Семилетнюю войну). Фридрих, имея 21 000 пехоты, 11 000 конницы и 167 орудий, разбил австрийцев Карла Лотарингского, который имел 59 000 пехоты, 15 000 конницы, легкие войска и 300 орудий, на сильной по местности позиции. Фридрих атаковал австрийцев не с фронта, а во фланг. Австрийцы потеряли 21 500 чел. пленными, всю артиллерию и обоз.— *Ред.*

цифра потерь обычно достигала трети войска; при Колине пруссаки потеряли 37%, при Цорндорфе — 33% (русские даже 40%), при Куннерсдорфе — 35%, при Торгау — 27%. Подобные же потери в 1870 г. понесли отдельные прусские полки при Вионвиле и Сен-Прива; но то, что в XVIII столетии было правилом, в XIX столетии является редким и тяжелым исключением. Здесь следует еще учесть весьма существенную разницу, что у наемных войск не было видов на пополнение личного состава и материальной части. Самое большее, на что они могли рассчитывать, это на новую вербовку для похода в следующем году.

Уже этих указаний было бы достаточно, чтобы понять, что генералы XVII и XVIII столетий, принимая или предлагая битву, гораздо больше повиновались необходимости, чем собственному желанию. Еще внимательнее приходилось учитывать то, что преимущества, даваемые битвой, стояли в обратном отношении к тем потерям, которые она за собой влекла. Битва не решалась лишь потерями в людях — у победителей потери могли быть не только такими же, как у побежденных, но значительно выше, — главным образом она решалась военным и моральным потрясением вражеского войска, а этого можно было обычно достигнуть лишь упорным преследованием.

Никто не знал этого лучше, чем король Фридрих. Он говорил: не преследовать — это значит потерять преимущество, приобретенное в битве; преследование «важнее и полезнее битвы»; оно должно быть так упорно, чтобы каждая боевая единица врага была дезорганизована. Но король также знал, что он не мог преследовать со своим войском, отчасти вследствие линейной тактики, отчасти вследствие магазинного снабжения. Эти столпы наемного войска при преследовании окончательно рушились; сомкнутые ряды выходили из всякого повиновения. Победоносное войско начинало таять от всеобщего дезертирства, и тем неудержимее, чем дальше удалялось оно от своих магазинов. О преследовании, как после битвы при Иене и Ватерлоо, нельзя было даже думать, не только проводить его.

При условиях наемного войска стратегия на истощение являлась логической необходимостью и потому надежнейшим средством ведения войны. Если врагу во-время удавалось разрушить весной магазины, а зимние походы были почти невозможны, войско было парализовано в гораздо большей степени и на гораздо большее время, чем если бы оно понесло поражение в битве.

Вторая Силезская война особенно ярко показывает, насколько при данных условиях маневры были важнее битвы. В 1744 г., когда король Фридрих вторгся в Богемию, он был так искусно изгнан оттуда австрийским маршалом Трауно при помощи одних маневров, без единой битвы, что прусское войско, достигнув Силезии, оказалось в состоянии полного разложения. В течение месяца король висел на краю пропасти.

Когда летом 1745 г. австрийцы большими массами перешли через горы, чтобы овладеть Силезией, королю пришлось принять битву; в каком настроении и с какими намерениями он это делал, видно из его письма к министру Подевилю о принятом им решении: «Для меня нет другого выхода: битва при всех возможных условиях единственное, что мне остается. Это решительное средство должно определить участь больного в течение нескольких часов». И в самом деле, король победил 4 июня 1745 г. в четыре утренних часа при Годенфридберге, но после того как генерал, заведывавший продовольствием, высказал мнение, что продолжать преследование невозможно[1]; все результаты этой самой блестящей — после Лейтена — победы, одержанной когда-либо королем, выразились лишь в том, что австрийцы отошли на несколько миль обратно в Богемию, и оба войска в течение четырех месяцев после этого стояли друг против друга в полном бездействии. В конце концов королю пришлось оставить Богемию, несмотря на то, что он одержал у Зоры вторую, тоже совершенно бесплодную победу.

После всего сказанного совершенно неправильно говорить, что генералы этого периода «предпочитали» стратегию на истощение. О «предпочтении» не было даже и речи; им приходилось танцовать под дудочку тогдашней военной организации. Когда обоих королей, являвшихся во времена постоянных наемных войск самыми крупными полководцами, прусского Фридриха и шведского Карла, славословят за то, что они «предпочитали» будто бы стратегию сокрушения, то это смахивает на двусмысленный комплимент, что они вышли из дома сумасшедших. У шведского короля, по крайней мере в немецкой военной литературе, эта честь уже отнята; Фридрих же прусский все же должен красоваться как обогнавший свое время. Несмотря на то, что его военные сочинения являются прямо-таки учебником стратегии на истощение, он все же считался творцом стра-

[1] Вероятно, из-за продовольственных соображений.— *Ред.*

тегии сокрушения. Мы еще вернемся к вопросу, каким образом возникло это противоречие и как оно закончилось. В настоящее время — опять-таки с некоторым преувеличением — Фридрих начинает выставляться знатоком стратегии на истощение, в то время как Карл XII рисуется чудаком, который во времена дилижансов вздумал ездить на локомотиве.

В конце концов все это сводится к следующему: стратегия на уничтожение знает одну цель — битву, стратегия на истощение знает две цели — маневр (в самом широком значении этого слова) и битву. Маневры при меньшем риске дают более благоприятные возможности; наоборот, в битве на карту ставится очень много, с риском ничего не выиграть. Отсюда и получилось, что среди генералов, чувствовавших себя ответственными перед высшей инстанцией, легко развивалось предпочтение к маневрам, как, например, у маршала Дауна, которого водил на помочах венский придворный военный совет. Наоборот, генералы, ответственные лишь перед самими собой, охотно применяли «сокрушительные средства» даже и там, где были бы уместны более мягкие методы. Далеко не случайность, что подозрение в стратегии на уничтожение навлекли на себя как раз два короля, проявившие себя в этот период выдающимися полководцами. Их выпады так же мало принесли им пользы, как маршалу Дауну его сверхмедлительная тактика. И Карл XII под Полтавой и Фридрих II под Колином и Куннерсдорфом сели в хорошую лужу. Но все же они вели такую же стратегию на истощение, как и маршал Даун, метод которого даже противник его — сам король Фридрих — признавал «безусловно хорошим».

В конце концов не стоит и говорить о том, что стратегия на уничтожение и стратегия на истощение не различаются между собой, как высший и низший методы ведения войны, но сменяют друг друга согласно существующим историческим предпосылкам, и эти предпосылки не всегда должны быть и не всегда бывают одинаковы.

Швейцарская стратегия на уничтожение в XVI столетии имела совершенно другие предпосылки, чем наполеоновская стратегия на уничтожение в XIX столетии, а стратегия на истощение в XX столетии, естественно, имеет совершенно другие причины, чем стратегия на истощение в XVIII столетии.

XI

Характер постоянного наемного войска делает совершенно понятным тот всеобщий поход, который повело

буржуазное просвещение против этого войска. Я уже довольно пространно высказался по этому поводу в статьях, которые год назад опубликовал, «О милиции и постоянном войске», о чем я считаю нужным напомнить, чтобы не повторяться. Я высказывался также и относительно того переворота, который произвела в военном деле Французская революция, и должен здесь лишь бегло напомнить основные положения своей точки зрения.

На место вербовки выступила всеобщая воинская повинность. Она помогла покончить с линейной тактикой и магазинным снабжением, а вследствие этого в значительной степени повысила подвижность и боеспособность постоянного войска. «Большое количество войск позволяло Наполеону всегда использовать свою победу до крайних пределов и занимать целые государства. Для его проворных вольтижеров не существовало неприступных позиций; если же у врага действительно была подобная позиция, то Наполеону, не боявшемуся затруднений со снабжением, легко было обойти эту позицию, и если противник находился вне сферы его огня, то наполеоновская армия была достаточно многочисленна, чтобы продолжать наступательное движение мимо неприятеля и занять его территорию; противник поневоле должен был в конце концов выступить ему навстречу, чтобы не потерять всех своих владений» (Г. Дельбрюк).

Таким образом, Наполеон всегда мог вызвать неприятеля на столкновение и не только разбить его боевые силы, но и преследовать до полного уничтожения, вследствие чего он становился неограниченным господином положения. Из новой организации войска с такой же неизбежной логикой возникла стратегия на уничтожение, как из наемного войска возникла стратегия на истощение.

Конечно, при этом надо постоянно иметь в виду, что этот большой переворот в военном деле произошел лишь постепенно. Общая воинская повинность была тотчас же после своего введения ограничена правом откупа от нее представителей владельческих классов; даже в Пруссии, где она укоренилась весьма крепко, она очень долгое время по причинам экономическим существовала только на бумаге. Вместе с наемным войском исчезло и массовое дезертирство, а линейная тактика сменилась несравненно более превосходной стрелковой тактикой, заменившей битву в сомкнутых линиях боем в рассыпных строях; все же в 1813 г. наполеоновское войско тяжело страдало от дезертирства молодых рекрутов, а солдаты прусского ланд-

вера в том же году все еще массами разбегались из-под знамен. Наконец, и реквизиционная система имела свои недостатки. Из-за нее главным образом погибло французское войско в 1812 г. во время русского похода: хотя Наполеон, считаясь с малонаселенной и обширной страной, принял предусмотрительные меры для снабжения войска, этих мер оказалось все же недостаточно. Враждебное население добровольно ничего не давало, а насильственные реквизиции продовольствия приводили к систематическому грабежу и окончательно разрушали дисциплину французского войска во время зимнего похода 1812 г. Подобное же явление угрожало превратить прусский ландвер в «банду разбойников», по гневному выражению одного прусского генерала.

Но здесь, как и всегда, противоречия военной истории следует понимать не абсолютно, а относительно; от 1792 г. — начала французских революционных войн — до 1815 г., когда эти войны закончились битвой при Ватерлоо, эти противоречия так резко сталкивались друг с другом, что наполеоновская стратегия смогла получить громадные преимущества. Вряд ли стоит говорить, что она не была изобретена тем человеком, имя которого она носит. Если новая стратегия есть результат новой военной организации, а новая военная организация своей неизбежной предпосылкой имеет изменения экономических условий, то никогда ни одна самая гениальная голова не может выдумать новой стратегии. Эта стратегия, как это великолепно доказал Энгельс в своем сочинении «Анти-Дюринг» и как это признано даже буржуазными военными историками, применялась гораздо раньше американскими фермерами, защищавшими свою независимость от английских угнетателей; в более законченной форме она возникла в массах, вызванных к жизни Французской революцией при ее защите от феодальной Европы. Задачей гениальной головы является лишь учесть во-время то, что возникает из данного порядка вещей, и это возникающее развитие по возможности усилить, черпая теорию из практики и претворяя бессознательный инстинкт в сознательные действия.

Отсюда ясно, с другой стороны, что самая блестящая теория разбивается там, где отсутствуют практические предпосылки. Почти непонятный, но совершенно бесспорный факт, что еще в 1813 г., когда наполеоновская стратегия на уничтожение одержала около сотни побед подряд, почти все видные генералы объединившихся против Франции войск все еще тяготели к фридриховской системе на истощение: русский — Барклай-де-Толли, австрийцы —

Шварценберг и Радецкий, пруссаки — Бюлов и Йорк, даже французы — Бернадот и Жомини, которые сами дрались прежде под знаменами Наполеона, не говоря уже об англичанине Веллингтоне; последнему это непонимание можно простить скорее всего, потому что английское войско в это время все еще оставалось типичным наемным войском образца XVIII столетия. Единственным исключением являлись несколько прусских военных реформаторов, и в конце концов лишь один Гнейзенау, так как Шарнгорст получил смертельную рану в первой же битве, а Бойен вообще не имел выдержанной точки зрения в стратегии. И даже больше — насильнический образ действий Наполеона, проводившийся им в прусском государстве гораздо резче, чем в какой-либо другой стране, все же не мог заставить больше 6 человек из всего прусского войска понять, что дело идет о новой стратегии.

Принципы этой теории были выяснены лишь в 20-х годах прошлого столетия Клаузевицем — любимым учеником Шарнгорста. Он принадлежал к доиенскому поколению прусских офицеров, до 12 лет посещал городскую школу в Магдебурге, а затем вступил юнкером в пехотный полк. В течение всей своей жизни он не мог освоиться с некоторыми трудностями немецкой грамматики. Немножко сильно сказано, что его изложение обладает такой же красотой, как и язык Гёте, хотя в его языке есть, несомненно, известная красочность, которую он умеет украшать великолепными сравнениями. Манера его изложения скорее напоминает другого великого человека — Гегеля, хотя Клаузевиц не имел никакого философского образования и даже не подозревал о существовании философского научного языка.

Интересно отношение Энгельса к Клаузевицу. При первом знакомстве с книгами Клаузевица, несмотря на многие хорошие стороны их, «этот самородок» ему «не очень» понравился; затем Энгельс открыл в Клаузевице несколько «странную, но дельную манеру философствовать», наконец он назвал его весьма кратко «звездой первой величины» в области военной науки.

Как и все прусские военные реформаторы, Клаузевиц после битвы при Ватерлоо был несколько оттеснен на задний план; до 1830 г. он стоял во главе военной школы на такой должности, которая давала ему очень мало возможности влиять на воспитание войск. В это время он стал писать свои сочинения, не опубликовывая их: это был целый ряд военных исторических изысканий, главным обра-

зом о походах Фридриха и Наполеона, и большое неоконченное сочинение о теории войны. В 1830 г., когда на польской границе было сосредоточено несколько армейских корпусов под командой Гнейзенау, последний выбрал Клаузевица начальником своего генерального штаба, но вскоре оба они погибли от холеры.

В своем главном сочинении Клаузевиц рассматривает войну совершенно в духе, если даже не в выражениях, Гегеля как диалектический процесс; этот процесс развивается в противоречиях, которые постоянно объединяются в высшем единстве. Грубая и жестокая природа войны, а еще более свойственное автору историческое чутье предохраняли его от всякого идеологического заблуждения, хотя его исторические знания не были ни достаточно глубоки, ни достаточно широки. Наполеоновская стратегия была для него, конечно, единственным правильным классическим методом ведения войны; и если он вообще воспринимал войну как продолжение политики насильственными средствами и ставил перед ней политические задачи, то военной задачей для него все же оставалось уничтожение боевых сил врага, а битва являлась окончательной целью всей стратегии. Бой в войне был для него тем же, чем платеж в торговле. Как бы редко ни производились бои в действительности, все имело свою окончательную цель в них, и в конце концов они должны были произойти и разрешить положение.

Но несмотря на свою теоретическую предубежденность, Клаузевиц не допускал ошибочных суждений о стратегии хотя бы Густава-Адольфа или Фридриха; в каждом отдельном случае он пытался понять истинные причины, почему они поступали так, а не иначе; при этом он умел сочетать господствующие идеи того времени с существовавшими условиями их поступков. При тогдашнем состоянии исторического знания Клаузевиц, конечно, даже не мог понять, что стратегия Густава-Адольфа и Фридриха направлялась не господствовавшими идеями, но в последнем счете экономическими условиями того времени. Хорошо уже и то, что после вторичной переработки своего сочинения он пришел к ясному пониманию разницы между стратегией на уничтожение и стратегией на истощение.

Его сочинение было не только научным, но военным и, в известном смысле, политическим делом. Когда после войны 1866 г. один немецкий профессор с чисто профессорским глубокомыслием заявил, что при Кениггреце победил немецкий школьный учитель, один прусский генерал отве-

тил ему довольно метко: «Конечно, и этот учитель назывался Клаузевицем». Если теория вообще может что-нибудь дать для практического ведения войны, то победоносным походам прусского войска 1866 и 1870—1871 гг. все это дала военная теория Клаузевица. Каждый прусский офицер усвоил себе эту теорию. Легко можно видеть, насколько уменьшились и даже в значительной степени исчезли те «трения механизма», то неизвестное и непредвиденное, что ежеминутно случается на войне, после того как все офицеры войска усвоили, что́ именно каждый из них должен делать в определенный момент и в определенном случае.

Сорок лет прошло после смерти Клаузевица, прежде чем засияла эта «звезда первой величины». Но его ослепленные поклонники впали теперь в ту ошибку, которой он сам заботливо избегал: они толковали своего Клаузевица так, как верующие толкуют библию, и так как все его заключения сводились к принципу боя, то всякое ведение войны, не вытекавшее из этого принципа, казалось им непонятной глупостью. Образовалась привычка говорить о генералах XVII и XVIII столетий как о непроходимых идиотах, которые не могли понять того, что стало в конце концов понятно рассудку школьника. Конечно, при этом следовало бы обвинять и короля Фридриха, однако этого не делалось. Ведь он — так объясняют это себе — был выдающимся гением своего времени; он уже предвосхищал ту военную тактику, которую открыл лишь после него Наполеон; он является истинным основоположником стратегии на уничтожение. Этот способ доказательства достиг своей вершины в двухтомном сочинении, опубликованном старшим Бернгарди в 1878 г., — «Фридрих Великий как полководец». Бернгарди был военно образованным человеком; в 1866 г. он был послан Мольтке в главную итальянскую квартиру в качестве военного уполномоченного. Его книга о короле Фридрихе богата меткой наблюдательностью, но основная идея, красной нитью проходящая через книгу, просто бессмысленна.

Против него и против его единомышленников, среди которых находилось несколько офицеров генерального штаба, ополчился в 1881 г. Ганс Дельбрюк, выступив как доцент берлинского университета со вступительной лекцией на тему «О борьбе Наполеона со старой Европой». Эта лекция, несколько расширенная потом, была напечатана под заглавием «О различии стратегии Фридриха и Наполеона». Почти на том же количестве страниц, сколько томов обнимает собой сочинение Бернгарди, он вскрыл легковесность

его широковещательных доказательств и показал на основе анализа совершенно различных экономических предпосылок, при которых боролись Фридрих и Наполеон, что один из них так же принужден был проводить стратегию на истощение, как другой — стратегию на уничтожение. В позднейших своих сочинениях, в целом ряде военно-исторических статей, в своей биографии Гнейзенау и особенно в большом сочинении «История военного искусства в рамках политической истории», три толстых тома которого уже вышли, г. Дельбрюк в совершенстве выяснил оба основных метода ведения войны и для своего времени очень рано предсказал, что мировая война при современных условиях должна будет вестись по принципам стратегии на истощение. Естественно, этим его сочинения не ограничиваются; они содержат в себе много поучительного военно-исторического материала, так что г. Дельбрюк в настоящее время должен считаться самым выдающимся представителем военного знания. Он превосходит буржуазных историков своими техническими знаниями военного дела, а военных писателей — своим историческим образованием; в какой ужасающей степени даже признанные величины военной литературы лишены понимания часто самых простых исторических методов, видно из сочинений фельдмаршала фон-дер-Гольца.

Но г. Дельбрюк также имеет свое больное место — безграничную ненависть к историческому материализму. Это тем более удивительно, что всякое глубокое исследование в военно-научной области, как это показывают сочинения самого Дельбрюка, приводит к основам материалистического понимания истории. Но лодка, застигнутая в море бурей, тем энергичнее гребет против шторма, чем сильнее угрожает ей опасность быть выкинутой в открытое море. Историко-материалистическая теория не выдумана Марксом и Энгельсом. Если бы это было так, то эта теория на другой же день после своего возникновения лопнула бы, как мыльный пузырь, и не наводила бы больше страха ни на одного буржуа.

Задача гения, даже в этом случае, — не найти, но познать; из той исторической практики, которая была до них и будет еще развиваться и после них, почерпнули Маркс и Энгельс свою историческую теорию; стоит лишь сравнить буржуазно-историческую литературу настоящего времени с исторической литературой хотя бы середины прошлого столетия, чтобы увидеть, как непрерывно, независимо даже от появления теории исторического материализма, ее основные идеи завоевывают себе всеобщее признание.

Теория Маркса и Энгельса — не готовый шаблон для измерения бесконечных проявлений исторической жизни, но руководящая нить исторического исследования. С этой нитью Ариадны мы сумеем найти тот выход из лабиринта исторических событий, который может испугать буржуазного ученого, но без которого мы будем бродить бесцельно по кривым переулкам, блуждать в потемках или же, сделав круг, вернемся на то же место, откуда только что вышли.

Приведем хотя бы такой пример. Г-н Дельбрюк укрепил свое мировое имя военного историка своим сочинением, доказавшим, что король Фридрих только и мог следовать стратегии на истощение. С некоторого времени он защищает, однако, взгляд, что Фридрих, хотя ему и угрожала враждебная коалиция, начал Семилетнюю войну по собственному желанию, чтобы завоевать курфюршество Саксонию и вознаградить ее низложенного курфюрста королевством Богемией; последнюю же Габсбурги не могли отдать, не расшатав вконец своей власти. Этой теорией г. Дельбрюк далеко перещеголял своего противника Бернгарди, который хотя и держался высокого мнения о мнимой стратегии на уничтожение Фридриха, все же не допускал мысли о том, чтобы король думал или мог предполагать, что ему удастся продиктовать условия мира на валах Вены.

Без исторического материализма как руководящей нити исторического изыскания невозможно последовательное и цельное понимание истории. Только таким образом можно разрешить и те военно-исторические проблемы, которые выдвинуты на первый план современной войной: о наступательной и оборонительной войне, о сущности коалиционной войны и т. д.; сделав здесь ряд экскурсий в историю и попытавшись найти с их помощью основные линии правильного понимания, мы в ближайшее же время перейдем к рассмотрению вышеозначенных вопросов.

ВНЕШНЯЯ И ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА ФРИДРИХА II[1]

1. ДИПЛОМАТИЯ И СТРАТЕГИЯ ФРИДРИХА

Внешняя политика прусского военного государства обусловливалась его жизненными условиями. Оно не могло долго держаться, пока опиралось, не считая нескольких мелких рейнских провинций, на разобщенные друг от друга области — Бранденбург и Восточную Пруссию, из которых последняя к тому же находилась в феодальной зависимости от Польши. Освободиться от этой зависимости, обеспечить независимое положение между Польшей и Швецией, приобрести господство на Балтийском море, т. е. присвоить себе яблоко раздора между обеими державами, создать экономически и политически округленное государство путем приобретения других восточноэльбских колоний, именно Померании и Силезии, с захватом которых под владычество Пруссии подпала бы вся область р. Одера,— вот какова была прежде всего внешняя политика прусского военного государства, вытекавшая из сущности этого государства и осуществившаяся в известной степени стихийно. Большая или меньшая «гениальность» отдельных государей играла при этом роль лишь постольку, поскольку они умели более или менее понять неизбежный ход вещей; тем самым — по латинской поговорке — гениальность представляла им возможность добровольно следовать велениям судьбы вместо того, чтобы тащиться за нею против воли.

Мы видели, что еще курфюрст Фридрих-Вильгельм наметил план присоединения Силезии; оно должно было совпасть со смертью последнего Габсбурга. Лично он при-

[1] Печатаемая под этим названием статья Фр. Меринга представляет собой перевод VIII и IX глав первой части его «Легенды о Лессинге». Перевод сделан с «Die Lessing-Legende», изданной в 1893 г. в Штуттгарте издательством Дитц.— *Ред.*

обрел только суверенитет над герцогством Прусским, что послужило для его преемника, Фридриха I, основанием для королевского титула. С этой целью во время польско-шведских войн за господство на Балтийском море курфюрст становился то на одну, то на другую сторону с такой неразборчивостью в выборе средств, которая внушала некоторый ужас даже бранденбургским придворным историкам. Впоследствии курфюрсту удалось удержать за собой большую, но бедную гаванями часть Померании; другая же часть Померании с городом Штеттином оставалась в руках шведов. Дважды надеялся курфюрст захватить и эту часть Померании; дважды — при заключении Вестфальского мира и мира Сен-Жерменского — он должен был, к своей величайшей досаде, от этого отказаться.

Уже в 1646 г. он заявил, что не может отказаться и не откажется от Одера, так как это означало бы крушение его династии, и он шаг за шагом боролся за устье Одера. Но и противники его не хуже его знали, в чем нуждалось Бранденбургско-прусское государство. Как ни бесспорны были наследственные притязания курфюрста на всю Померанию, Франция, Австрия и Швеция противодействовали им в равной мере. Вместо того чтобы предоставить курфюрсту господствующее положение на Балтийском море, они предпочли заткнуть ему рот епископствами Каммин, Гальберштадт, Минден и правом на архиепископство Магдебургское, т. е. таким владением, которое по величине и по культурности далеко превосходило вышеупомянутую часть Померании. Все-таки курфюрст подписал Вестфальский договор с тяжким вздохом, сказав, что он желал бы лучше не уметь писать. Только внуку его, королю Фридриху-Вильгельму I, удалось благодаря крушению шведского короля Карла XII приобрести Штеттин и устье Одера, а также часть верхней Померании.

Мужское потомство Габсбургской династии прекратилось в 1740 г., через несколько месяцев после того, как Фридрих II принял бразды правления. Не гениальная идея и не желание произвести революционный переворот, а просто неуклонная политика прусского военного государства побудила короля проникнуть в Силезию, даже прежде чем Мария-Терезия успела отклонить его предложение мирно сговориться о бранденбургских притязаниях на отдельные части этой провинции. Об этих притязаниях Фридрих, конечно, говорит с иронией, так как единственно, чего он хотел, — это воспользоваться исключительным положением для того, чтобы округлить прусское государство настолько,

чтобы дать своему войску возможность держаться на уровне растущего могущества великих держав.

Он очень хорошо знал, что его наследственные притязания не встретят сочувствия в Вене, и предъявил их только из тактических соображений — частью для того, чтобы придать своей завоевательной политике «законный» оттенок, частью, учитывая опасения маршала Шверина и министра Подевиля; поэтому не приходится говорить о том, что он занял Силезию, еще не дождавшись категорического отказа из Вены. Но само собой разумеется, что эти «мирные» переговоры скорее служат веским доказательством против «революционного восстания». Если бы Мария-Терезия пошла навстречу предложениям Фридриха (помощь деньгами и оружием против всех ее врагов и голос Бранденбурга за выбор ее супруга в римские императоры) и если бы она согласилась на предложение Фридриха II и ради этого отказалась хотя бы только от южной Силезии, то Фридрих поддержал бы «габсбургское чужеземное господство», как говорят теперешние прекрасные лозунги, по мере своих сил.

Получив отказ в Вене, он должен был решиться на войну, которая отнюдь не походила ни на «революционное восстание», ни на «патриотическую реформу». Ибо, если Габсбургская империя была тенью папской милости, то Виттельсбахская, знамя которой теперь якобы нес Фридрих, существовала благодаря милости Франции, т. е. являлась тенью от тени. Напротив, союз с Францией против Габсбургов был старой политикой бранденбургского дома, — разве курфюрст Иоахим I в 1519 г. не обещал по договору немецкую императорскую корону французскому королю Франциску I, а курфюрст Фридрих-Вильгельм в 1679 г. не обещал того же французскому королю Людовику XIV?

Ко всему этому присоединяется еще один достопримечательный факт, что, собственно, не Фридрих завоевал Силезию, а его отец, тот преданный императору и империи государь, которого долгие годы водил на помочах имперский посол Секкендорф на посмешище всей Европе. Во время неумело подготовленного Фридрихом сражения при Мольвице[1], после нескольких успешных нападений австрийской конницы на прусскую, Фридрих постыдно и

[1] Мольвиц (в Силезии) — сражение 10 апреля 1741 г. между войсками Фридриха II и австрийцами. Австрийская конница вначале имела успех. Фридрих со своей конницей бежал, но прусская пехота ружейным огнем и стойкостью выиграла сражение; австрийцы отступили.— *Ред.*

преждевременно бежал, тогда как прусская пехота, вымуштрованная Фридрихом-Вильгельмом I и принцем Дессау, стояла, как стена, и решила победу без особого участия высшего командования. Столь же неудачно было первое выступление Фридриха в качестве дипломата. В договоре в Клейншеллендорфе он предал Австрии своих французских союзников, допустил австрийское войско «в обмен на ключи одной единственной крепости, которая, в сущности, не была способна дать отпор», напасть на его французских союзников, которые — как сам он сообщает в своих записках — не давали ни малейшего повода к разрыву. О моральной стороне дела не стоит много разговаривать; Франция и Пруссия стремились к одному — ослабить Австрию, однако лишь настолько, чтобы благодаря этому не усилить чрезмерно своего союзника. Трудно сказать, Фридрих ли надувал французов чаще, или они его, так как протест союзников по поводу «вероломства» Фридриха обыкновенно не носил характера благородного негодования, — это был крик возмущения мошенника против мошенничества других.

Фридрих уже понимал крылатое словечко Гёте, — он перефразировал его в письме к Подевилю следующим образом: «Раз должно произойти надувательство, то шельмами будем мы». Но договор в Клейншеллендорфе был такой плутней, при которой Фридрих, желая обмануть, сам был обманут, а дипломат не может сделать худшей ошибки, чем предать своих союзников с ничтожной пользой для себя и с величайшей выгодой для общего врага. В это время Фридрих заслужил упрек, не снятый в дальнейшем его дипломатией, именно в том, что он предпочитает ничтожную выгоду момента огромным преимуществам в будущем.

Скорее можно понять второе предательство им своих союзников, когда Фридрих заключил сепаратный мир в Бреславле, по которому Мария-Терезия, особенно под давлением английской дипломатии, уступила ему Силезию, чтобы отделаться от опаснейшего врага и развязать себе руки для борьбы с остальными противниками, конечно, с затаенными мыслями о будущем.

Эти предпосылки были столь ясны, что легко понять, почему в 1744 г., когда Мария-Терезия достигла в тогдашней войне за австрийское наследство блестящих побед над Францией и виттельсбахским призраком императора, Фридрих заключил новый союз с Францией и предоставил в качестве имперского вассала свои вспомогательные от-

ряды императору, честь и достоинство которого были тяжело оскорблены. Но и на этот раз он совершил большую дипломатическую ошибку, тайком выговаривая для прусского государства хорошенький кусочек королевства Богемии, которое он намеревался завоевать для своего суверена.

Тайна была разоблачена и выставила короля с морально-политической стороны весьма невыгодно, и все это ради несбыточной мечты. Это был один из тех случаев, когда Фридрих переоценивал свои силы. Ибо, насколько легко было присоединить к прусскому государству Силезию при ее географическом положении и экономических условиях, настолько невыполнима была эта задача в отношении хотя бы даже части Богемии. С завоеванием этого королевства Фридрих получил очень тяжелый урок. На этот раз его французские союзники покинули его на произвол судьбы, и старый маршал Траун, которого Фридрих постоянно восхвалял с приятной почтительностью как своего учителя в военном деле, прогнал его через силезскую границу, почти совершенно уничтожив прусское войско.

Зима 1744/45 г. была для Фридриха особенно тяжелым временем. Если он, по свидетельству иностранных послов, внешне возмужал, то внутренне освободился от всех иллюзий, которыми его в области внешней политики до сих пор обманывали честолюбие и жажда славы, или, как он выразился, «скрытые инстинкты». Хотя он в 1745 г. в целом ряде боев и сражений победил австрийцев при помощи своего восстановленного войска, однако он все-таки согласился в конце года, к великому изумлению Франции и сначала недоверчивому, а затем радостному изумлению Австрии, на второй сепаратный мирный договор при условии, что за ним будет закреплено право на обладание Силезией. И после исполнения этого условия он возвратился в свое государство, решив во всю свою жизнь «не дразнить кошки».

Не подлежит ни малейшему сомнению, что это решение короля было совершенно серьезно. Правда, когда спустя 11 лет разразилась Семилетняя война, на него тотчас посыпались упреки, что он взялся за оружие с честолюбивым и легкомысленным намерением, и, казалось, это обвинение имело тем большее значение, что оно исходило прежде всего от братьев Фридриха и что большинство его генералов и министров тайно соглашалось с этим. Внезапное нападение его на Саксонию и беспощадное разграбление этой страны являлось также, повидимому, бесчестным нарушением мира. Однако король решился на насильственный шаг в высшей

степени неохотно и только под неумолимым давлением обстоятельств.

Вследствие измены саксонских и австрийских чиновников он был в продолжение многих лет постоянно документально осведомляем о переговорах между Австрией, Саксонией и Россией, которые намеревались напасть на него и сломить растущее могущество прусского государства. Факт этих переговоров неоспорим и был таковым уже тогда, но прусские принцы полагали, что из всего этого ничего не вышло бы, если бы не преждевременное выступление короля. Это, конечно, было возможно, и, основываясь на этой возможности, король с напряженным вниманием, но вместе с тем и с безмолвным спокойствием следил все время за австро-саксонско-русскими переговорами.

Между тем существовала противоположная возможность, которую Фридрих не решался превратить в действительность, так как она поставила бы его в крайне затруднительное положение. И эта возможность превратилась в действительность, когда столкновение экономических интересов Англии и Франции в североамериканских колониях вылилось в открытую войну и вместе с тем началась война внутри Германии, ибо нападение Франции на Ганновер, как на самое больное место Англии, было понятно само собой. Франко-прусский союз окончился в июне 1756 г., и попытки Фридриха возобновить его потерпели неудачу. Это объяснялось отнюдь не дружественными отношениями Марии-Терезии и враждебными отношениями Фридриха к Помпадур, ибо даже в абсолютистской Франции XVIII столетия при решениях великих политических дел к подобного рода вещам относились легко, как к чему-то неважному, или, говоря юридическим языком, как к «побочному обстоятельству».

Объяснялось это тем, что для обеих сторон оправдались их расчеты. Правда, при французском дворе существовала еще сильная партия, верная заветам Ришелье и Мазарини и видевшая в раздробленности Германии, а следовательно и во вражде Пруссии к Габсбургам, источник могущества Франции; партия эта, желая закрепить союз, направленный против габсбургской монархии, еще раз добилась отправки посла для переговоров в Берлин, но этот посол, герцог Ниверниуа, требовал так много и предлагал так мало, что Фридрих счел невозможным вести переговоры. Герцог, например, предложил остров Тобаго за военную помощь Пруссии в надвигающейся войне с Англией,— на это Фридрих возразил с вполне понятной иронией: «Остров Тобаго?

Может быть, вы еще предложите остров Баратарию,— но ради него я не стану разыгрывать роль Санхо Панса». В те времена прусской политике еще были незнакомы хвастливые фанфаронады г. Бисмарка, которые захват какого-нибудь песчаного или болотистого местечка в тропических странах рисовали как великое национальное дело.

Итак, чтобы не оказаться вполне изолированным, Фридрих заключил с Англией 16 января 1756 г. в Вестминстере конвенцию о нейтралитете — обоюдное соглашение прогонять силой всякую вооруженную иностранную державу, которая вступит на немецкую территорию. В противовес этому 1 мая того же года последовал французско-австрийский оборонительный договор, и Австрия начала энергично вооружаться. Тогда он сделал два раза дипломатический запрос в Вену, сначала о целях этого вооружения, а потом по поводу того, гарантирован ли он в текущем и будущем году от нападения Австрии. Оба раза он получал уклончивые, ничего не говорящие и почти язвительные ответы, и теперь, в силу своеобразного духа, свойственного прусскому военному государству, он не мог уже дольше медлить. По удачному выражению Карлейля, его меч был неизмеримо короче, чем у Франции и Австрии, но он обнажал его в три раза скорее, чем эти державы, и он отнюдь не мог ждать, пока это значительное, но в то же время единственное преимущество его перед противниками, превосходящими его во всех отношениях, превратится в фикцию. С точки зрения интересов Фридриха и интересов его государства — а эта точка зрения, по его субъективному убеждению, все-таки была решающей, — можно было бы скорее сказать, что он уже слишком долго медлил и по крайней мере мог обойтись без второго запроса в Вену.

Может быть, он и сделал бы это, если бы ему не было выгодно начать кампанию поздней осенью, чтобы по крайней мере в том же году не увидеть французское войско на своей территории. Во всяком случае, его плану — поразить быстрым ударом опаснейшего и ближайшего врага, саксонцев и австрийцев, так, чтобы они охотно согласились на продолжительный мир,— встретилось препятствие в том, что саксонцы сумели в последний момент стянуть свои войска на скалистую позицию у Пирны.

Таким образом, Семилетняя война действительно не была просто прусской завоевательной войной, но тогда чем же она была? Буржуазные прусские историки отвечают: продолжением Тридцатилетней войны, религиозной войной, окончательным спасением свободы немецкой мысли, дей-

ствительным основанием национального немецкого государства и еще целый ряд блестящих, громких слов.

Оставим в стороне бессодержательные тирады и остановимся на этой войне как религиозной — это определение имеет по крайней мере некоторый смысл. Тут все, кажется, ясно, как на ладони. После группировки держав в войне за австрийское наследство и в первых силезских войнах Франция и Пруссия с одной стороны, Англия и Австрия — с другой после этих «светских» войн, во время которых религии были перетасованы, мы имеем теперь дело с «религиозной» войной, в которой религии строго разделены: католические государства, Франция и Австрия, с благословляющим папой на заднем плане с одной стороны против протестантских Англии и Пруссии — с другой. Там — тьма, средневековье, духовное рабство; здесь — свет, будущность, свобода духа; там — романское вырождение либо славянское варварство; здесь — цивилизация под германским знаменем. Жаль только, что война возникла не из-за религиозных, а из-за торговых столкновений между Англией и Францией; жаль только, что она окончилась политической гегемонией действительно варварского государства[1] над одним из «борцов за свет и свободу», и притом гегемонией, в которой, исходя из торгово-политических соображений, был заинтересован и другой из этих «борцов за свет и свободу».

По Вестминстерскому договору, который последовал через год за упомянутой уже конвенцией о нейтралитете, Англия обещала, кроме уплаты субсидии Пруссии, послать в Балтийское море флот из восьми линейных кораблей и нескольких фрегатов и, если понадобится, то еще разные суда. Соглашение было ясно и недвусмысленно, как и его цель: английский флот в Балтийском море должен был удержать за Фридрихом Восточную Пруссию и Померанию; а путем заграждения русских гаваней и уничтожения русской торговли он, прежде всего, должен был отнять у этого варварского государства охоту вмешиваться в европейские дела.

Но Англия и не подумала послать в Балтийское море хотя бы одну вооруженную лодку; она даже оставила на все время войны посольство в Петербурге. Решающее значение имели не интересы протестантского союзника, а интересы английской торговли. В это время Англия еще не владела Индией; ее североамериканские колонии были еще мало устроены и заселены; поэтому ни один английский министр не решался портить условия торговли на Балтий-

---

[1] Царской России.—*Ред.*

ском море. Когда английский министр Питт захватил власть в свои руки, он совершенно не скрывал от прусского короля, что тот не должен рассчитывать на исполнение Вестминстерского договора: поддержка английским народом протестантского дела и Фридриха в частности ничего не меняет в том обстоятельстве, что всякое министерство, которое послало бы военный флот в Балтийское море, наверное лишилось бы большинства в парламенте.

Умные государственные люди знают довольно хорошо, что миром управляют экономические факты, и между собой они не делают из этого тайны. Они предоставляют облечь это в идеологическую форму государственным историкам, которых, к счастью просвещенного и просвещающегося человечества, еще немало у всех народов.

Торгово-политические интересы английской нации дали решающий поворот Семилетней войне. Гарантированное от каких-либо нападений, русское царское правительство могло направлять свои дикие завоевательные и хищнические инстинкты по собственному усмотрению. Оно позволило себе роскошь — три раза изменить свою позицию в Семилетней войне. В течение первого и наиболее продолжительного периода русская армия действовала против Пруссии, приобрела полностью всю провинцию Восточной Пруссии, зверским образом опустошила Померанию и Бранденбург. Почти всегда она разбивала наголову прусские войска, и даже битва при Цорндорфе была скорее нерешительным сражением, чем победой Фридриха,— словом, Россия поставила прусское правительство на край гибели, согласно принятому русским сенатом уже в 1753 г. «незыблемому постановлению» не только противиться всякому дальнейшему росту прусского могущества, но и, воспользовавшись первым удобным случаем, превосходными силами подавить бранденбургский дом и вернуть его к прежнему скромному положению.

Но, очевидно, это постановление, принятое под влиянием спившейся и неистовой царицы Елизаветы, шло дальше цели; в интересах России было не политическое уничтожение прусского государства, а политическое подчинение его; Пруссия должна была стать не конкурентом России, а ее вассалом, но при этом она должна была попрежнему оставаться стрелой в теле Австрии; этого требовали завоевательные стремления России, — все равно, были ли они направлены на Польшу, Турцию или даже самую Германию. Можно точно проследить, как русские генералы, вопреки воле царицы, всегда остерегались наносить последний смертельный удар прусским войскам, что им было легко

сделать, например вскоре после сражения при Куннерсдорфе.

После внезапной смерти царицы Елизаветы был заключен русско-прусский союз, который представлял собой не что иное, как глупый каприз глупого Петра III. Лессинг называет его (Петра III) жалким фигурантом, призванным в личине бога разрубить узел кровавой драмы. Но только Екатерина II распутала этот узел. Когда эта умная особа предательски убила своего супруга Петра и, не имея на то никакого права, вступила на русский престол, она поняла русские интересы. Своим нейтралитетом она заставила прекратить Семилетнюю войну ввиду полного истощения сил и пожала плоды в виде русско-прусского союза 14 апреля 1764 г., в тайных статьях которого был уже намечен раздел Польши.

Король Фридрих, которому против русской бесцеремонности нехватало толстокожести Бисмарка, чувствовал себя в глубине души униженным ролью русского сатрапа, но он не мог противостоять этой «страшной силе», он должен был поддерживать своей субсидией турецкие войны, которые вела Екатерина; он должен был принять на себя большую часть ненависти при первом разделе Польши и получить меньшую часть добычи; вместе с Австрией в 1779 г., по миру в Тешене, которым окончилась война за баварское наследство, он должен был признать Россию «поручительницей за Вестфальский мир».

Действительно, эта война была второй Семилетней, но совершенно в другом смысле, чем думают прусские мифологи. Семилетняя война, как и Тридцатилетняя, окончилась полной неудачей попытки подчинить Германию господству габсбургской католической империи. Семилетняя война, как и Тридцатилетняя, окончилась общим истощением; опустошение Германии как после той, так и после другой войны было одинаково велико,— так по крайней мере утверждает король Фридрих. Как Тридцатилетняя война окончилась «гарантией Вестфальского мира» со стороны Франции и Швеции, т. е. правом свободного их вмешательства в немецкие дела, иначе говоря, чужеземным господством двух культурных народов, так и Семилетняя война окончилась «порукой за Вестфальский мир» со стороны России, чужеземным господством варварского государства; несчастные последствия этого господства не устранены еще до настоящего времени, так как на устранение их стало возможно надеяться вообще только с тех пор, как немецкий пролетариат проснулся для сознательной политической жизни.

Прежде всего замечательно, что благодаря этой Семилетней войне духовная жизнь немецкого народа впервые приобрела «высший жизненный смысл».

2. К ПСИХОЛОГИИ СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ

Часто говорят: каковы бы ни были результаты Семилетней войны, но тот факт, что прусский король совершенно один в течение семи лет почти с сверхчеловеческой гениальностью выдерживал натиск всего враждебного мира и разбил наголову всех врагов, так долго хозяйничавших на немецкой земле: русских и венгров, французов и шведов,— несомненно, снова пробудил национальный дух немецкого народа или по крайней мере его протестантского большинства. В действительности такого рода соображения сродни словам Гёте о «более высоком жизненном содержании». Теперь спрашивается: так ли смотрели на это современники и действительно ли «патриотические военные подвиги» Фридриха пробудили в них этот национальный дух, из которого возникла будто бы наша классическая поэзия?

Если бы Фридрих прочел это рассуждение, оно было бы ему столь же понятно, как и язык ирокезов. Его лучшее качество — серьезное и трезвое отношение к вещам — постоянно спасало его от всякого рода хвастовства; ему хотелось быть не более как полководцем своего времени, — и действительно, ничего большего он собой и не представлял. Правда, эти идеологические преувеличения недавно нашли сильный отклик и в прусской военной литературе.

Уже 10 лет, как в ней, не к чести классического военного государства, ведется ярая полемика по поводу того, придерживался ли Фридрих вследствие своей гениальности, опередившей эпоху на 50 или 100 лет, наполеоновской стратегии, которая главную и единственную цель видит в том, чтобы в сражении разбить неприятельское войско, или же он вел, держась тактики своей эпохи, осторожную, медленную, методическую войну. В таких войнах старались занять наиболее выгодное по отношению к неприятелю положение, разрушая операционные магазины, служащие для надобностей войск врага, захватывая ту или иную область или крепость, и при помощи разных искусных маневров, «оттеснений», «ложных тревог», «диверсии» и т. д. вытесняли врага с позиций, причем битва являлась чрезвычайным средством, чем-то вынужденным; к битве прибегали только в крайнем случае или разве тогда, когда можно было наверняка добиться значительной выгоды.

Теперь можно обойтись без других размышлений, чтобы признать, какое суждение верно. Наполеоновская стратегия основывается на народной армии, на стрелковой тактике, на реквизиционной системе; предпосылкой ее являются массовые армии, быстро двигающиеся вперед, ведущие стрелковый бой, т. е. такие, которые могут сражаться в любом месте и производить реквизиции и существовать, добывая себе продовольствие непосредственно у населения.

Войско прошлого столетия было наемным и как таковое было связано с линейной тактикой и магазинным снабжением. Вследствие дороговизны вербовки его невозможно было увеличить сверх определенной нормы. Его можно было вести в сражение не иначе, как в сомкнутых линиях, удерживая палками и угрожая пулями офицеров; поэтому оно могло сражаться только на открытом, ровном месте, представляя собой нечто вроде механической стрелковой машины, вследствие чего главной целью муштровки была скорость стрельбы, которую Фридрих в конце концов довел до шести выстрелов в минуту с зарядом для седьмого. Оно (это войско) должно было, наконец, строго охраняться в лагерях и получать продовольствие от своих военачальников; его передвижение связано было с магазинами и пекарнями, и вследствие этого его свобода передвижения была очень стеснена.

Если бы Фридрих попытался с этим войском держаться наполеоновской тактики и если бы он позволил своим наемникам сражаться врассыпную, то в тот же самый день его войско разбежалось бы на все четыре стороны. Или если бы он позволил своим наемникам добывать себе пропитание при помощи реквизиции, то, по очень удачному выражению одного из позднейших военных историков, по крайней мере часть его войска немедленно превратилась бы в грабительскую шайку.

Психологическая невозможность держаться наполеоновской стратегии была для Фридриха едва ли не больше, чем практическая. Он не мог даже мечтать об этом, как не могло ему притти в голову устроить полевую железную дорогу или полевой телеграф. И величайший военный гений не может выдумать такую новую стратегию, которая не определялась бы в конечном счете экономическим развитием.

Стратегия называется наполеоновской не потому, что ее изобрел Наполеон, а потому, что в наполеоновских войнах она достигла высшего совершенства. Она возникла сама собой в американскую войну за независимость. Во время этой войны английские наемные войска столкнулись с ин-

сургентами, которые сражались за свои кровные интересы, следовательно не дезертировали, как наемные войска; они не были обучены, но тем лучше могли стрелять из своих винтовок и вследствие этого нападали на англичан не в сомкнутых линиях и не на открытой местности, а в рассыпном строю, под прикрытием лесов.

Большой заслугой Фридриха является уже то, что он зорко следил за американской войной, чтобы на ней учиться. Правда, довольно иронически звучит, когда он пишет 3 ноября 1777 г. своему брату Генриху: «Мы следим за Вашингтоном, Гоу, Бургойном, Чарлтоном, чтобы научиться от них этому великому военному искусству, которого никогда не исчерпаешь, для того чтобы смеяться над их глупостями и оценить то, в чем они поступают по правилам». Но непогрешимость этих «правил», повидимому, стала для него все-таки сомнительной, а «глупости» Вашингтонов — весьма поучительными, так как незадолго до своей смерти он приказал сформировать несколько батальонов легкой пехоты из местных жителей; эти батальоны должны были применяться к местности и быть более подвижны и свободны, словом, получить более охотничью подготовку.

Этим Фридрих далеко опередил ученых военных теоретиков своего времени и всех своих офицеров. Они не поняли новой стратегии даже тогда, когда уже имели с ней дело на практике, когда во время французских революционных войн 90-х годов толпы поселян, собравшихся отовсюду защищать свои социальные интересы от эмигрантов, возвратившихся с австрийско-прусским наемным войском, сражались подобно тому, как сражались американские фермеры и охотники с английскими наемниками.

Пророческим взглядом поэта Гёте понял знамение времени, когда он после канонады при Вальми сказал прусским офицерам: «Здесь сегодня начинается новая эпоха всемирной истории, и вы можете сказать, что при этом присутствовали». Но его слушатели не поняли его, за что нельзя их очень осуждать, так как сам Гёте только чувствовал, но не понимал хорошенько того, что говорил, — иначе как же мог бы он спустя 20 лет обнаружить в Семилетней войне «новое жизненное содержание».

Однако даже такие повторные опыты ничему не научили прусских офицеров; наемные войска во всех столкновениях имели большое тактическое превосходство над французскими волонтерами, но все-таки не могли победить Францию. В этом факте нельзя было сомневаться, между тем никто не был в состоянии определить его причины; тактику

французов рассматривали как бессмысленный беспорядок, пренебрегавший всеми испытанными способами военного искусства; но как бы то ни было, а считаться с ней надо было.

Знаменитый генерал фридриховской школы, князь Гогенлоэ-Ингельфинген, в 1794 г. давал совет заключить мир с французами; от продолжения войны, по его мнению, нельзя было ждать ничего хорошего, так как «что же поделаешь с глупцами!» Точно таким же образом выражается официальный австрийский документ, говоря, что «при обыкновенном течении вещей» французы были бы побеждены, но они всегда прорываются со «страшной силой», как «бурный поток».

Еще во время войн 1813—1815 гг. среди генералов европейской коалиции рядом с преждевременно павшим Шарнгорстом вполне на высоте наполеоновской стратегии стоял только один Гнейзенау; поэтому он принужден был вести отчаянную борьбу со своими прусскими подчиненными, Бюловым и Йорком, и был сучком в глазу союзных монархов, военные советники которых — с прусской стороны Кнезебек, с австрийской Дука и Лангенау — целиком опирались на военные воззрения XVIII столетия; в дворцовых кругах смеялись над штабом Гнейзенау точно так же, как в свое время над лагерем Валленштейна.

Даже при Ватерлоо в английской армии применялась линейная тактика, что совершенно логично, так как это войско состояло из наемников. И битва была бы, несомненно, проиграна, если бы не явились во-время пруссаки под командой Блюхера и Гнейзенау. Наполеоновская стратегия вошла в кровь и плоть прусского войска только спустя десятилетия благодаря классическим произведениям Клаузевица, и один прусский генерал, присутствовавший при нелепой беседе о прусском учителе, победившем при Кениггреце, заметил очень метко: «Конечно, и этот учитель назывался Клаузевицем».

Гениальность полководцев есть вообще своеобразная вещь. Энгельс в своем произведении против Дюринга[1] рассказывает, как при Сен-Прива (1870 г.)[2], где сражались две армии в одинаковом по существу тактическом строю, рот-

---

[1] Энгельс, Анти-Дюринг. — *Ред.*

[2] Сен-Прива — атака этого селения немецкой гвардией 18 августа 1870 г. замечательна тем, что здесь впервые обнаружилась сила огня нового нарезного ружья (французское Шаспо) и несоответствие этому боевых порядков пехоты (ротных колонн). С этой атаки пехота перешла к рассыпному строю. — *Ред.*

ные колонны немцев под ужасным огнем из ружей Шаспо рассыпались в густые стрелковые цепи; в сфере неприятельского ружейного огня единственным способом передвижения солдат сделался беглый шаг. Далее он продолжает: «Солдат опять оказался разумнее офицера; он инстинктивно нашел единственную форму борьбы, возможную под огнем заряжающихся с казенной части ружей, и успешно повел ее вопреки упорству своих начальников».

Это звучит весьма непочтительно, но то же, только несколько другими словами, отнюдь не заимствуя у Энгельса, говорит прусский генеральный штаб, когда он устами одного своего даровитого члена заявляет о французских революционных войсках следующее: «Понятно, что стрельба врассыпную не была предписана их уставом, потому что последний во всех отношениях походил на прусский. Битва врассыпную была французам не предписана, а явилась сама собой; нужда породила добродетель, а так как последняя соответствовала реальным соотношениям, то она сделалась силой».

Положение Маркса, что не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, бытие определяет их сознание, находит себе особенно яркое подтверждение в области истории войн. Чем сильнее и непосредственнее соприкосновение с бытием, тем яснее и быстрее развивается сознание. В войне солдат быстрее офицера поймет положение вещей и будет инстинктивно действовать сообразно с этим пониманием, и наивысший «гений» полководца состоит в том, чтобы понять внутренние побуждения инстинктивных действий солдат и самому действовать сообразно этому пониманию.

Как тяжело это дается даже знаменитым генералам, можно видеть из документов и дневников Карно, Дюмурье, Гоша, Гувион-Сен-Сира и других офицеров, которые обучали добровольцев Французской республики и вели их в бой. По этим свидетельствам, которыми потом так усердно пользовались с целью изгнать из прусской армии, несмотря на 1813 и 1814 гг., народный элемент, добровольцы были совершенно подобны рекрутам Фальстафа, и все же австрийские и прусские образцовые войска разбились о преграду, которая была им противопоставлена в виде этих «жалких» отрядов.

Вся история войн может быть только тогда понятна, если ее свести к ее экономическим основаниям. Если же считать движущим их рычагом большую или меньшую «гениальность» полководцев, войны превращаются в исторический роман. Наиболее образованные из генералов XVIII столетия

прекрасно понимали значение народного вооружения. Это было открыто высказано маршалом саксонским, графом Цур-Липпе; это высказал также и Фридрих, будучи кронпринцем, в своем «Анти-Макиавелли». Он даже сделал вывод: «Римляне не знали дезертирства, без чего не обходится ни одно из современных войск. Они сражались за свой очаг, за все наиболее им дорогое; они не помышляли достигнуть великой цели позорным бегством. Совершенно иначе обстоит дело у современных народов. Несмотря на то, что горожане и крестьяне содержат войско, сами они не идут на поле битвы, и солдаты должны быть набираемы из подонков общества, и только при помощи жестокого насилия их можно держать в строю».

Даже если называть «гениальностью» то, что Фридрих и другие военные его времени понимали всю ненадежность наемного войска, то эта «гениальность» ничего не изменила в стратегии и тактике войн при помощи наемников, и даже особого теоретического значения не могло иметь то обстоятельство, что ученые стратеги великих военных держав понимали военную мощь народного ополчения и что они отдавали ему предпочтение в своих учебниках.

Вместе с изменением экономических условий изменяется также и устройство войска, причем в самой природе вещей заключается то, что практика массы гораздо скорее приспособляется к изменившимся условиям, нежели теория отдельных лиц. Поэтому офицеры учатся у солдат, а не солдаты у офицеров. Американские и французские крестьяне изобрели стратегию XIX столетия, и большой смысл имели слова старого Циглера, сказанные им во время военных дебатов в немецком рейхстаге: «Так называемые профессионалы всегда срамились». Они срамились всегда, когда военная компетенция желала обойти последствия экономического развития. Фридрих достиг своих успехов, потому что он знал, что в его время возможно только наемное войско, хотя прекрасно понимал преимущество войска народного; после его смерти наиболее компетентные офицеры его войска, независимо от их личных способностей к военной службе, имели различную судьбу, смотря по тому, умели ли они приспособить свои теоретические знания к изменившимся экономическим условиям и умели ли они учиться у своих солдат или нет.

В более позднее фридриховское время к наиболее значительным офицерам его штаба принадлежали капитан фон-Штойбен и майор фон-Беренгорст. Оба испытывали «немилость» короля, с недоверием относившегося к духовно ода-

ренным офицерам, и оба покинули прусское войско. Штойбен отправился в Америку, где он, как известно, оказал большие услуги при военной организации восставших. Здесь в 1793 г. он сказал немецкому военному писателю фон-Бюлову, что французские добровольцы, доблести которых не понимали даже их собственные генералы, вели такую же войну, как и американские повстанцы, и были так же непобедимы.

Беренгорст более не поступал на военную службу, но он написал свои знаменитые заметки о военном искусстве, в которых подверг резкой критике, подтвержденной потомством, фридриховское войско. Совершенно верно сказал он о Фридрихе: «Он прекрасно понимал, как обращаться с машиной, но не понимал, как ее строить». Беренгорст осуждал «крайнюю грубость, жестокость и рабство военной службы», «убожество и уродливость искусства парадов». Но все же этот проницательный наблюдатель настолько не понимал истинной сущности этих вопросов, что еще спустя два года, после битвы при Иене, писал, что «новый гений тактики» должен изобрести «какое-либо лучшее средство», чтобы сломить наполеоновскую стратегию.

Наша мысль подтверждается еще лучше на судьбе двух знаменитых генералов. Если в прусском войске когда-либо был гениальный полководец и организатор, который собственными усилиями, несмотря на все юнкерские происки, несмотря на свое крестьянское происхождение, достиг высшего поста, но все же был душой связан с народом и был свободен от различных предрассудков, то это был Шарнгорст.

Целых 10 лет до Иены[1] работал он с величайшим напряжением над реформой прусского войска, но, живя среди этого войска, Шарнгорст, несмотря на теоретическое изучение наполеоновских походов, остался верен фридриховской стратегии. Только во время осенней кампании 1806 г., когда он лично видел маневрировавшие французские войска в последних передвижениях перед битвой при Иене, которой он в качестве начальника прусского генерального штаба должен был сам руководить, с его глаз как бы спала завеса. Он тотчас же попытался перенять превосходную стратегию французов, но его попытки были безрезультатны при тогдашнем составе прусского войска.

[1] Иена (в Германии, на р. Заале) — сражение 14 октября 1806 г. между французской армией Наполеона и частью прусской армии Гогенлоэ. Пруссаки были разбиты, потеряли 12 000 чел. убитыми, 15 000 чел. пленными и 200 орудий.— *Ред.*

Никакой военный «гений» не мог предупредить окончательного поражения прусского войска. Действительный гений Шарнгорста проявился здесь в том, что он понял истинную сущность вещей и вел в продолжение семи лет почти нечеловеческую борьбу с невероятно ограниченным королем и с невероятно своекорыстным классом юнкеров, пока наконец не организовал прусского войска соответственно новым условиям экономики, что дало ему возможность вновь бороться с французским войском. Шарнгорст, так же как и его друзья Гнейзенау, Бойен, Грольман, требовал освобождения крестьян по меньшей мере так же энергично, как и Штейн, Шен, Гарценберг.

Только один полковник Йорк со своим егерским полком отличился во время позорного бегства после Иены при счастливых стычках при Альтенцауне и Варене; это были единственные маленькие успехи, которые имело прусское войско за все время этой войны. Йорк разбил французские части, преследовавшие его, их же собственной стрелковой тактикой. Но Йорк был во всем абсолютной противоположностью Шарнгорсту: он был офицером старой школы, желавшим полностью сохранить армию Фридриха. Это был сумрачный человек, желчный последователь железной дисциплины, кошубский юнкер со всеми ограниченнейшими предрассудками этого класса.

Он выслужился в той легкой пехоте, которую Фридрих организовал незадолго до своей смерти, и хотя в общем и эти батальоны не могли освободиться от условий существования фридриховского войска и поэтому скоро превратились в такие же неповоротливые линейные войска, как и другие части, но все же был один полк в прусском войске, который находился в приблизительно сходных экономических условиях с французскими войсками, а именно: егерский полк, во главе которого за несколько лет до Иены был поставлен полковник Йорк. Этот полк был организован Фридрихом во время Силезской войны, чтобы иметь подвижный отряд против кроатов и пандуров, находившихся в австрийском войске; для этой цели, само собой разумеется, надо было привлечь не иностранных наемников или крепостных крестьян, а таких людей, которые сражались бы ради собственных интересов.

Этот отряд был организован из обученных охотников, сыновей старших и младших лесничих и других чиновников, которые своей службой приобретали право на получение места лесничего. Таким людям даже палка не могла внушить необходимую для парадов выправку, даже на коро-

левских смотрах им разрешалось проходить более удобно — толпой. В мирное время этот полк, отличившийся на войне, стал мишенью для насмешек со стороны фридриховских солдафонов: они называли его «старым фронтоном в стиле барокко», уцелевшим среди великолепных построек прекрасной армии. Полк этот сделался военным курьезом, и Йорк взял на себя командование им только после большого сопротивления. Но так как он при всем том был очень честолюбивый и способный офицер, то из практических опытов повседневной службы он понял, что из этого войска можно кое-что сделать, если отнестись к нему со вниманием и обучить его бою врассыпную.

Общественное положение солдат определило военное сознание офицера. Но это сознание быстро погасло, когда Йорк, благодаря успехам при Альтенцауне и Варене, быстро достиг такого высокого поста в военной иерархии, что его привлекли к участию в обсуждении военных реформ. Тогда он излил яд и желчь; он стал заниматься такими злостными доносами королю, что с Шарнгорстом приключилась опасная для жизни нервная лихорадка; он ликовал при отставке Штейна, последовавшей по приказу Наполеона. «Этим, — говорил он, — раздавлена безумная голова, а остальное змеиное отродье, надо надеяться, захлебнется собственным ядом». Еще во время войн 1813 и 1814 гг. Йорк в качестве командира корпуса, благодаря своим идеологическим и теоретическим представлениям, ставил тяжелые препятствия наполеоновской стратегии Гнейзенау, но свойства тех полков, которыми он командовал, так определяли его военное сознание, что Блюхер мог о нем сказать: «Никто так не тяжел на подъем до вступления в бой, как Йорк, но когда он вступает, никто не кусается так больно, как он».

Эти немногие примеры, которые могли бы быть увеличены в любой мере как из прусской, так и из всеобщей истории войн, совершенно достаточны для той цели, с которой они здесь приводятся. Необычайно было уж то, что Фридрих на основании теоретического изучения американской войны за независимость понял необходимость изменения военной тактики и робко пытался провести ее в жизнь, но для него было практически и психологически невозможно применять наполеоновскую стратегию и тактику при наемном войске.

Идеалистическая история ни для кого не бывает так опасна, как именно для великих людей, которых стараются превратить в каких-то сверхчеловеческих героев. В споре о стратегии Фридриха совершенно верно было замечено, что его походы, если их измерять масштабом наполеоновской

стратегии, были чрезвычайно убоги. Действительное значение Фридриха заключается в том, что он ясно понимал, что он должен был делать и чего не должен был, что он мог и чего он не мог; в известном смысле можно даже сказать, что страшная тяжесть Семилетней войны только потому пала на него, что ему — совершенно ненамеренно — с успехом удалось применить наполеоновский метод, и если бы в его распоряжении были наполеоновские средства, он окончил бы войну одним ударом, но так как он не мог вести войну по-наполеоновски, то должен был на этом пути потерпеть поражение. Его плану похода 1756 г. помешало прежде всего то, что саксонскому войску, хотя и с трудом, удалось сосредоточиться в скалистом лагере под Пирной, вследствие блокады которого Фридрих потерял дорогое для него время, но решительное крушение этого плана произошло после того, как 6 мая 1757 г. Фридриху удалось нанести сокрушительный удар австрийскому войску и принудить две трети его запереться в Пражской крепости.

Для Австрии, казалось, все было потеряно. Прага должна была пасть, и тогда дорога в Вену была бы прикрыта только слабой, стянутой под начальством Дауна вспомогательной армией. Но когда Фридрих выступил против этой армии с частью войск, осаждавших Прагу, он потерпел 18 июня при Колине сильное поражение, которое принудило его немедленно оставить Богемию, и, таким образом, все его успехи при Праге были сведены к нулю.

По поводу битвы при Колине возникла целая литература, которая стремилась доказать, что если бы генерал Манштейн и принц Мориц Дессауский не совершили тех или других ошибок, то Фридрих выиграл бы эту битву, и так как Прага тотчас после этого должна была бы пасть, то дорога в Вену была бы открыта и мир был бы продиктован на валах австрийской столицы. Но уже Клаузевиц одним взмахом пера уничтожил эту литературу, доказав, что Фридрих, если бы даже и не был разбит при Колине, был бы разбит потом, потому что при тогдашнем способе ведения войны и при его боевых средствах было совершенно невозможно завоевать австрийскую столицу и покорить австрийское государство.

Справедливость этого замечания так ясна, что с ним соглашаются даже фридриховские создатели мифов, но, — возражают они, — если бы Фридрих выиграл битву при Колине, австрийцы были бы так деморализованы, что немедленно заключили бы мир. Но если даже признать это легковесное соображение, то надо также признать и то,

что прусские успехи могли скорее привести не к унынию, а к подъему в Вене. Мария-Терезия и Кауниц были достаточно умны для того, чтобы понять, что лучше всего предоставить возможность королю свариться в собственном соку.

Фридриховские создатели мифов, желая наделить своего героя сверхчеловеческими способностями, на самом деле только умаляют его. Настоящий план войны Фридриха, который был разрушен благодаря слишком большим успехам под Прагой, недавно открыт в английском архиве, в бумагах дипломата Митчеля, состоявшего при Фридрихе в качестве английского посла. План этот состоял в том, чтобы еще осенью 1756 г. занять, в виде залога, Саксонию и часть Богемии; при этом предполагалось, исходя из психологически вполне правильного расчета, что австрийцы и саксонцы постараются избегнуть этой еще более опасной игры. Этот скромный план делает большую честь проницательности короля, в то время как гипотеза, что он намеревался сражаться и победить по-наполеоновски, выставляет его настоящим Дон-Кихотом.

После битвы при Колине Фридрих был вынужден перейти к обороне. Впрочем, еще не совсем: после побед при Росбахе и Лейтене он весной 1758 г. пытался сделать нападение на Моравию, чтобы захватить, как важный при заключении мира залог, крепость Ольмюц, но Даун и Лаудон вынудили его снять осаду и маневрами заставили его совсем уйти из Моравии. Остальная часть Семилетней войны была не чем иным, как диким опустошением Саксонии и Силезии, Бранденбурга и Померании; в ней не было даже и той видимости драматически-героического напряжения, которая была еще присуща 1757 г.

Все, что перенес Фридрих в последующие годы с большой выдержкой и, как Лассаль говорит, «с ядом в кармане», достойно всякого удивления и было бы достойно уважения, если бы целью войны были успехи человеческой культуры, а не усиление враждебного культуре милитаризма. Создатели мифов о Фридрихе и тут умаляют подлинное значение его, изображая его сверхъестественным гением, а неприятельских полководцев и его собственных генералов — более или менее неспособными людьми. При таких условиях не нужно было бы большого искусства, чтобы одолеть Дауна и Лаудона.

В действительности эти австрийские полководцы могли померяться с Фридрихом; они уступали ему не столько в индивидуальных способностях, как в чем-то ином, что пре-

восходно отметил Клаузевиц следующими словами: «Полководцы, которые противостояли Фридриху, были люди, действовавшие по поручению, вследствие чего главной чертой их деятельности была крайняя осторожность; их противник, говоря коротко, был сам бог войны». Эти слова попадают прямо в точку, в ту частицу правды, из которой возникла легенда о наполеоновской стратегии Фридриха.

Разница была не в качестве, а в степени. Фридрих вел войну, как должен был вести ее всякий полководец прошлого столетия, но он ее вел смелее других полководцев, потому что он неограниченнее распоряжался военными средствами, — неограниченнее как в военном, так и в моральном отношениях. Фридрих не был связан никакими приказами, он не боялся ответственности. Был ли Фридрих, с чисто военной точки зрения, самым замечательным полководцем своего времени, — это еще вопрос. По свидетельству его адъютанта Беренгорста, он был во время боя всегда неспокоен и терялся, не говоря уж о том язвительном замечании, какое сделал нелюбезный принц Генрих за своим столом в Рейнсберге: «У моего брата, в сущности, нет мужества».

Даун и Лаудон часто наносили королю тяжелые удары, которых он мог избежать; первый план Семилетней войны был составлен Шверином и Винтерфельдом; битвы при Росбахе и Цорндорфе выиграл Зейдлиц; такого с начала до конца счастливого похода, как поход герцога Фердинанда Брауншвейгского и его секретаря Вестфалена против французов в Западной Германии, Фридрих никогда не совершал, несмотря на гораздо более благоприятную обстановку. Конечно, Прага и Лейтен были его делом, но ведь его же делом были Колин и Куннерсдорф[1]. Только тот, кто не боялся ответственности за страшные поражения, мог попытаться исправить их. Это-то и подразумевает Клаузевиц под выражением «бог войны». Или, переводя это мифологическое сравнение на язык нашего капиталистического времени, Фридрих был хозяином, который самолично спекулировал на бирже, а Даун и Лаудон были только доверенными, которые всегда, прежде чем поставить на карту состояние дома, должны спрашивать согласия. При тогдашнем состоянии путей сообщения они

[1] Куннерсдорф (на р. Одере) — сражение 12 августа 1759 г. между русской армией Салтыкова и прусской — Фридриха II. Пруссаки атаковали русских во фланг; русские сумели построить новый фронт, упорной обороной и контратаками разбили и обратили пруссаков в бегство. — *Ред.*

обыкновенно получали ответ через недели, и ответ этот приходил при совершенно изменившихся условиях и приносил один вред.

Даун и Лаудон, уступая в этом отношении королю, стояли, однако, выше прусских генералов, которые неизменно проигрывали сражения, когда вели их на собственный страх и риск, за единственным исключением битвы при Фрейберге[1], которую принц Генрих также проиграл бы, по отзыву Наполеона, если бы он вместо жалких имперских войск имел против себя настоящую армию. Прусские генералы могли проиграть битву или крепость, только «рискуя своей головой», и потому они вели сражение отнюдь не героически, а весьма осторожно, в то время как Мария-Терезия к поражениям своих генералов относилась снисходительно, да и могла так относиться при своем более выгодном положении.

Вышеприведенное сравнение войн прошлого столетия с биржей не так поверхностно, как это кажется с первого взгляда. Будучи по форме кабинетными войнами, они по своей сущности были торговыми; торгово-политические причины, которые определили ход и исход Семилетней войны, были уже разобраны нами. Сущность этих войн отражалась и на способах их ведения. Война была, так сказать, делом финансового расчета. Знали приблизительно денежные средства, казну, кредит своего противника; знали силу его войска. Была совершенно исключена возможность значительного увеличения финансовых и военных средств во время войны. Человеческий материал был всюду тот же; применять его надо было везде одинаково, т. е. с величайшей осторожностью, потому что, когда войско было разбито, не было возможности создать новое, а, кроме войска, ничего другого не было, — ничего или почти ничего, потому что дороже последнего солдата был последний талер, на который можно было нанять нового солдата.

Успех этой войны зависел, в сущности, от точного и верного вычисления военных средств, и в этом отношении уже упомянутая мысль Фридриха о последнем талере как о решающем факторе победы становится особенно ясной. Это было в то время так справедливо, что оправдывалось даже тогда, когда этот последний талер, как было с Фридрихом,

---

[1] Фрейберг (в Силезии) — сражение 29 октября 1762 г., в котором Генрих Прусский разбил более сильных австрийцев, занимавших укрепленную позицию; после этого поражения Мария-Терезия вступила в мирные переговоры. — *Ред.*

был фальшивым. Не благодаря своим победам провел Фридрих Семилетнюю войну, но потому, что в последние два года он не давал сражений, а о битвах в период от 1758 до 1760 г. его собственные письма говорят как бы оправдывающимся тоном. Более того: он спас себя и свою корону благодаря крайнему истощению собственной страны, страшнейшей эксплоатации Саксонии, английским субсидиям и фальсификации денег.

В действительности это было продолжение методов Тридцатилетней войны. Торговцы фальсифицированными монетами XVII столетия могли праздновать свое радостное воскрешение, хотя Фридрих лично презирал этот старый княжеский промысел. Он действительно стыдился его и потому накладывал на своих фальшивых монетах польско-саксонский штемпель, и эти «польские монеты в восемь грошей» оставались бичом для прусского населения до самого введения государственной монеты; или же он подкупал братьев божьей милостью, вроде князя Ангальт-Бернбургского, чтобы те своими благочестивыми ликами украшали его фальшивые серебренники и медяки. Но ничто не помогало,— деньги, деньги и еще раз деньги были, по справедливому выражению Монтекукули [1], нервом тогдашних войн.

Не надо также забывать, что Фридрих не только в крайней нужде обращался к этому «промыслу», как он стыдливо его называл. Еще до начала Семилетней войны король заключил контракт с тремя еврейскими монетчиками — Герцем-Моисеем Гумперцем, Моисеем-Исааком и Даниилом Ициком — о чеканке мелкой разменной монеты, чтобы вести войну с наименьшей тратой благородного металла. Вместе со все растущей нуждой деньги делались все хуже, и последний еврейский монетчик Фридриха Вейтель Ефраим заслужил ненависть и проклятие всего народа.

Весьма неутешительно было также и то, что Фридрих оплачивал наемников и своих подданных плохими деньгами, но сам желал получать только хорошие; таким образом, все хорошие деньги были извлечены и перечеканены в плохие; только тогда, когда хорошие деньги совершенно исчезли в стране, он в 1760 г. разрешил королевским кассам «только из милости» принимать и плохие деньги. Самым

---

[1] Монтекукули, граф Реймунд (1608—1680) — австрийский фельдмаршал, принимал с успехом участие в Тридцатилетней войне, в шведско-польской, австро-турецкой и в войне Австрии против Франции, когда его противниками были Тюренн и Конде; написал несколько замечательных военных сочинений. — *Ред.*

смелым фокусом было то, что Фридрих брал в судах хорошие деньги, оставленные в залог, а по окончании процесса приказывал выдавать сторонам их залоги плохими; когда те, которые в своем доверии прусской юстиции были так жестоко обмануты, старались с этим бороться, все инстанции обязаны были притворяться, будто даже не понимают, в чем состоит жалоба.

Само собой разумеется, что войны XVIII столетия, поскольку они презирали всякую моральную силу, не могли иметь морального влияния на дух народов или пробудить в них национальный дух. Утверждать что-либо иное было бы так же нелепо, как сказать, что Гумперц, Исаак Ицик и Вейтель Ефраим были предшественниками Лессинга, Гердера, Гёте и Шиллера. Но все же мы должны рассмотреть еще два утверждения новейших патриотических историков, изо всех сил доказывающих, что Семилетняя война все же была войной национальной. Ядром позднейшего ландвера являлись, по их словам, батальоны добровольцев и особенно организованная Фридрихом ландмилиция.

Но надо только хотя бы немного вникнуть в положение Фридриха, чтобы понять, что король ничего так не желал, как сохранить за этой войной характер кабинетный и вести ее с помощью наемных войск, что для него не было ничего ненавистнее, чем ополчение масс, потому что в этом случае он не только не мог бы сравняться с бесконечно большим населением вражеских стран, но к тому же должен был бы бояться вооруженных крестьян своей собственной страны больше всех сил мира.

По тогдашнему военному устройству народное ополчение казалось бесполезным, и Фридрих заботливо старался тушить всякую искру такого рода, которая могла бы разгореться в пламя. Случалось, что крестьяне в том или другом месте брались за косы и вилы, но не из воодушевления, не за своего короля или юнкеров, а для того, чтобы защитить свое небольшое имущество от грабежа, своих жен и детей — от насилия вторгнувшихся в страну неприятельских наемников. Но тогда король тотчас же издавал приказ, чтобы земледельцы не оставляли своих занятий и не вмешивались в войну, в противном случае они будут объявлены мятежниками, а жителям восточной Фрисландии, которые оказывали сопротивление вторгнувшимся французам и были тем сильнее разграблены, он насмешливо ответил на жалобы, что он поступил бы точно так же, как французы.

Даже гражданам Берлина под угрозой тяжелого наказания было запрещено президентом Кирхейзеном браться за

оружие, когда в 1757 г. город был временно занят австрийцами. С величайшей заботливостью Фридрих избегал всего, что могло бы придать этой войне «высшее национально-жизненное содержание», и он должен был поступить так, если хотел достигнуть своих целей.

Отсюда само собой разумеется, что с добровольческими батальонами и ландмилицией, которые Фридрих организовал во время Семилетней войны, дело обстояло совершенно иначе, чем утверждают новые прусские историки. Эти войска сражались за короля и отечество без всякого воодушевления; они отнюдь не были лучшими элементами, чем обыкновенные наемники, даже наоборот, они состояли из худшей части солдат, которых Фридрих старался использовать для военных целей только в исключительных случаях.

В своих «Основах тактики» он говорит об этих «добровольческих батальонах», что при атаке укрепленных позиций их следует ставить в первую линию, «чтобы огонь неприятельский был направлен на них, чтобы они могли в благоприятном случае произвести беспорядок в неприятельских войсках. Нужно при этом помнить, что за ними должна стоять регулярная пехота, которая принудила бы их под страхом расстрела к горячей и решительной атаке». И далее Фридрих говорит: «При действиях на равнине эти добровольческие батальоны должны стоять на заднем уступном крыле, где они могут прикрывать обоз».

Эти королевские инструкции о назначении добровольческих батальонов заключают в себе самую исчерпывающую и в то же время самую уничтожающую критику этого рода войска. Фридрих при Колине и вообще на практике испытал, как прекрасная артиллерия австрийцев из укрепленных мест победоносно уничтожала неповоротливые линии его наступающей пехоты; поэтому задача свободных батальонов должна была заключаться в том, чтобы служить пушечным мясом и обеспечить под угрозой штыков сзади возможность наступления регулярной пехоте; при этом, «может быть», эти сомнительные элементы в своем отчаянном положении и нанесут некоторый вред врагу.

В тех же случаях, когда прусская пехота действовала на ровной местности, где она могла развернуть всю свою силу, добровольческие батальоны ставились возможно дальше от выстрелов, на безопасных местах, где они не могли принести вреда, а даже приносили некоторую пользу прикрытием обоза. Они состояли из наименее ценного элемента войска, из настоящих подонков человечества.

Ландмилиция была в моральном отношении, пожалуй, лучше, но в военном она была еще неудовлетворительнее. Фридрих приказал организовать ее после тяжелых потерь при Праге и Колине, когда он должен был стянуть к себе все регулярные войска из Бранденбурга и Померании, но не мог оставить эти провинции без защиты от наступавших русских и шведов. Этой милицией командовали отставные офицеры, и для ее содержания на страну были наложены, вдобавок ко все другим, еще налог и акциз на ландмилицию.

Отряды милиции отличались от регулярного войска, повторяя уже употребленное нами выражение, не родом, а качеством. Они набирались и обучались так же, как и регулярные войска, но материал был гораздо хуже. Они состояли из бежавших в города крестьян, обедневших граждан, которые, не вступи они на службу, умерли бы с голоду, военнопленных, инвалидов и кантонистов, которые были назначены в войска, но еще не вступили в них; таким образом, последние ограждались от того, что неприятель переманит их к себе на службу. Их военные качества были весьма ничтожны, и они так же походили на народное ополчение, как и остальное фридриховское войско.

Второе утверждение, направленное к доказательству национального значения Семилетней войны, опирается на то, что война спасла протестантскую свободу и т. д. Что в действительности представляет собой это утверждение, мы уже видели, но и здесь говорят: так или иначе, но мир видел в Фридрихе героя протестантизма, и, сознательно или бессознательно, он был таковым.

Это верно постольку, поскольку Фридрих в своих военных расчетах придавал большое значение религии. Но спрашивается: как? В своих «Главных принципах войны», в своих письменных инструкциях на случай войны, которые он давал своим генералам с приказом строго им следовать, он говорит:

«Если война ведется в нейтральной стране, то главное заключается в том, какая из обеих сторон заслужит дружбу и доверие населения. Необходимо сохранять строгую дисциплину... Надо представлять неприятеля в самом черном виде и обвинять во всяческих замыслах против страны. В таких протестантских странах, как Саксония, надо играть роль защитников лютеранской религии; если страна католическая, то надо постоянно говорить о веротерпимости. Фанатизм может оказаться здесь весьма вредным. Если можно воодушевить народ идеей свободы совести, доказать ему, что он угнетаем попами и хан-

жами, то можно положиться на этот народ; это-то и подразумевает выражение: «заставить служить себе ад и небо».

Не ясно ли, что незлобивая душа Фридриха ни сознательно, ни бессознательно не была заражена героизмом «протестантской свободы духа», который он будто бы проявил в Семилетнюю войну. Но мир, по какому-то капризу, хотел видеть в нем такого героя. Между тем это вовсе не так. Фридрих стремился иногда играть «роль защитника лютеранской религии» не только в Саксонии, но и во всей Германии, или же, как он говорит в другом месте, «разжечь ярость во всех, кто имеет хоть слабую склонность к Мартину Лютеру». Для этого-то он при помощи маркиза д'Аржанса изготовил массу фальшивых документов, в том числе и папскую грамоту, в которой папа будто бы награждает маршала Дауна за нападение при Гохкирхе освященной шляпой и шпагой, и Фридрих старался вовсе не по-королевски осмеивать этого отнюдь не неравного противника, называя его «человеком в святой шапке»[1].

Этот направленный против Ватикана спектакль (No Popery Spektakel[2]) был рассчитан не столько на нацию, сколько на мелкие немецкие дворы, притом не только протестантские. Несомненно, со стороны австрийцев играла роль, хотя и в слабой степени, тенденция утвердить габсбургско-папское господство над всей Германией; французские дипломаты при немецких дворах писали в своих донесениях в Версаль, что и католические сословия отмечены знаком «немецкой свободы» и что необходимо было бы открытым заявлением рассеять эти опасения.

Австрийское правительство неоднократно заявляло, что в его намерение не входит изменение Вестфальского мирного договора; однако подозрение в таком намерении само собой вытекало из положения вещей, и поддержка этого подозрения была со стороны Фридриха весьма ловким дипломатическим ходом. Он добился в этом отношении успеха. На рейхстаге в Регенсбурге протестантские сословия вынесли резолюцию против предположенного венским двором

---

[1] Кстати: хотя австрийское правительство тотчас разъяснило, что история со священной шляпой и шпагой является выдумкой, и хотя выдумка эта была много раз раскрыта исторической критикой, все же эта история проникла в прусские исторические книги (см. Трейчке, I, 60; Bernhardi, I, 28), не говоря о произведениях второй и третьей величины. Видя прочность прусской патриотической басни, начинаешь считать однодневными мотыльками даже египетские мумии.

[2] No Popery — в Англии лозунг решительных противников католицизма.

отлучения Фридриха от империи[1]. Если «имперская экзекуционная армия» оказалась еще более жалкой, чем она должна была быть, то это произошло оттого, что сословия, как католические, так и протестантские, весьма неохотно доставляли ей свои и без того плохие отряды.

Таким образом, Фридрих имел полное основание писать маркизу д'Аржансу, что его фальшивые грамоты сослужили службу не хуже выигранного сражения, но при этом он имел в виду моральное влияние на дворы, а отнюдь не на нацию. Впрочем, и это влияние было все же весьма ограниченным, ибо мелкие немецкие дворы были слишком трусливы, чтобы вести самостоятельную политику; некоторые из них, находившиеся под большим влиянием Фридриха, соединяли приятное с полезным, продавая и ссужая своих подданных англичанам, которые по форме воевали с французами, а не с австрийцами и не с немецкой империей, но в этой торговле людьми вряд ли можно усмотреть «высшее жизненное содержание» Семилетней войны.

Эта война, как все войны XVIII столетия, сообразно своим экономически-военным возможностям, мало затрагивала буржуазное население страны. И таковы были представления о Семилетней войне всех современников. Под этим впечатлением Фридрих писал: «Мирный гражданин не должен даже замечать, что нация сражается». А Лессинг в своем первом литературном письме писал: «Я желал бы охотнее усыплять вас и себя сладкой мечтой, что в наш цивилизованный век война является только кровавой тяжбой между независимыми властелинами, которая не касается остальных сословий и не имеет никакого другого влияния на науки, кроме того, что она пробуждает новых Ксенофонтов и Полибиев».

Клаузевиц пишет о войнах XVIII столетия: «Война не только по своим средствам, но и по своей цели касалась только одного войска. Войско со своими крепостями и несколькими укрепленными позициями составляло государство в государстве, внутри которого военный элемент медленно и постепенно пожирался. Вся Европа радовалась этому явлению и считала его необходимым следствием прогресса. Хотя это была ошибка... но это все же имело благотворное влияние на народы; надо помнить только, что это делало войну исключительно делом правительства и чем-то совершенно чуждым интересам народа». Вот три

---

[1] Имперское отлучение налагалось императором по соглашению с государственными сословиями. — *Ред.*

классических свидетельства, но мы присовокупим еще несколько красноречивых фактов.

Когда Фридрих на зимней квартире в Лейпциге вел беседу о немецкой литературе с Готшедом, он посвятил ему французскую оду о «саксонском лебеде»; на это Готшед открыто ответил чрезмерно хвалебным стихотворением, которое заканчивалось такими словами: «И твой поклонник остается навеки твоим». Лессинг много смеялся над этой глупостью, но в то время никто не негодовал, что саксонский профессор мог открыто льстить таким образом покорителю своей страны, смертельному врагу своего монарха; что теперь казалось бы презренной государственной изменой, тогда казалось весьма естественным или же, самое большее, осмеивалось лишь со стороны эстетической безвкусицы, — до такой степени гражданское население считало себя вне войны.

Очень поучителен обмен письмами, который произошел в 1757 г. между жившим тогда в Лейпциге Лессингом и его берлинскими друзьями, Моисеем Мендельсоном и Николаи. 1757 год был единственным за все время Семилетней войны, который мог вызвать какое-нибудь поклонение героям. Битва при Праге была наиболее ужасной из всех битв этого столетия; затем внезапная перемена счастья при Колине; наконец, после глубокого падения быстрое возвышение в веселой победе при Росбахе и блестящей победе при Лейтене! Чего-чего не могли наговорить от чистого сердца по этому поводу в своих письмах родственный Фридриху по духу, «товарищ по революции» Лессинг и бранденбургско-прусский патриот Николаи! Представьте: ничего! Можно найти в их письмах за 1757 г. длинные рассуждения о теории трагедии, различного рода мысли по поводу грамматических неясностей в «Мессиаде» Клопштока, советы о печатании и издании «Библиотеки изящных наук», предпринятой, наконец, пруссаками Мендельсоном и Николаи у одного саксонского издателя, но о войне абсолютно ничего, — ничего, кроме сообщения Лессинга, что поэт Эвальд фон-Клейст назначен майором пехотного полка, расположенного в Лейпциге, или же шутки Моисея, что Лессинг, вероятно, нанят защитником Бранденбурга, потому что слишком долго приходится ждать от него ответа.

Понимание значения этой «ошибки», о которой говорит Клаузевиц, заметно и у Лессинга и у Моисея, хотя эти самые прогрессивные для того времени элементы буржуазного общества Германии в общем очень мало интересовались войной; но для теории «высшего жизненного содержания»

в этом нет ничего утешительного. В вышеприведенных словах Лессинга о «сладкой мечте» проглядывает сомнение, которое еще яснее выступает в предшествующих этим словам строках: «Мир вернется без них (муз); печальный мир, сопровождаемый меланхолическим удовольствием плакать об утерянных благах. Я отвращаю ваш взгляд от этой мрачной перспективы. Не нужно картинами достойных сожаления последствий войны отравлять солдату его необходимое дело».

Совершенно так же пишет Моисей Лессингу в 1757 г. в письме, в котором он просит его покинуть Лейпциг, это место беспокойства, скорби и всеобщей печали: «Приезжайте к нам; в нашей одинокой вилле мы забудем, что страсти людские опустошают земной шар. Как легко будет нам забыть недостойную борьбу алчности, когда мы устно будем продолжать спор о важных материях, который мы начали в письмах».

Достойно внимания, что эти идеологи буржуазных классов питали к Семилетней войне не симпатию, а антипатию. Это удивительно, или, вернее, вовсе неудивительно! Ибо представление, по которому война вовсе не касается буржуазного населения, было возможно только до тех пор и постольку, поскольку этому населению было чуждо какое бы то ни было самосознание; с ростом самосознания должна была у этого населения укрепляться мысль, что они главным образом несут военные издержки и что то «благодетельное явление», которое, казалось бы, является «необходимым следствием прогрессирующего духа», как раз и покупается ценой «высшего жизненного содержания».

Буржуазное население могло относиться к Семилетней войне равнодушно, и так оно и относилось; эта война в нем пробуждала только отвращение, а отнюдь не подъем самосознания и национальной гордости. Буржуазные современники могли черпать подобные чувства из Семилетней войны так же мало, как Фридрих вести эту войну согласно наполеоновской стратегии. Даже самое представление такого рода было невозможно до тех пор, пока американские и французские революционные войны не придали войне совершенно другую форму и другое содержание.

И действительно, Гёте только под свежим впечатлением наполеоновской эпохи мог придать Семилетней войне такое значение, какого войны Фридриха не могли иметь, да и не имели для своих буржуазных современников.

ВОЙНЫ ЭПОХИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ[1]

1. КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИИ

Вначале революция заняла очень мирную позицию по отношению к загранице; еще в споре за Нутка-зунд она лишила корону права единоличного решения в вопросе войны и мира, чтобы помешать ей начать войну. Она сделала это, конечно, в собственных интересах, но заграница не имела основания на это жаловаться, тем более что прусская корона так же энергично действовала в том же направлении.

В «подстрекательстве» за границей революцию также нельзя было упрекать до определенного момента. Из самого положения вещей вытекало, что буржуазная революция в Париже вызвала радостный вздох повсюду, где массы народонаселения томились под феодальным гнетом; стоит лишь вспомнить то воодушевление, с которым Клопшток и Гербер[2], Кант и Фихте встретили новую зарю мировой истории. Однако в Германии это сочувствие буржуазной революции осталось чисто теоретическим; то, что в рейнских областях произошли небольшие крестьянские беспорядки, конечно, не может приниматься в расчет. В других странах — Бельгии, Голландии, Италии — революция встретила более или менее практическое подражание, что, однако, объясняется состоянием этих стран, а не «подстрекательством» французских революционеров.

Лишь в одном пункте нарушила революция международные договоры; это было сделано в самом ее начале постановлениями известной августовской ночи, которые устранили средневековые привилегии феодального дворянства и феодального духовенства. Этим постановлением были ущемлены интересы большого количества немецких

[1] «Zur Preussischen Geschichte», «Universumbücherei», т. III, стр. 266 и след.

[2] Гербер — композитор и органист (1702—1775 гг.). — *Ред.*

помещиков, как духовных, так и светских, имевших более или менее крупные владения в Эльзасе. Несколько позднее их число еще более пополнилось духовными лицами, пострадавшими вследствие секуляризации церковного имущества и новых законов о церкви. Надо заметить, что эти господа были поставлены не в худшие условия, чем французские дворяне и попы; вся разница заключалась в том, что их привилегии при занятии Эльзаса Францией были сохранены французским правительством и покоились на международных договорах, а потому не могли быть упразднены одной лишь Францией.

Фактически уничтожение этих привилегий являлось, конечно, большим прогрессивным шагом, который должен был спаять Францию с Эльзасом; уже в те времена было известно всему миру, как тяжело угнетались эльзасские подданные двойной зависимостью: как плательщики податей французской короне и как ленные подданные немецких помещиков и попов. Здесь предстоял, таким образом, конфликт, который мог быть устранен, в лучшем случае, лишь каким-нибудь возмещением, которое Франция должна была уплатить пострадавшим дворянам и духовным лицам, и Национальное собрание было уже к этому готово. Однако пострадавшие имперские сословия настаивали на полном восстановлении их феодального произвола, на что Франция, понятно, не могла пойти.

Они обратились со своими жалобами в рейхстаг в Ревенсбурге, который при своей медлительности растянул бы решение этого дела на целые годы. Так долго ждать было далеко не по вкусу некоторым из этих феодальных эксплоататоров. Потому главным образом и объявили духовные курфюрсты своего рода открытую войну революции: они принимали к себе эмигрантов, разрешая им подготовлять вооруженное нападение на Францию. Так, в Кобленце, принадлежавшем к курфюршеству Трира, расположились граф Прованский и граф Артуа, братья французского короля, с большим количеством эмигрантов; они вели такую расточительную, распущенную жизнь, что она даже поколебала почтение к ним немецких филистеров; граф Прованский и граф Артуа образовали свое министерство, вооружили и обучили около 2 тысяч человек и громко кричали о войне, которую они намерены начать за французской границей, чтобы восстановить старое феодальное общество, существовавшее до 1789 г.

Немецкие князья не только терпели это, но оказывали им поддержку. Курфюрст Трира не только предоставил им

правительственные помещения, но позволял организовывать магазины, издавать открытые воззвания о вербовке войск и даже выдавал им оружие из государственного цейхгауза. Другие немецкие князья поддерживали их денежными средствами; даже прусский король был достаточно щедр: в течение 10 месяцев до открытого начала войны он передал бежавшим князьям не меньше 5 миллионов франков из тех государственных сумм, которые были выжаты из населения кровавым податным прессом; при этом прусский король не имел никаких явных поводов к жалобам против Франции.

Это грубое нарушение международного права имеет лишь одно извинение: банда эмигрантов была так же труслива, как и распущенна, а потому ее правительство не представляло большой опасности для Франции. Тем большего осуждения заслуживала официальная поддержка, которую находила в Германии эта банда, а беспутный образ жизни эмигрантов привлекал к ним весьма живой интерес в массах французской нации. Массы воочию видели, что ожидало их, если эта компания снова возьмет когда-нибудь власть в свои руки. Кобленц показывал им в миниатюре все ужасы старой Франции.

Вдобавок к этому угнетающее впечатление произвела попытка короля к бегству. Французский народ больше всего боялся, что король объединится на границе со своими братьями и, опираясь на сотни тысяч иностранных солдат, вернется обратно, чтобы через слезы и кровь завоевать себе старую Францию. Можно сказать без преувеличения, что при этой перспективе весь народ поднялся бы, как один человек. Национальное собрание воспользовалось тем толчком, который дала попытка короля к бегству, чтобы провести во всем государстве единую организацию гражданской гвардии и образовать 169 батальонов национальных добровольцев с выборными офицерами; 60 этих батальонов через несколько недель были уже двинуты в гарнизоны на северную границу.

Правда, Людовик XVI и королева горячо отрицали свои связи с эмигрантами. Но массы имели полное право не обращать внимания на эти отрицания. Если бы при помощи заграницы удалось реставрировать монархию, то король и королева оказались бы игрушкой в эмигрантских руках; уже тогда знали цену королевским обещаниям, которые давались в затруднительную минуту. Посреди возмущения, вызванного попыткой короля к бегству, пришли извещения о циркуляре, выпущенном императором Леопольдом 6 июля

в Падуе об австро-прусском союзе и о заявлении Пильница с его неприкрытыми угрозами. Неудивительно, что национальные чувства французского народа пришли в сильнейшее возбуждение.

Однако, когда Национальное собрание обнародовало в сентябре 1791 г. новую конституцию и король присягнул ей, все, казалось, снова успокоилось. Австрия и Пруссия признали конституцию, и мир как будто был обеспечен. Но лист истории перевернулся; в новом законодательном собрании выступила республиканская левая, получившая от своих членов из Бордо название «Жиронды»; она выступила против заграницы так угрожающе и гордо, что положение в высшей степени обострилось, и уже 20 апреля 1792 г. она смогла принудить короля объявить войну Австрии.

Так рассказывают прусские историки Зибель и Трейчке; по их мнению, бедные, невинные овечки Австрия и Пруссия подверглись нападению Жиронды, которая из доктринерского пристрастия к республиканской форме пожелала вовлечь монархию в войну с зятем короля. Это такая бессмыслица, которая вовсе не нуждается в опровержении. Вряд ли существовала когда-нибудь парламентская фракция, которая смогла бы из доктринерской прихоти зажечь мир со всех четырех сторон. Гораздо больше это можно связать с тем историческим фактом, что император Леопольд, несмотря на свои обязанности главы государства, позволял эмигрантам попрежнему бесчинствовать в рейнских княжествах и что благочестивый король Франции и после принесенной им присяги конституции продолжал так же предавать страну, как и раньше.

Как Людовик XVI, так и Мария-Антуанетта бомбардировали все европейские дворы слезными просьбами созвать европейский конгресс, который при помощи оружия должен был найти средства обуздать партии, аннулировать конституцию и помешать распространению революции. И далеко не было бессмысленным военным пылом, когда новое собрание, к радости не только жирондистов, но и всех других партий, постановилю 29 ноября 1791 г., что король должен потребовать от рейнских курфюрстов роспуска эмигрантских войск, должен прекратить всякое возмещение убытков немецким князьям, имевшим земли в Эльзасе, переменить дипломатических представителей на других, более патриотических по своему духу, и немедленно сосредоточить на границе необходимые военные силы, чтобы придать всему этому должный вес. Король

обещал 14 декабря последовать этим указаниям и послал ноты с протестом курфюрсту Трирскому и императору.

Курфюрст отвечал с кичливой лживостью, что в его стране не происходит ничего враждебного по отношению к Франции. В ответ на это Франция послала в Кобленц своего представителя, чтобы еще раз словесно заявить свои требования. Это привело к тому, что 3 января 1792 г. появился приказ курфюрста, запрещавший организацию военных корпораций, военных сборов и производство всевозможных военных упражнений. Однако, не нарушая сам ни одним словом границ тактичности, курфюрст не мешал эмигрантам самым мальчишеским образом оскорблять представителя их короля, устраивать ему кошачьи концерты и пачкать его жилище всевозможными нечистотами.

В общем эмигранты с наглым упрямством противились распоряжениям своего защитника — курфюрста — и продолжали обучать свои войска. Когда же французский посол передал ноту своего правительства, в которой оно благодарило за распоряжение от 3 января и сообщало, что с его стороны всем гражданским и военным уполномоченным отдан приказ избегать столкновений на границах, официальный листок курфюрста таким образом разделался с посланником: «О стыд, о вечный стыд! Никакой кровью нельзя смыть его. Шпион из якобинского клуба, воспитанник Мирабо и Неккера, осмеливается выступать перед Климентом Венцеславом, самым добродетельным из князей нашего времени». Вот маленький образчик тех недостойных выпадов, которым подвергалась революционная Франция со стороны немецких карликовых деспотов.

Ответ императора на французские требования относительно эмигрантов был не так груб, но во всяком случае достаточно насмешлив и оскорбителен. Он писал 21 декабря, что курфюрст Трирский, который будто бы давно уже разоружил эмигрантов — это было, конечно, чистейшей ложью, — просил его о помощи в случае французского нападения. Император, вполне доверяя лойяльности короля Людовика, все же опасался, что, несмотря на его умеренность, могут быть произведены некоторые насилия над Триром, а потому приказал маршалу Бендэру в Люксембурге оказать в данном случае курфюрсту деятельную помощь. Однако он надеется, что эти крайние мероприятия не понадобятся ни императору, ни империи, ни другим державам, которые объединились для поддержания спокойствия коронованной власти.

Таким образом, Леопольд открыто угрожает здесь объединением европейских держав, на которое французская королевская чета возлагала свои тайные изменнические надежды. Вполне понятно, что после этого Национальное собрание потребовало решительного отказа от всех планов интервенции и, когда этого отказа не последовало, объявило войну Леопольду, или, вернее, его преемнику Францу, так как Леопольд умер 1 марта 1792 г.

Конечно, можно найти смягчающие обстоятельства для этой прусской легенды в том, что она является лишь ответом на французскую легенду; последняя рассказывает, что феодальная Европа начала войну на уничтожение против Французской революции. Такая формулировка также неправильна; принципиально феодальную войну хотел вести лишь полусумасшедший король Швеции, и хитрая царица Екатерина делала вид, что хочет ее вести. Истинные взаимоотношения, существовавшие тогда, легче всего можно познать из опыта революции наших дней. Господствующие классы сначала недооценивают революционное движение и обычно стараются использовать его для сведения счетов друг с другом. Лишь когда оно достигает определенной высоты, господствующие классы замечают, что перед ними явился враг, который угрожает им гибелью, и тогда они стараются объединиться в реакционную массу, чтобы подавить революцию.

Однако высота революционного прогресса обыкновенно соответствует глубине их реакционного распада; они не обладают уже необходимыми интеллектуальными и моральными силами, чтобы вести принципиальную войну с той энергией и выдержкой, с той дисциплиной и самопожертвованием, которые одни могут обеспечить им победу. Они уже слишком привыкли к тому, чтобы близоруко преследовать свои самые узкие интересы, так что не могут пожертвовать ими ради общих интересов; гораздо больше, чем победа, их интересует добыча, которая придется на их долю после победы; идя вперед, плечо к плечу, они на каждом шагу боязливо оглядываются вокруг, не собирается ли с ними сыграть какую-нибудь штуку их ближайший сосед. Они взаимно совершенно не доверяют друг другу и имеют все основания к такому недоверию; между ними возникают всевозможные ссоры еще прежде, чем они встретятся с врагом; если же они все-таки столкнутся с ним, то сомкнутым революционной силой фалангам легко прогнать с поля битвы разложившиеся банды. Изношенные лохмотья знамени, которое они подымают, сеют в их

собственных рядах лишь сомнение и вражду, убивая вместе с тем все зачатки раздора в рядах противника, сплачивающегося все сильнее и сильнее.

Этот опыт, который революционный пролетариат выносит из современных событий, можно бы вывести уже из всех феодальных коалиций против Французской революции, особенно же из первой коалиции. Пока опасность угрожала лишь французской монархии, другие монархи смотрели на беду своей соперницы с тайным злорадством. Прусское государство даже подбросило несколько полен в костер, пылавший вокруг французского трона. И «реакционная масса» начала собираться лишь тогда, когда унижения, которым подвергалась французская королевская чета после своей неудачной попытки к бегству, обнаружили опасность, угрожавшую всем европейским тронам, как это заявил император Леопольд в своем циркуляре из Падуи; он совершенно правильно набросал и программу, которую должна была принять «реакционная масса», если она рассчитывала иметь успех. Он говорил: «Ради большого общего дела каждая держава должна отказаться от самостоятельных притязаний». Однако первый же союзник, к которому он обратился, категорически заявил ему: «А что же я получу за это?»

На этом же вознаграждении настаивало и прусское правительство, когда надвинулась непосредственная опасность войны и австрийское правительство должно было согласиться в условиях оборонительного союза, которым оно в феврале 1792 г. закрепило июльское соглашение предыдущего года, признать прусские претензии на вознаграждение за военные издержки. Чем больше толстый Вильгельм вдохновлялся мыслью уничтожить ржавым копьем дракона революции, тем настойчивее требовал он хороших чаевых за свою добровольную службу, которую он нес якобы для всеобщего блага человечества.

Русская царица с дьявольской хитростью сеяла между немецкими государствами, которые она всеми силами втравливала в войну с Францией, семена внутреннего разлада. Ставя перед прусским королем в виде приманки кусок Польши, она одновременно возбуждала в Вене вопрос о полюбовной сделке по излюбленному староавстрийскому плану — об обмене Бельгии на Баварию, т. е. о восстановлении австрийского господства над Южной Германией.

И в Берлине и в Вене приманка подействовала, но в Берлине ее проглотили еще с большей жадностью, чем в Вене. «Рыцарский» король Пруссии забыл, что он обя-

зался торжественным договором защищать польские области и не менее торжественно признал польскую майскую конституцию, так что новый грабеж Польши он мог начать, лишь наложив позорнейшее пятно на свою честь; он забыл также, что его предшественники всегда самым решительным образом, вплоть до опасности вызвать войну, боролись с распространением австрийского господства на Южную Германию не только с точки зрения целесообразности, но гораздо больше с точки зрения специфически прусской.

В Вене также не хотели останавливаться на полдороге, вступив уж раз на наклонную плоскость вопроса о возмещении; под предлогом, что обмен не даст никакого реального увеличения владений и населения, требовали еще и старогогенцоллерновских владений—маркграфств Ансбаха и Байрейта, перешедших к прусской короне вследствие отречения последнего маркграфа. Это пришлось прусскому королю не по шерсти; он отклонил требование, и, конечно, в результате этого Австрия, которая все еще была в высокой степени заинтересована в сохранении Польши, стала проявлять еще больше подозрительности к польским планам своего союзника.

Таким образом, в июле 1792 г., когда Австрия и Пруссия готовились к прыжку на революционную Францию, они смотрели друг на друга с таким ворчанием, как два не доверяющих друг другу хищника. Несмотря на то, что война была объявлена только одной Австрией, Пруссия же выступила лишь как ее союзница, она выставила все же на Рейне свое главное войско и главнокомандующего: 42 000 человек под командой герцога Карла-Вильгельма Брауншвейгского продвинулись от Кобленца к границам Франции и должны были когда-нибудь завоевать Париж, что, по рассказам кобленцских эмигрантов, являлось совершенно безопасной прогулкой.

Герцог Брауншвейгский, правда, в глубине сердца не разделял этого мнения; это был мелкий немецкий деспот, выделившийся из среды себе подобных как гнуснейший барышник людьми, к тому же мучитель людей, превративший последние 10 лет жизни Лессинга в непрерывные страдания, но вместе с тем он был достаточно образован и, несомненно, чувствовал тайное содрогание перед демоническими силами революции. Он вел войну скрепя сердце и вдобавок испытывал вполне справедливое недоверие к своим талантам полководца; он не столько мог проявить их на деле, сколько был наслышан о них от льстивых слуг как любимый племянник стареющего короля Фридриха.

Однако, несмотря на эти сомнения, герцог позволил эмигрантской рвани уговорить себя и разразился тем знаменитым манифестом, который угрожал сравнять Париж с землей, суля французскому народу все ужасы вражеского нашествия, вдобавок — возвращение деспотизма и мщение. Это было той поразительной глупостью, примеры которой можно встретить только в прусской истории, но зато уж целыми дюжинами; в момент, когда прусско-австрийский союз трещал по всем швам, была объявлена феодальная принципиальная война, возмутившая французский народ до последнего человека. Бесстыдному манифесту были ответом бессмертные звуки «Марсельезы», написанной в Страсбурге: «Aux armes, citoyens!» («К оружию, граждане!»). И прежде чем прусское войско достигло французской границы, французская монархия была низвергнута.

Все же герцог Брауншвейгский с величественной медлительностью, которая только и соответствовала достоинству фридриховской армии, перешел границу, взял даже несколько мелких крепостей; однако при Вальми он натткнулся на войска, которые хотя и не доросли еще до его войска, но могли оказать ему серьезное сопротивление, и герцог после бесполезной и нелепой канонады с той же великолепной торжественностью повернул обратно. Французы предоставили уничтожение прусского войска осенней непогоде и грязи в Шампани, так что, когда пруссаки снова достигли немецкой земли, они потеряли половину своих людей. Сами же французы заняли Бельгию и Майнц — главную крепость Германии, и, таким образом, крестовый поход против революции получил свой бесславный, но заслуженный конец.

2. КРАСНЫЙ ТЕРРОР

Новый грабеж Польши разлагающим образом подействовал на начавший уже внутренно распадаться союз Австрии и Пруссии. Новый владетель в Вене, выбранный, так же как его предшественник, германским императором, молодой человек лет около двадцати, не обладал ни просвещенным деспотизмом своего дяди, Иосифа, ни терпеливо взвешивающим хладнокровием своего отца. Император Франц был весьма недалеким деспотом, ханжой, злобным, эгоистичным, слабым и упрямым, как характеризовал его один известный знаток людей; на польский грабеж он ответил тем, что назначил руководящим министром Тугута, самого большого ненавистника пруссаков из всех своих дипломатов, и Тугут стал энергично проводить завоева-

тельную политику короля Иосифа, не заимствуя, однако, ничего из его внутренней реформаторской политики. Первой его заботой было ослабить прусское влияние в Польше и сблизиться с русской царицей; последняя встретила это с величайшим доброжелательством, так как она лишь с большой неохотой уступила Пруссии часть польской добычи.

Пруссия отомстила за это тем, что стала нагромождать возможно больше препятствий на пути к осуществлению плана об обмене Баварии на Бельгию; она поставила его в зависимость от добровольного желания дома Виттельсбахов, с которым можно было совершенно не считаться, и заявила, что приобретение Бельгии является прежде всего не ее делом, а делом Австрии. Пруссия после присвоения добычи в Польше вообще потеряла склонность к войне с Францией, несмотря на то, что революционная пропаганда, вызванная нелепым нападением на Францию, имела теперь весьма опасные стороны для феодальной Европы и что уже в 1793 г. вся Европа, за исключением Дании, Швеции, Турции и еще нескольких небольших стран, стояла во всеоружии против Французской революции.

На другой день после канонады при Вальми в Париже открылся Национальный конвент, ставший после падения королевства верховной властью Франции. Его заседания проходили под председательством Петиона, который когда-то снискал помощь Пруссии, чтобы отнять у французской монархии важнейшее ее право, и который получил поздравление от Фридриха-Вильгельма II за свои демократические речи. Конвент действовал в соответствии со словами Дантона от 2 сентября 1792 г.: «Гудящий колокол набата — не только сигнал к тревоге, он есть призыв на борьбу с врагами отечества. Чтобы уничтожить их, нужна смелость, еще смелость и еще раз смелость, и Франция будет спасена». Действительно, этой-то смелостью и была спасена Франция.

Конвент начал процесс против виновного короля и 23 января 1793 г. казнил его. Англия по этому поводу выслала французского посла — конечно, не из сентиментального сострадания к Людовику XVI, но потому, что она боялась увеличения французского могущества благодаря присоединению Бельгии; еще более боялась она занесения революционного огня в Ирландию и Англию, где было собрано достаточно горючего материала. В ответ на это Конвент объявил 1 февраля войну Англии и ее союзнице — Голландии. Месяцем позже последовало объявление войны Испа-

нии и одновременно папе, так как в Риме посланник Республики был умерщвлен фанатической толпой. Затем к войне против революции присоединились Португалия, Сардиния и Неаполь, а также внутри самой страны против революции восстал целый ряд местностей и городов. Революция казалась почти безоружной, так как старая военная организация была разрушена, а новая еще не была создана.

От этого нагромождения опасностей революция спасла себя красным террором. Ядром ее войск были парижские пролетарии, выполнившие этим великую историческую миссию, несмотря на то, что они не смогли надолго удержать в своих руках господства, реальные предпосылки для которого еще не существовали. Как экономическое развитие Франции стояло тогда на пороге крупной индустрии, так парижские рабочие стояли на пороге современного пролетариата; социалистическое мировоззрение витало тогда еще в мире мечтаний, и даже самые пылкие якобинцы, наиболее последовательные проводники красного террора, видели в этом мировоззрении лишь «пугало, придуманное мошенниками, чтобы дурачить слабые головы». Якобинство в своей исторической сущности было насквозь проникнуто мелким мещанством; а мелкое мещанство даже в тех великих событиях, которые оно когда-то вызвало к жизни, не могло присвоить себе власти, которая, по праву истории, принадлежала буржуазии.

Как это свойственно мелкому мещанству, даже в дни красного террора оно брало своих героев и идеологов не из собственных рядов, а из рядов буржуазной интеллигенции: это были врачи, адвокаты, писатели; среди них было много ленивых и извращенных субъектов, но были также и бессмертные революционеры, люди, заслужившие изумление и благодарность потомства, несмотря на то, что реакция всячески старалась похоронить их память под целыми горами клеветы. Почти все они заплатили своей жизнью за свои заслуги и свои ошибки, и прежде всего трое из них, имена которых стали неотделимы от дней кровавого красного террора: Марат, Дантон и Робеспьер.

Марат лучше всех других умел возбуждать у парижских рабочих пролетарскую жилку,— он пал под ножом одураченной мечтательницы о голубой республике. Дантон, самый гениальный из всех, был человек не без упрека, но вместе с тем это была сама пылающая действительность, вышедшая из горна природы; он скоро понял, как мало возможностей имеет кровавая работа для установления проч-

ных государственных образований, но он не мог бороться с тем чудовищем, которое сам вызвал, и пал жертвой его. Робеспьер — воплощенная формула, человек с непоколебимой верой в справедливость, добродетель и добро — мог бы в мирное время явиться прекрасным образчиком для любого филистера; теперь при помощи гильотины он пытался уничтожить все, что стояло на пути справедливости, добродетели и блага человечества, пока наконец противоположность справедливости и добродетели не устранила его самого с помощью той же гильотины.

Общее число жертв красного террора насчитывалось до 4 000 человек; по поводу этого Томас Карлейль — гениальный, хотя и неустойчивый историк Французской революции,— замечает в своем сочинении: «Это — ужасающее количество человеческих жизней; однако в десять раз больше убивают в битвах и все же заканчивают такой торжественный день пением благодарственного молебна. Это число равняется приблизительно двухсотой части всех погибших в течение Семилетней войны, а какова была цель Семилетней войны? Присоединить к себе кусочек земли и отомстить за эпиграмму.

Если история оглянется на эту старую Францию и хотя бы на времена Тюрго, когда молчаливая толпа страдальцев толпилась вокруг дворца своего короля и в угнетающей бедности, с бледными лицами, в грязи и в отрепьях протягивала ему свои написанные иероглифами жалобы и в ответ на это получала новые виселицы высотой в 40 футов, то история с грустью должна будет признать, что в период, который называется правлением террора, 25 000 000 населения страдало в общем меньше, чем в какой-нибудь другой период. Но здесь страдали не безмолвные миллионы; здесь страдали говорящие тысячи и сотни, страдали отдельные люди, которые кричали, как только могли, и наполняли весь свет своими жалобами. Вот в чем вся разница.

Действительно, это есть главная особенность, которая тотчас же должна была сказаться в обратном направлении, когда после падения Робеспьера над безмолвными миллионами начал бушевать белый террор с гораздо большей яростью, чем это прежде делал красный террор над пишущим и говорящим меньшинством; умирая, Робеспьер заклеймил белый террор словами: «Разбойники торжествуют!»

Однако хотя красный террор и был необходим, чтобы спасти Францию, он не смог бы достигнуть этой цели, если бы внутреннее разложение в лагере противников не

дало ему необходимого времени для использования всех годных для этого средств: массовая мобилизация, неограниченные реквизиции всех средств, необходимых войне, колоссальные заготовки оружия и снаряжения.

Хорошо вымуштрованные войска враждебной коалиции стояли в военном отношении значительно выше французских добровольцев, которые вначале далеко не были теми героями, какими сделала их впоследствии революционная легенда. При всей медлительности, с которой пруссаки вели войну, им удалось взять обратно Майнц, а Бельгия очень быстро попала обратно к Австрии. В конечном счете это были массы свыше 250 000 человек, для которых дорога во Францию была открыта и по сравнению с которыми французская военная сила была далеко не достаточна.

Однако англичане и австрийцы так долго бранились в Бельгии, что пропустили благоприятный для них момент: англичане требовали Дюнкирхен, а австрийцы хотели захватить Пикардию. Тем временем французы одержали новые успехи, в результате которых они хотя и не завладели Бельгией, но моральная сила их молодых войск значительно повысилась. То же самое происходило и на рейнском театре военных действий, где герцог Брауншвейгский, снова командовавший прусскими войсками, должен был действовать совместно с австрийским генералом Вурмзером, но фактически находился в постоянной ссоре с ним.

Вурмзер хотел завоевать Эльзас как вознаграждение для Австрии, а герцог Брауншвейгский не имел никакого желания содействовать этому. Он праздно стоял на Пфальцских горах, и ему удалось лишь отразить при Пирмазенсе и Кайзерсляутерне атаки молодого генерала Гоша; этот генерал, бывший раньше конюшенным мальчиком, принадлежал к тем блестящим военным талантам, которых теперь начала порождать Французская революция. Гош бросился на Вурмзера, разбил его в ряде сражений, освободил осажденный союзниками Ландау и прогнал австрийцев обратно за Рейн, вследствие чего пруссаки также были принуждены очистить Пфальц. Единственным плодом их похода оказалось возвращение Майнца.

Это был все же весьма печальный исход; прусское войско потеряло более 10 000 человек, а прусская военная касса, насчитывавшая после короля Фридриха 50 000 000 талеров, была совершенно истощена. Наоборот, военные силы французов богато развернулись; Карно — «организатор победы» — сумел великолепно слить старые линейные

войска и новую гражданскую гвардию и создать энергичный офицерский корпус, у которого гильотина уничтожила всякую склонность к предательству. Из организации масс, боровшихся за свои жизненные интересы, возник новый способ ведения войны, который со своим народным войском, неистовой стрелковой тактикой и быстро распространившейся реквизиционной системой метлой прошел по всем странам и значительно перерос старое наемническое войско с его убогой военной тактикой и медлительным магазинным снабжением.

3. КОНЕЦ ПОЛЬШИ

Прежде чем прусское войско вступило в третье столкновение с Французской революцией, произошло польское восстание, разразившееся в 1794 г., против русского владычества. Это была последняя вспышка национальной силы, не лишенная возвышенных и прекрасных черт; не нашлось ни одного предателя среди 700 союзов, насчитывавших более 20 тысяч членов, поклявшихся, под страхом смерти, слепо исполнять все приказания национального вождя Костюшко; почва по всей стране содрогалась под ногами русских, еще не видевших перед собой ни одного врага, которого они могли бы схватить.

Существовало намерение задержать начало восстания до тех пор, пока русские армии не вступят в новую войну с Турцией, которую царица тотчас же начала снова, как только решила, что Польша за ней обеспечена. Ее войска уже находились в походе на Турцию; в Польше оставалось не более 10 000 человек, и, чтобы лучше обеспечить себя, царица заставила польское правительство согласиться на разоружение части польских полков. Это значило бросить в объятия нищеты значительное количество офицеров и солдат; сопротивление, которое они оказали при своем роспуске, сделало невозможным дальнейшее промедление.

6 марта Костюшко послал в Париж письмо с просьбой ссудить его деньгами и офицерами и известил, что день восстания близок. Одновременно он извинялся, что не может выступить с лозунгами чистой демократии, так как он слишком нуждается в помощи дворянства и духовенства и в первую голову должен заботиться о сохранении внутреннего единства нации. В Париже ему дали то, чего он просил, в расчете парализовать вооруженным восстанием в Польше восточные державы; с господствовавшей тогда точки зрения буржуазной эмансипации между французской и польской революциями не было ничего общего.

Таким образом, польская революция была сразу осуждена на гибель, несмотря на то, что 17 апреля она завладела после двухдневного уличного боя Варшавой, прогнала русского генерала Игельстрома, нанеся ему тяжелые потери, и легко разделалась также с прусскими войсками. Костюшко заявил прусскому посланнику в Варшаве, что он готов сохранить мир с Пруссией и даже дать гарантии в неприкосновенности существующих прусских границ, если Пруссия не будет оказывать никакой поддержки русским войскам, и это предложение имело у короля некоторый успех. Однако окружавшие его юнкеры, жаждавшие новой добычи, втянули его в войну с Польшей; 12 мая он сам перешел границу; следствием этого было лишь то, что на Востоке началась еще более позорная война, чем на Западе.

За 2 дня перед этим в Польшу вторгся генерал Фафрат; решительного двухдневного марша было бы вполне достаточно, чтобы достигнуть почти беззащитного Кракова и захватить кассу и военные запасы Костюшко. Однако Фафрат принадлежал к тому сорту прусских формалистов, заполнивших тогда почти все войско, о которых прусский историк когда-то писал: «В лагерях они с напряжением своих умственных способностей вырабатывают искусные походные и боевые порядки, которыми они думают уничтожить любого врага, но в открытом поле оказываются не в состоянии не только драться, но и сдвинуться с места, так как у их войск нет ни правильно организованного хлебопечения, ни организованного питания».

Фафрату понадобилось 8 дней, чтобы решиться на атаку небольшого числа краковчан, поставленных Костюшко в 2 милях от Кракова, и когда при его приближении они рассеялись, оставив в его руках лишь одного пленного, он был так возмущен этой неудачей своего выдуманного за зеленым столом плана, что остался спокойно стоять на своем месте и потом, подняв обычную тревогу, вернулся обратно.

Ему не приличествует оканчивать войну — так сообщил он одному русскому генералу, который понуждал его к более быстрым действиям, — ему нужно было дождаться короля. Таким образом, Костюшко получил передышку на несколько недель и великолепнейшим образом использовал ее для подготовки к успешному сопротивлению.

6 июня, однако, Костюшко потерпел поражение при Рафке от превосходных прусско-русских сил, состоявших из 25 000 хорошо вымуштрованных солдат, тогда как у

него было лишь около 17 000 человек, половина которых состояла из только что набранных крестьян, вооруженных косами. Прусский король, появившийся со значительными подкреплениями в лагере Фафрата, лишь на очень короткий срок внес оживление в военные операции; когда Костюшко после своего поражения оставил Краков и отступил в Варшаву, пруссаки следовали за ним так медленно, что лишь 13 июля они подошли к слабо укрепленной столице.

В общем против польских инсургентов действовало теперь 50 000 прусских войск; 25 000 из них, в союзе с 13 000 русских, стояли под Варшавой, так что штурм города должен был иметь верные шансы на успех. Этот штурм диктовался также и политическими соображениями — если только этот термин может быть применен к прусской разбойничьей политике, — так как с завоеванием Варшавы король получил бы первенство в польской игре, чего ему не могли бы на этот раз пожелать ни Россия, ни Австрия.

Между тем именно потому, что он это понимал, король поддался уговорам тайного агента царицы, который с миной верного друга предостерегал его и убеждал пощадить свои военные силы для возможного столкновения с Австрией и Россией. Царица приказала своим войскам, шедшим в Турцию, спешно повернуть обратно, чтобы сначала покорить Польшу. До появления русских войск перед Варшавой царице нужно было помешать всякой серьезной попытке прусского короля укрепить свою власть в Польше, и, как ни явна была ее игра, ей прекрасно удалось провести коронованного болвана. Фридрих-Вильгельм отказался от штурма Варшавы, который даже такой герой, как Фафрат, признавал вполне осуществимым, и предпринял правильную осаду, которая проводилась со всеми обычными техническими ошибками, а потому не двигалась с места и даже нарушалась непрестанными вылазками Костюшко. Она закончилась тем, что геройское войско с королем-героем во главе начало 6 сентября смехотворное отступление в родные палестины.

Там, в польских провинциях, их ожидало новое восстание, разжигаемое смелыми налетами предводителя польских инсургентов. Инсургенты привлекали к себе тысячи рекрутов из Южной Пруссии — так была названа прусская часть польской добычи, захваченной по второму разделу, — и даже захватили 2 октября город Бромберг, что вызвало у короля в Потсдаме настоящий припадок бессильного бешенства. Участь Польши решилась тогда, когда царица,

собрав достаточные силы, послала их под командой своего лучшего полководца Суворова против восставших; в целом ряде боев Суворов разбил поляков; при Мациевице тяжело раненый Костюшко 10 октября попал в плен к русским. 4 ноября Суворов с ужасным кровопролитием взял штурмом Прагу — предместье Варшавы, после чего польская столица капитулировала. Суворов со свойственным ему насмешливым лаконизмом сообщил прусскому генералу Шверину: «Я здесь с моими победоносными войсками», и прусскому королю: «Прага дымится, Варшава дрожит. На валах Праги. Суворов».

Но по-другому, чем этот победный крик, звучало официальное сообщение южногерманской газеты («позорная клевета», как назвал его Костюшко), будто Костюшко передал свою саблю русским, воскликнув: «С Польшей покончено! Конец Польше!»

Это была злобная и трусливая ложь, вдвойне злобная и трусливая по отношению к тому геройскому самоотвержению, с которым Костюшко и его сподвижники пытались в последний момент изменить судьбы своего отечества. Но это было злобой Терсита у своей собственной уже готовой могилы, в которую окончательно столкнуло Пруссию ее предательство по отношению к Польше...

4. БАЗЕЛЬСКИЙ МИР

Война Франции с Пруссией была закончена за полгода до 19 октября 1795 г., когда состоялось окончательное решение судьбы Польши Россией, Австрией и Пруссией.

Третий поход 1794 г. принес прусскому оружию так же мало лавров, как и два первых. Уже в конце второго похода герцог Брауншвейгский сложил с себя главное командование, чувствуя себя, по его словам, «морально больным». Страх перед демоническими силами революции пробудил в его узком и ленивом мозгу проблески сознания. Он заявил, что если воодушевление и опасность двигают великую французскую нацию к великим делам, то и среди объединившихся противников каждый шаг должен руководиться единой целью и единой волей; если же каждая армия будет действовать сама по себе, без твердого плана, без единства, без принципа и без метода, то из этого не выйдет ничего, кроме всеобщей путаницы.

Это было правильное, но совершенно бесплодное признание. Подобные группировки постоянно разрываются внутри себя, но давление прогрессивной победоносной революции заставляет их снова сплачиваться. Даже прус-

ский король не хотел отказаться от борьбы с якобинцами [1]; юнкерскому окружению с большим трудом удалось втянуть его в польский поход, так жаждал он контрреволюционных лавров на Рейне, хотя они становились очень дорогими.

Правда, было очень легко заменить Брауншвейга Мюлендорфом — одного солдафона другим,— но отсутствовала самая главная предпосылка для ведения войны — деньги. Не оставалось ничего другого, как отдать прусское войско, в количестве 62 400 человек, в наем морским державам. Таким образом, Пруссия унизилась до уровня мелких немецких государств, которые несколько лет назад продали свои войска Англии для войны с Америкой. Гаагским договором от 17 апреля 1794 г. было обусловлено, что все завоевания прусских войск принадлежат морским державам и что войска должны употребляться там, где это является необходимым в интересах морских держав, но все же, как настояли из последних остатков стыда представители Пруссии, лишь по военному соглашению Англии, Голландии и Пруссии.

В то время как делались такие отчаянные попытки удержать колеблющуюся коалицию, французы, пустившие теперь в ход все средства, готовились к войне на широкую ногу. Они предполагали направить главное свое нападение против Нидерландов, выгнать из Бельгии англичан и австрийцев и завоевать Голландию. От Арденн до Дюнкирхена они выставили около 300 000 человек; в руководстве операциями участвовал Карно; северной армией командовал Пишегрю, решительный полководец с революционным происхождением; под его командой находились Моро, Макдональд, Вандом, Бернадот и другие смело подымавшиеся таланты.

Как и прежде, союзники могли обладать преимуществом в том или ином роде оружия, но они не могли сравняться с французами ни в энергичном ведении дела, ни в безумной храбрости войск, неудержимо продвигавшихся вперед. Морские державы призвали на помощь свои прусские наемные войска, однако Мюлендорф, опираясь на вышеуказанный двусмысленный параграф Гаагского договора, заявил определенно, что без его согласия никто не может распоряжаться его войсками; он же ни в каком случае не пойдет в Бельгию, а военные операции

---

1 Якобинцы — революционная партия мелкой буржуазии времен Французской буржуазной революции 1789—1794 гг. Стояли у власти с 1793 до 1794 г. — *Ред.*

в Нидерландах он поддержит движением против Эльзаса и Лотарингии. Таким образом, только что склепанная коалиция снова затрещала по швам; дело дошло до энергичных неприязненных переговоров, которые наконец привели к полному разрыву между Англией и Пруссией.

По смыслу договора морские державы были совершенно правы, и даже прусский министр Гарденберг находил: «Мы, несомненно, все согласимся с тем, что спасение Голландии в высшей степени важно и что мы должны верой и правдой выполнять заключенный с морскими державами договор, если только мы не хотим навлечь на себя обвинение в вероломной политике и этим оттолкнуть от себя всех, заслужив общее презрение...» Однако Гарденбергу не удалось ничего сделать против своего гораздо более влиятельного коллеги Гаугвица, который как раз и вставил этот параграф в Гаагский договор и теперь стоял на стороне Мюлендорфа.

Тогда англичане приостановили выплату жалованья, и прусские военные действия снова оказались парализованными. О походе против Эльзаса и Лотарингии не было, конечно, и речи; Мюлендорф занял лишь те позиции в Пфальце, с которых пруссаки были выгнаны в прошлом году.

Однако осенью, когда австрийцы были выбиты из Бельгии и отошли за Рейн, он вынужден был отдать их снова и также отступить за Рейн; таким образом, французы в результате своего похода получили не только Бельгию, но и левый берег Рейна. Однако этого еще было мало: Пишегрю к рождеству этого года завоевал еще и Голландию, провозгласив ее Батавской республикой. Это была первая дочерняя республика, которыми начала опоясывать себя Франция.

Старопрусское государство находилось теперь в полном разложении: от Франции оно было отделено широкой пропастью революции, с Англией было окончательно порвано, с обоими императорскими дворами мир находился на острие меча; подавившись польским грабежом, с совершенно расстроенными финансами, с опозоренным несчастными походами войском, оно висело над пропастью; для него не было уже спасения, речь могла итти только об отсрочке его гибели, которую можно было купить заключением позорного мира, положившись на милость революционной Франции.

Фанфаронство манифеста 1792 г. было уже окончательно вытравлено из прусского юнкерства. Как генералы, так и

дипломаты настаивали на мире с Францией наперекор упрямому королю, который никак не мог отказаться от своей сумасбродной идеи, что он, как «рыцарский монарх», не может вести переговоры с «цареубийцами». Они сделали для него приемлемыми эти переговоры, указав на то, что Робеспьер низвержен, и пообещав вести переговоры через Бартельми, французского посланника в Швеции — дипломата времен Людовика XVI.

В Париже очень охотно пошли навстречу прусским мирным предложениям. Здесь питали еще радужные надежды на то, что старопрусское государство носит все же сравнительно современный характер, и были даже готовы заключить союз с Пруссией. При этом, конечно, не забыли обеспечить и свои собственные интересы и наложить на побежденного Кавдинское ярмо[1]. Пруссия должна была просто выйти из коалиционной войны и в случае, если Франции удастся занять левый берег Рейна, отказаться от своих леворейнских владений; в вознаграждение за это, при общем мире, она должна была по молчаливому дружескому соглашению получить владения из отнятых земель праворейнских духовных владетельных особ.

Заключенный 5 апреля 1795 г. в Базеле мир устанавливал демаркационную линию, которая начиналась от восточного берега Фрисландии и шла на юг до Майна, а оттуда на восток до Силезии, охватывая, таким образом, всю Северную и Среднюю Германию; французы обещали признавать эту линию, если имперские сословия, охваченные этой границей, будут соблюдать строжайший нейтралитет. Представителем Пруссии при заключении этого мира был сам Гарденберг[2], только что предостерегавший от политики, которой можно всякого оттолкнуть от Пруссии и навлечь на нее всеобщее презрение; он должен был довести эту политику до той вершины, которой она до сих пор еще не достигла. Отсюда делалось заключение, что Базельский мир при всем своем позоре был необходимостью для Пруссии. И это, конечно, верно, быть может даже вернее, чем полагают писатели, прикрашивающие историю.

Из всей феодальной коалиции прежде всех испустило дух старопрусское государство: после небольшой борьбы с революцией оно было совершенно истощено в интеллекту-

---

[1] Кавдинское ярмо — унизительный обряд прохождения под ярмом, по исполнении которого римское войско, разбитое самнитами в 321 г. до нашей эры в Кавдинском ущелье, было отпущено на свободу. — *Ред.*

[2] Гарденберг — прусский канцлер (1750—1822 гг.). — *Ред.*

альном, моральном, финансовом и военном отношениях, тогда как другие державы феодальной коалиции еще в продолжение значительного времени могли противостоять ей с переменным счастьем. Старопрусское государство вышло из круга великих событий и под защитой трусливого нейтралитета кое-как влачило свое жалкое существование; всеми ненавидимое и презираемое, оно дорогой ценой купило последнее десятилетие своей жизни.

5. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ИМПЕРСКОЙ ДЕПУТАЦИИ

Еще до смены прусского монарха закончилась первая коалиционная война. Через 2 года после Базельского мира Австрия заключила с Францией предварительный мир в Леобене, а через полгода после этого, 17 октября 1797 г., окончательный мир в Кампо-Формио. Австрия боролась за общие феодальные цели с большей энергией, чем Пруссия, и одержала некоторые успехи в Южной Германии над французами, но все же наконец потерпела поражение на итальянском театре военных действий от превосходного военного таланта молодого генерала Бонапарта, который хотя и не изобрел новой военной системы, но умел применять и использовать ее гораздо лучше, чем все другие военные таланты Французской революции.

Мирные условия были далеко не благоприятны для австрийской монархии. Она уступала Франции Бельгию, которую она уже давно считала потерянным аванпостом, отказывалась также от Ломбардии и соглашалась на создание Цизальпинской республики, составленной из Ломбардии, Модэны, папской провинции и части Венеции, где Наполеон сокрушил разложившееся уже олигархическое государство. За это Австрия получила бо̀льшую часть Венеции, а также Истрию и Далмацию, что давало великолепное округление ее владениям и вместе с тем улучшало ее морскую позицию. Позор этого мира заключался для Австрии в том, в чем и позор Базельского мира для Пруссии: император обязался ограбить империю, пообещав Французской республике помогать в завоевании левого берега Рейна. Переговоры по этому поводу велись на конгрессе в Раштадте уполномоченными Германской империи и представителями Французской республики.

Этот конгресс открылся в декабре 1797 г. и продолжался целый год. Он сопровождался такой же озлобленной и бесплодной грызней, какой когда-то начался грабеж Свя-

щенной римской империи германской нации[1]. Французские уполномоченные держали себя как настоящие господа и распорядители Германии и имели к этому все основания; немецкие князья льстиво увивались вокруг них, как свора жадных охотничьих собак; ни один из этих дворян не чувствовал национального оскорбления из-за потери левого берега Рейна, — наоборот, каждый из них хотел получить свою долю в грабеже церковного имущества. И в Базеле и в Кампо-Формио одинаково молчаливо подразумевалось, что потери, понесенные светскими князьями при уступке левого берега Рейна, будут вознаграждены секуляризацией духовных владений на правом берегу Рейна; ненасытная жадность князей получила полный простор, и они так пресмыкались, что Бонапарт, временно посетивший конгресс, навсегда сохранил в своем сердце презрение к этой княжеской сволочи.

На Ратштадтском конгрессе впервые стало ясно всему миру, как низко пал моральный уровень Пруссии. Роль посредника, которую она будто бы играла при своем нейтралитете, оказалась совершенной иллюзией; даже наиболее любимые ею немецкие князья устремлялись, не обращая на нее никакого внимания, к французским посланникам, как к настоящим господам положения; она должна была удовлетвориться, как говорил сам Трейчке, грустной ролью быть первой среди этих жаждущих добычи мелких государств. Однако Австрия оказала ей протекцию по крайней мере в одном: в тайных пунктах договора Кампо-Формио она оговорила, что только прусские владения на левом берегу Рейна не должны перейти во владения Франции, чтобы, таким образом, у Пруссии был отнят повод к другим приобретениям.

В тех же тайных пунктах Австрия выговорила себе французское посредничество для приобретения епископства Зальцбург; она также хотела попробовать духовной пищи. Однако это оказалось ей не по нутру; если бы все церковные владения были розданы, то ее господство над империей, покоившееся главным образом на трех духовных

---

[1] Священная римская империя германской нации — основана в 800 г. Карлом Великим (был коронован римским императором). В состав империи в X—XI столетиях входили: собственно Германия, большая часть (две трети) Италии, Бургундия, Богемия, Моравия, Польша, Дания, отчасти Венгрия. Затем империя постепенно распадается. В 1648—1806 гг. она остается исключительно германской империей: объединяет Австрию и целый ряд германских государств (нынешняя Германия), после чего распадается и эта империя.— *Ред.*

курфюршествах, было бы сильно поколеблено; к этому прибавлялось также и то, что революционная пропаганда распространялась все больше и больше. Бонапарт отправился в Египет, чтобы напасть на английское мировое господство с востока в наиболее уязвимом для него месте; 15 февраля 1798 г. была объявлена Римская республика, а 12 апреля — Гельветическая[1]. И когда в ноябре 1798 г. неаполитанские войска вторглись в Римскую область, они были отброшены; французские войска захватили Неаполь, преобразованный затем, 25 января 1799 г., в Партенопейскую республику.

Так связывались летом 1798 г. нити для второй феодальной коалиции против Французской революции. Австрия решила снова взяться за оружие, Англия еще не успела сложить его, а Россия примкнула на этот раз не только на словах, но и на деле. Царице Екатерине наследовал ее сын Павел, такой же полусумасшедший, как и его отец, и с фанатическим усердием стал проводить тот феодальный крестовый поход против Франции, которым Екатерина лишь дурачила немецкие государства. Эта вторая коалиция, куда вступили также Неаполь, Португалия, Швеция и Турция, была несравненно опаснее для Франции, чем первая; предвестником ожесточения, с которым она велась, является позорное убийство французских послов австрийскими гусарами, происшедшее при роспуске Раштадтского конгресса после объявления войны 1799 г.

Прусское правительство радостно потирало руки. Оно воображало, что стоит в центре Европы и собирает свои силы, тогда как другие державы взаимно уничтожают силы друг друга. Однако французы начали уже догадываться об истинном положении старопрусского государства. Сиес, французский посол в Берлине, сообщал в Париж: «Прусский король принял самое скверное решение — ни на что не решаться. Пруссия хочет остаться одна, это очень выгодно для Франции; за время этого прусского ослепления она сможет справиться с другими. Совершенно несправедливо говорят, что Берлин — центр европейских переговоров: вся мудрость берлинского двора состоит в том, чтобы с настойчивостью и постоянством играть пассивную роль». С противоположной стороны относились сначала с большой подозрительностью к объединению Пруссии с Францией, но когда выяснилось, что это

[1] Гельветическая республика — так называлась Швейцария после занятия ее французскими войсками. Существовала с 1798 до 1803 г. — *Ред.*

объясняется полнейшим ничтожеством Пруссии, то страх сменился чувством, весьма далеким от почтения.

Вторая коалиция достигла больших успехов. В Германии счастливо дрались австрийцы. А при Абукире англичане уничтожили французский военный флот; затем, по существу победами русских, была завоевана Италия. Итальянские дочерние республики, насажденные Францией, исчезли: их место снова заступили папское государство и Неаполитанское королевство. Вместе с этими внешними затруднениями рос и внутренний раскол во Французской республике. Правительство директории, в котором непосредственно воплотилось господство буржуазии, не смогло справиться ни с внешними, ни с внутренними затруднениями.

Однако французский народ в целом крепко держался за завоевания революции; с большим ликованием встретил он генерала Бонапарта, вернувшегося после сообщения об итальянском поражении из Египта, и доброжелательно отнесся к тому перевороту, которым он 18 брюмера (9 ноября) 1799 г. разогнал директорию и сделался самодержцем, сначала в образе консула с двумя товарищами, имевшими, конечно, лишь декоративное значение. Свои силы Бонапарт черпал из наследия буржуазной революции, которое он начал ликвидировать и внутри и вне; первое слово, сказанное о победителе 18 брюмера, оказалось и наиболее метким из всех, когда-либо сказанных по его адресу. «Это само якобинство, сконцентрированное в одном человеке и вооруженное всем оружием революции», — сказал граф Марков, русский посол в Париже.

Здесь не место распространяться о внутренней политике Бонапарта; во внешней же политике он нашел положение значительно упрощенным. Вторая коалиция, так же как и все феодальные коалиции, тотчас же, несмотря на свои успехи, начала разъедаться взаимной ненавистью и завистью; именно в Италии, где она боролась успешнее всего, как раз и произошел разрыв между австрийцами и русскими. Тугут, желавший приобрести полную свободу для габсбургской дворцовой политики на полуострове, оттеснил русского генерала Суворова с его победоносного пути через Альпы в Швейцарию. Это так возмутило царя, что он в октябре 1799 г., как раз в то время, когда Бонапарт возвратился из Египта, вышел из коалиции. Со свойственной ему взбалмошностью он бросился в совершенно обратную сторону: более слепой, чем его парижский посол, он признал в Бонапарте после 18 брюмера восстановителя по-

рядка и стал связывать с ним мечтания, которые связывал раньше со старофранцузской королевской семьей.

Что касается Англии и Австрии, то новый первый консул предложил им мир; правда, это могло быть лишь тактическим шагом, хотя даже буржуазные историки начинают отказываться от сказок о том ненасытном завоевателе, который непрерывно нападал на миролюбивых феодальных князей, чтобы создать себе мировое господство. Но если даже это и был только тактический шаг, то он был во всяком случае довольно искусным шагом; Питт Младший грубо ответил, что единственным путем к миру является восстановление старой Франции в ее прежних границах; ответ Тугута был более мягок по форме, но и он отклонил мир, предложенный Бонапартом на условиях соглашения в Кампо-Формио. Таким образом, началась кампания 1800 г., которая битвами при Маренго и Гогенлинде снова дала победу французским знаменам. Австрия должна была согласиться на мир, который был заключен 9 февраля 1801 г. в Люневиле и который наложил на нее гораздо более тяжелые условия, чем мир при Кампо-Формио.

6. АУСТЕРЛИЦ

Земли, брошенные решением имперских депутатов как возмещение старопрусскому государству, были последним видимым успехом нейтральной политики со времен Базельского мира; к лету 1803 г., когда французы заняли курфюршество Ганновер, начали созревать горькие плоды этой политики. Это было следствием англо-французской войны, которая возобновилась после Амьенского мира, установившего непрочное перемирие. В этой войне, с точки зрения морализующих историков, не была виновна ни та, ни другая сторона; война между Францией и Англией была исторической необходимостью, борьбой наиболее экономически развитых наций за мировой рынок, что не укрылось от пророческого взгляда немецкого поэта:

На земле два могучих народа
Борьбу за господство ведут.
Под угрозой всех наций свобода,
Трезубцы сверкают, и молнии жгут.
Золотом ценность всех стран измеряют,
И, как Бренн[1] во тьме веков,

[1] Бренн — имя, вернее, титул нескольких галльских вождей. Наиболее известен Бренн — вождь сенонов (галльского племени в Верхней Италии), вторгшийся в римские владения с огромным войском в 388 г. — *Ред.*

На весы справедливости франк дерзко бросает
Славную шпагу отцов.
Флот простирают свой бритты,
Как спрут своих щупальцев сеть,
И безбрежную зыбь Амфитриты
Хотят замкнуть, словно клеть.

Но это была борьба льва с акулой. Могучие противники не могли непосредственно схватиться. Франция не могла уничтожить английский флот, а Англия — французскую сухопутную армию. Единственным уязвимым местом Англии на континенте являлся Ганновер, связанный с ней личной унией. И как раз намерение запереть этот главный пункт привоза английских товаров на континент и привело к занятию Ганновера французскими войсками. Однако занятие его ставило под угрозу нейтралитет Северной Германии, установленный Базельским миром. Ганновер граничил с коренными землями прусского государства, он огибал Бремен и Гамбург, господствовал над нижней Эльбой и Везером, простираясь до ворот Любека и до берега Балтийского моря. Французские войска стояли теперь в двух переходах от Магдебурга, в пяти переходах от Берлина и в семи переходах от Штеттина.

Однако в Берлине нехватало мужества заявить серьезный протест против нарушения знаменитой демаркационной линии. Советник кабинета Ломбард отправился с робко протестующим письмом в Брюссель, где находился Бонапарт, и позволил ему себя высмеять. Доклад, сделанный Ломбардом по его возвращении к королю, об успехах своей миссии, принадлежит к наиболее замечательным документам прусского недомыслия. «Невозможно передать, — значится там,— того тона благородной искренности и доброты, которыми первый консул выразил свое уважение к вашим правам, чтобы внушить вашему величеству то доверие, которого он (Бонапарт) заслуживает». Ломбард прославлял «благородную простоту и подкупающую искренность» Бонапарта: «Мне кажется, он твердо решил уважать права нейтралитета. К тому же он испытывает безусловное уважение к военной силе вашего величества, и, если только я не обманываюсь окончательно в своих наблюдениях, он никогда не осмелится навлечь на себя ради несправедливого дела всю тяжесть вашего оружия».

У Бонапарта были все причины выставить тот намазанный клеем прут, на который так охотно летели прусские болваны; он хотел, по словам одного французского историка, сделать из Пруссии шлагбаум, который должен был

запереть берега материка для английских товаров. Он даже готов был очистить Ганновер, если Пруссия захочет соединиться с ним против Англии, но так как тут также было необходимо решение, на которое прусская немощность не отваживалась, то дело кончилось тем, что французские войска высосали Ганновер, заперли Эльбу и Везер, а прусская торговля фактически перестала существовать.

Между тем Бонапарт сконцентрировал в лагере под Булонью большую армию, чтобы произвести десант в Англию и нанести решительный удар своему смертельному врагу на его собственной земле. Его могущество непрерывно возрастало: в 1804 г. он заставил провозгласить себя императором Наполеоном и принял корону от папы; он возложил на себя также железную корону королей Ломбардии, а своего пасынка Евгения Богарне сделал вице-королем Италии и присоединил Геную и Парму к Французской империи. Воля Наполеона царила в Голландии и Швеции; южнонемецкие князья смотрели на него как на своего покровителя, а владея Ганновером, он пробивал широкую брешь в Северной Германии.

Чтобы победить могучего противника, Питт стал строить третью коалицию; ему удалось завербовать в нее Австрию, Россию, а также несколько мелких государств. В Вене так же неохотно переносили Люневильский мир, как раньше мир в Кампо-Формио, тем более что из Люневильского мира вытекала потеря могущества Габсбургов в Германии и Италии. Там инстинктивно понимали, что старый немецкий императорский титул потерял всякое содержание и цену; после создания Французской империи была объявлена наследственная Австрийская империя. Прежде чем навсегда потерять права и забыть предания столетий, хотели еще раз попытать счастье оружия.

Царь Александр решил вступить в третью коалицию совсем по другим причинам. Его попытка разделить с французским победителем господство над миром не дала ему ничего, тогда как другая сторона получила добычу в избытке. Такие плохие сделки всегда были не по вкусу русской жадности. Александр еще раз хотел испробовать противоположный полюс своей двойственной политики, взяв на себя роль освободителя Европы от галльской тирании. Вполне понятно, что он, по весьма прочным традициям русского царизма, утаивал свои завоевательные планы. Охотнее всего он выдвигал на первый план свою величайшую скорбь по поводу смерти герцога Энгиенского, принца из старого французского королевского дома, которого

первый консул захватил в Бадене и приказал расстрелять в форте Венсене, в виде реванша за покушение роялистов на жизнь консула.

Действительно, дому Романовых, больше чем кому-нибудь, подходила роль защитников оскорбленной легитимности, так как в этом доме право наследования предусмотрительно регулировалось дерзкими расторжениями браков и тайными убийствами. Сам царь Александр, глава этого дома, заботливо оберегал и ласкал убийц своего отца и доверял им, несмотря на их полнейшую военную бездарность, командование в той войне, которая выставляла цели достижения блага человечества!

В апреле 1805 г. третья коалиция была готова. Она была так же реакционна, как и обе первые; своей целью она провозгласила: возвратить Францию к ее прежним границам, создать путем разделения завоеваний крепкую пограничную линию с Францией и объединиться на всеобщей системе общественного права в Европе, т. е. на восстановлении феодального общества. Однако от своих предшественниц новая коалиция научилась мудрости — сначала убить медведя, а потом уж делить его шкуру, между тем три великие державы не были уверены, что даже общими силами им удастся одолеть наследника революции. Они хотели иметь союзником — будь это добровольно или нет — также и прусское государство.

Таким образом, за прусский двор сватались с обеих сторон, и тогдашние официозы, с тем хвастовством, которое они передали в сохранности своим теперешним преемникам, заявляли: «Никогда еще прусская политика не достигала той высоты, на какой она находится сейчас; Берлин является сейчас центром дипломатии». Штейн смотрел на это положение пессимистично и предсказывал: «Мы не получим никаких преимуществ за вероломство нашей политики; беспринципность нашего поведения делает нас предметом всеобщего пренебрежения и отвращения». И действительно, судьбы старопрусского государства разрешались в атмосфере всеобщего презрения.

Первым выразил откровенно это презрение царь Александр I. Питт спекулировал на прусской жадности: вступление Пруссии в коалицию он хотел купить обещанием левого берега Рейна и в крайнем случае Бельгии. Но царю казалось, что этого слишком много для прусского вассала; он предлагал значительное, но неопределенное расширение на западе и пытался увеличить притягательную силу этого воображаемого пряника весьма реальным щелканьем кнута.

Это тем более не привлекало Берлин, что Наполеон предлагал Ганновер за наступательно-оборонительный союз между Францией и Пруссией. Гарденберг был за, Гаугвиц — против, и после продолжительного колебания туда и сюда король принял единственное решение, на которое он был вообще способен, т. е. не принял никакого решения, оставшись в старой колыбели строжайшего нейтралитета.

Между тем Австрия 8 сентября начала войну; австрийские войска перешли Инн и вступили в Баварию. При этом немедленно снова обнаружились несогласия и трения в этой феодальной коалиции; предполагалось поставить на ноги все имеющиеся в распоряжении силы от Штеттина до Неаполя и появиться на Рейне прежде, чем Наполеон мог заподозреть, какая опасность ему угрожает; на самом же деле, прежде чем первый русский солдат появился на берегах Инна, Наполеон стоял уже в Швабии с превосходными военными силами.

Лишь 19 сентября прибыл в Берлин курьер из Вильны с письмом от царя, в котором тот требовал свидания с королем и одновременно коротко извещал его, что 100 000 человек русских войск теперь направятся через Южную Пруссию и Силезию для соединения с австрийскими войсками. Так как в Берлине обещали сохранять строжайший нейтралитет по отношению к Франции, то Гарденберг и Гаугвиц устроили большое совещание с наиболее выдающимися генералами, на котором было решено с оружием в руках охранять нейтралитет и независимость Пруссии; но чтобы вооружиться, надо было прежде всего выиграть время. Поэтому нельзя было отклонить встречу короля с царем, нельзя было прервать мирные переговоры; надо было пригрозить в Вене и Петербурге, что если царь прибегнет к насильственным мерам, то Пруссия бросится в объятия Франции.

Тем не менее была объявлена мобилизация войска, но прежде чем она была закончена, пришло сообщение, что Наполеон, не спросясь Берлина, направил часть своего войска через Ансбахскую область, чтобы скорее встретиться с врагом. Настроение в Берлине коренным образом изменилось; к тому же в лагере коалиции немало смеялись над тем, что если Пруссия будет наказывать с оружием в руках каждого нарушителя ее нейтралитета, то придется, пожалуй, обратиться к правосудию. 14 октября пришел прусский протест, в котором говорилось, что король мог бы на основании происходящего в Ансбахе сделать весьма

серьезное заключение о намерениях императора, но ограничивается тем, что «считает себя свободным от всех прежних обязательств». Это означало не более, не менее того, что прусское правительство охотно принимало те 66 000 гульденов, которые Наполеон предлагал за причиненные Ансбаху убытки.

Однако державы каолиции спешили ковать железо, пока оно было горячо; 25 октября в Берлин прибыл царь, а через 2 дня эрцгерцог Антон. Царь напряг все свои актерские таланты, и ему удалось вызвать военный энтузиазм в польщенной королеве. 3 ноября было заключено Потсдамское соглашение, по которому Пруссия принимала на себя вооруженное посредничество между воюющими державами на принципе мира, который обеспечил бы независимость Германской империи, Голландии и Швейцарии и отделение итальянской короны от французской. Если бы в течение 4 недель Наполеон не принял этого посредничества — такого срока требовал герцог Брауншвейгский, чтобы привести войско в боеспособное состояние, — то Пруссия вступала в коалицию с войском в 180 000 человек, за что она выговаривала себе расширение владений; в тайном пункте договора царь обещал содействовать тому, чтобы Англия согласилась уступить или обменять Ганновер. Этот союз был скреплен комедией, которую царь разыграл с королем и королевой в полуночный час над гробом старого Фрица.

Теперь дело было за тем, чтобы Пруссия действовала быстрее и чтобы австро-русские войска уклонялись от решительных военных столкновений, пока не вступят в войну прусские силы. Наполеон в союзе с южнонемецкими князьями начал войну тяжелыми ударами, — он взял в плен, благодаря капитуляции Ульма [1], целую австрийскую армию и захватил Вену. Теперь он стоял в Моравии перед объединенными австрийско-русскими силами, которые превосходили его силы. Положение его тогда было вообще неблагоприятное. Нельсон уничтожил французский флот при Трафальгаре [2], а из Италии и Тироля двигалось австрий-

---

[1] Ульм — в Баварии. В 1805 г. австрийская армия Макка, неосторожно выдвинувшаяся на верхний Дунай к Ульму, была обойдена французской армией Наполеона и 16 октября, после окружения, сдалась. — *Ред.*

[2] Трафальгар — мыс на испанском берегу Атлантического океана (недалеко от Кадикса). 21 октября 1805 г. около него английский флот адмирала Нельсона разбил французский флот адмирала Вильнева. — *Ред.*

ское войско на Вену; если бы Пруссия немедленно вступила в войну, то Наполеон попал бы в опасные тиски.

Однако недоставало как раз обеих главных предпосылок, от которых зависел успех коалиции. Несмотря на то, что соглашением от 3 ноября было установлено, что прусские представители немедленно должны отправиться во французскую главную квартиру, Гаугвиц покинул прусскую столицу лишь 14 ноября не только с Потсдамским соглашением в кармане, но и с секретной инструкцией короля во что бы то ни стало обеспечить мир между Францией и Пруссией. И Гаугвиц ехал так медленно, что появился в Брюнне перед Наполеоном лишь 23 ноября. В продолжение четырехчасовых переговоров он ни слова не сказал о своем поручении и позволил отправить себя в Вену для переговоров с Талейраном, который принял его с холодной вежливостью. Через несколько дней после этого царь в припадке сумасбродной самоуверенности предпринял нападение на французское войско, и австро-русские войска были наголову разбиты при Аустерлице. С такой же чрезмерной поспешностью австрийский император через 2 дня заключил перемирие, главным условием которого было отступление русских. Третья коалиция была разбита, и тем решительнее, что между Австрией и Россией начался ожесточенный раздор.

Гаугвиц встретил извещение об Аустерлицкой битве восклицанием: «Слава богу! Мы спасены». С лентой Почетного легиона он обивал пороги французских сановников, но получил аудиенцию у императора лишь 7 декабря. Он и теперь ни слова не сказал о своем поручении и лишь поздравил с победой при Аустерлице [1]. «Это комплимент,— отвечал Наполеон сухо, — адрес которого переменился благодаря судьбе». Однако положение было еще таково, что он считал необходимой некоторую снисходительность: лишь в своем бюллетене он высказался довольно пренебрежительно о прусском могуществе, а в разговоре заметил: «Если бы я потерял битву при Аустерлице, то берлинский префект вырвался бы из-под моего влияния, стал бы австро-русским».

Устрашив австрийцев до такой степени, что оставалось лишь отнять у них последнюю надежду на прусскую по-

[1] Аустерлиц (в Моравии) — сражение 2 декабря 1805 г. между австро-русской армией и французской. Наступавшие союзники были разбиты перешедшей в наступление французской армией и потеряли 27 000 (в том числе 21 000 русских) и 158 орудий; французы потеряли всего 12 000.

мощь, он снова послал за берлинским послом и обрушился на него ужасающей грозой. Он продиктовал ему соглашение, которым Пруссия заключала с Францией оборонительно-наступательный союз. Обе державы взаимно обеспечивали друг другу свои владения и обещали произвести ратификацию договора в течение 3 недель. Пруссия уступала маркграфство Ансбах Баварии, Клеву на правом берегу Рейна и крепость Везель Франции; в вознаграждение за это она должна была получить Ганновер и область с 20 000 жителей, которую ей должна была уступить Бавария. Этот Шенбруннский мир был заключен 25 декабря, как раз в тот день, когда прусские войска должны были выступить против Наполеона.

С драгоценным документом в кармане Гаугвиц поехал обратно в Берлин. Он был встречен не как предатель своей страны и престола, но как человек, заслуживший полное доверие своего короля, орудием которого он в действительности являлся. В общем все же не было сказано ни да, ни нет, а Гаугвиц снова был послан в Париж, чтобы потребовать некоторых изменений соглашения; об уступках ничего не хотели и слышать или по крайней мере было желательно отложить их в долгий ящик. В Берлине почувствовали себя в полнейшей безопасности и даже разоружили армию, как будто наступил мир и благоденствие на всем свете.

Однако прямодушного Гаугвица ждала в Париже новая гроза со стороны Наполеона, напрямик заявившего, что Пруссия столь же глупа, как и коварна. Все же он согласился на некоторые изменения договора, но лишь на те, которые соответствовали его интересам, и лишь постольку, поскольку они били в лицо прусского короля; он утвердил возмещения, которые Бавария должна была уплатить за Ансбах, и вставил обязательство для Пруссии запереть устья Эльбы и Везера, а также все морские гавани для английских кораблей. Ухудшенный таким образом договор был заключен 15 февраля и несколькими неделями позже принят в Берлине.

Таков был достойный конец дипломатическо-военной кампании, являющейся действительно несравненным смешением глупости и лживости, единственным даже и в истории монархий.

КАТАСТРОФА[1]

(Иена и Тильзит)

1. КАК ВОЗНИКЛА ВОЙНА

Неизмеримую тяжесть позора навьючило на себя прусское государство за зиму 1805/06 г. — от Потсдамского ноябрьского договора, заключенного им с русско-английской коалицией, до Парижского февральского соглашения, заключенного им с Наполеоном. Бесстыдство, проявленное юнкерством, тем более велико, что не было обнаружено и следа раскаяния с его стороны. Наоборот, чем больше сомнительного блеска приобретала Пруссия вследствие своего вероломства, тем более дерзким становилось прусское юнкерство. Лишь немногие, вроде Шарнгорста и Штейна, подозревали угрожавшую гибель и делали серьезные попытки к предотвращению ее; эти попытки разбивались, однако, о несокрушимую ограниченность короля. Покровительствуемая им клика Гаугвиц — Ломбард спокойно продолжала свое бесчестное предательство родины. Правда, она не была все же ослеплена настолько, чтобы совсем не видеть той опасности, навстречу которой она шла, но она надеялась избежать ее «всевозможными уловками и хитростями», как выразился сам Ломбард, открыто игравший роль шпиона французского посла, доставлявший ему чистосердечные донесения о всех заседаниях кабинета и открыто получавший за это от него вознаграждение в Париже.

Наряду с этим гвардейские юнкерские офицеры бряцали саблями, били окна Гаугвицу и под звуки труб и литавр провозглашали «Hoch!» изгнанному Наполеоном Гарденбергу. Даже королеве было угодно во время посещения царем Потсдама играть роль Орлеанской девы, хотя у нее отсутствовали все необходимые для этого данные.

---

[1] «Zur preussischen Geschichte», «Universum bü h rei», т. III, стр. 320.— *Ред.*

Гораздо серьезнее, кажется, был воинственный пыл принца Луи-Фердинанда, отцом которого был якобы один из братьев старого Фрица, фактически же генерал Шметтау. Все его манеры представляли собой разительный контраст с апатичным характером короля, и хотя его мнимая гениальность временами проявлялась в настоящей развращенности, все же дружба, которой дарили его Шарнгорст и Штейн, до некоторой степени говорит за то, что он был создан из иного теста, чем другие прусские принцы. Он проклинал «каналий, которые нас предали», — Гаугвица, Ломбарда и К°, и довольно остроумно издевался над полным противоречий Берлином, который приветствовал войско и боялся войны, танцовал и заставлял танцовать, идя в то же время навстречу или жестокой, полной превратностей войне, или же миру, носящему в себе зародыш войны, которая грозит уничтожить «нашу политическую свободу».

Наполеон также знал Берлин и относился к нему с утонченным презрением. Он находил, что пруссаки еще глупее, чем австрийцы. Он подвергал своих новых союзников одному унижению за другим, бесчестил в своих официальных бумагах прусского министра Гарденберга как английского наемника, вследствие чего Гарденберг, несмотря на свою полную невиновность, был немедленно отставлен своим храбрым королем. Наполеон перешел через установленные февральским соглашением границы уступленной Рейнской области, оставлял без ответа письма Фридриха-Вильгельма, даже не оповестил его об образовании Рейнского союза. И, конечно, было лишь оскорбительной насмешкой, когда Талейран мимоходом сказал прусскому послу Лукезини, что если Пруссия чувствует себя стесненной образованием Рейнского союза, то она может основать Северогерманскую империю.

В Берлине, однако, видели в этом милостивое поощрение французского императора и чувствовали себя тем более беззаботными, что после первых же явных слухов о предстоящем утверждении Рейнского союза предались как раз этим победоносным мечтаниям. Происходила торговля по этому поводу с обоими северогерманскими курфюрстами в Дрездене и Касселе; они должны были превратиться в королей и кормиться за счет присоединения меньших имперских государств; прусский же король должен был сделаться императором и главнокомандующим союзной армии.

Однако как в Дрездене, так и в Касселе эти мечтания встречали мало сочувствия. О прусской империи в Дрез-

дене и слышать не хотели, а когда Пруссия отказалась от этой претензии, то подобное же отношение встретило и прусское главное командование в военное время. Дрезденский двор требовал, наоборот, союзной директории между Пруссией, Саксонией и Гессеном, а вместо союзной армии — трех отдельных армий под предводительством трех крупнейших государств. Вместе с тем он требовал присоединения к своим владениям саксонских герцогств. Кассельский двор был более уступчив, но также ценой гораздо большего увеличения границ, чем на то могла согласиться Пруссия. Оба двора имели гораздо большую склонность вступить в Рейнский союз, чем поставить себя под прусский протекторат, и их инстинктивное чутье, что они как династические чучела будут иметь при этом несравненно большее значение, поддерживалось, особенно в Дрездене, французской дипломатией.

В атмосфере этих бессмысленных стремлений, как взрыв бомбы, прозвучала новость, пришедшая в Берлин 7 августа от парижского посла Лукезини. Франция находилась в то время еще в состоянии войны с Англией и Россией, а Пруссия по крайней мере с Англией, которая, протестуя против занятия Ганновера, заперла прусские корабли в британских гаванях, блокировала северогерманские гавани и выдавала каперские свидетельства для уничтожения прусского торгового флота. Франции же после смерти Питта, который ненадолго пережил Аустерлицкое сражение, открылась возможность заключения мира с Англией. Лорд Ярмутс вел по этому поводу переговоры с Талейраном в Париже, а царь послал государственного советника Убри для мирных переговоров в столицу Франции. Когда лорд Ярмутс усмотрел в ганноверском вопросе главное препятствие для заключения соглашения, Талейран выразил мнение, что с этим не стоит особенно церемониться, что английский король может взять Ганновер обратно, как только ему это заблагорассудится. Английский посланник с преднамеренной небрежностью сообщил об этих словах французского министра своему прусскому коллеге (Лукезини) за веселым обедом, и последний немедленно донес об этом в Берлин.

Вследствие этого уже 9 августа последовал приказ о мобилизации большей части прусского войска. Это было совершенным безумием, так как после всего того, что уже было сделано, можно было спокойно помириться и с этим оскорблением, тем более что было совершенно невероятным, чтобы мирные переговоры Франции с Россией и

Англией достигли цели, и они действительно очень быстро порвались. О «корсиканском коварстве» приходится помалкивать, так как «честный» Фридрих-Вильгельм счел совместимым со своей политической совестью, несмотря на свой союз с Наполеоном, продолжать в глубокой тайне поддерживать дружелюбные отношения с царем. На самом деле войны, конечно, совершенно не хотели, стремясь лишь быть вооруженными «на всякий случай»; думали и на этот раз выйти счастливо из затруднения с помощью политики «изворачивания», как говорил обыкновенно Бейме. По желанию Наполеона Лукезини, затрубивший в трубу войны, был отозван из Парижа, а на его место назначен генерал Кнобельсдорф, который должен был заверить императора в миролюбивых намерениях Пруссии. Наполеон пошел еще дальше: он заявил, что Пруссия должна немедленно разоружиться, и тогда ничто не будет стоять на пути восстановления мирных отношений.

Однако с мобилизацией хитрецы оказались пойманными в ловушку. Они не могли разоружиться без гарантии в том, что Наполеон не продиктует обезоруженному государству каких-нибудь еще более позорных условий. В прусском войске стала проявляться горячая оппозиция. Многие генералы, как, например, Блюхер и Рюхель, категорически требовали войны; гвардейские офицеры шумели больше, чем когда-либо; некоторые из них просили отпуска в Париж и на вопрос — с какой целью, отвечали: чтобы посмотреть на героя на троне. Другие точили свои шпаги о ступени лестницы, которая вела в отель французского посланника. Прусский король обладал всегда хорошим слухом для подобных речей в гвардии.

При дворе царило невероятное смятение. Король был подавлен и часто плакал. Он говорил об отречении от престола. Однако как ни растерялся король вследствие своей слабости и эгоизма, все же он в высшей степени немилостиво встретил в сентябре просьбу многих генералов и принцев, а также министра Штейна о том, чтобы он отпустил наконец Бейме, Гаугвица и Ломбарда; он доверил также высшее командование тому же герцогу Брауншвейгскому, который еще 14 лет назад доказал свою полную неспособность к этому делу. Однако он не мог разоружиться, не добившись некоторого успеха; он решил выставить в качестве ультиматума два условия: Франция не должна более вмешиваться во взаимоотношения Северной Германии, и ее войска должны отойти из Южной Германии за Рейн. Это было, конечно, самое меньшее, чего он мог

потребовать, но это было несравненно больше того, что Наполеон мог позволить вынудить у себя путем военной угрозы.

Император не намеревался уступить ни на иоту и, не скупясь на дружелюбные слова, основательно подготовлял сокрушительный удар. Его победоносное войско с 1805 г. стояло в боевой готовности почти на южной границе Пруссии; Наполеон приказал ему сконцентрироваться во Франконии и потребовал контингента от Рейнского союза. 24 сентября он покинул Париж и отправился на Рейн. Для своей военной кассы он взял лишь 24 000 франков: так он был уверен в своей победе.

Между тем в Берлине решили также перейти в наступление, но ни в каком случае не твердо и не определенно, так как самый факт решения вообще был несвойственен Берлину.

В поисках союзников всюду натыкались на запертые двери: после всех предательств прусской политики ей никто уж более не верил; кто мог поручиться в Берлине, что в последний момент не будет принято другое решение? Искали мира с Англией, стучались в Петербург и в Вену; везде наталкивались на глубокое и, увы, справедливое недоверие. Сам Гаугвиц тогда стал настаивать на наступлении, и наконец царь согласился дать вспомогательное войско в 70 000 человек, которое, правда, могло прибыть лишь тогда, когда жребий будет уже брошен. Лишь одну Саксонию удалось Пруссии еще раньше скорее принудить, чем склонить к союзу.

Наполеон в свою очередь заявил, что он ведет войну, чтобы охранить Саксонию от поползновений бесчестного соседа, и его манифест оповещал «народы Саксонии», что он идет для их освобождения. Все знали, что дрезденский двор лишь поджидает удобного момента для отпадения от Пруссии. Гессенский двор объявил себя нейтральным, так же как и Брауншвейг, герцог которого должен был командовать прусским войском. Однако наступательные тенденции были парализованы надеждой заключить мир. В тот день, когда Наполеон выехал из Парижа, прусское войско численностью в 130 000 человек стояло в Тюрингии. К нему следует прибавить еще 20 000 саксонцев. Король и даже воинственная королева прибыли в Наумбург; однако после большого совета прусской главной квартиры было решено отсрочить вторжение во Франконию до 8 октября, так как до этого дня ожидался ответ Наполеона на прусский ультиматум от 1 октября. Гаугвиц и Ломбард все еще самым

непонятным образом надеялись на то, что французский император передумает, обяжется не нарушать Северогерманского союза и даже отзовет свои войска за Рейн. Наполеон же, когда до него 7 октября в Бамберге дошел ультиматум, пересланный ему из Парижа, разразился громким смехом. В своем первом бюллетене он назвал письмо короля «одним из тех скверных памфлетов, какие английское министерство заставляет ежегодно изготовлять за 500 фунтов стерлингов», и обратился к своим войскам со следующими словами: «Они хотят, чтобы мы при одном виде их армии очистили Германию. Безумцы! Только через триумфальную арку можем мы вернуться во Францию».

Поэтому в Эрфурте 9 октября появился прусский военный манифест, составленный Ломбардом, — многословное, жалкое творение, которое с порицанием перечисляло все французские прегрешения до самых дней революции и тут же с похвалой превозносило прусскую снисходительность к этим прегрешениям. Английские газеты говорили, что это был язык соблазненного, упрекающего своего соблазнителя во всех своих болезнях, полученных якобы от него. Здесь встречались следующие слова: «Нации имеют свои права независимо от каких-либо трактатов», — ни в одних устах это не могло казаться таким жалким и позорным лицемерием, как в устах старопрусского королевства.

2. ВЫСТУПЛЕНИЕ

Таким образом, юнкерский сброд скорее ввалился, чем вступил в войну; все возрастающей тяжестью своих преступлений он был увлечен на наклонную плоскость, по которой он неудержимо скатывался вниз, в глубину беспримерного позора.

Еще до первого выстрела воцарилось полное смятение. Военная и мирная партии в безнадежном ослеплении спорили друг с другом. Хвастливые угрозы Блюхера и Рюхеля уравновешивались трусливыми увертками Гаугвица и Ломбарда. И те и другие были противоположными полюсами одного и того же упадка. Блюхер превзошел себя в следующей фанфаронаде: «Французы найдут свою смерть еще по ту сторону Рейна; приезжающие оттуда сообщают такие же приятные вести, как о Росбахе». Другой подобный же герой очень сожалел о том, что славная армия берет с собой на войну ружья и сабли, — чтобы прогнать французов, было бы достаточно одних дубин.

Единственное извинение этих сумасшедших выходок

можно, пожалуй, найти только в паническом страхе. Бо̀льшая часть старшего офицерства, беспомощные старцы, терявшие к тому же вследствие войны значительную часть своих доходов, была настроена совсем не воинственно. То же самое, если только не в еще большей степени, можно сказать и о солдатах. Старые солдаты, по большей части женатые, принужденные оставлять дома жен и детей, привыкшие как отпускные и временнообязанные жить по крайней мере в течение большей половины года полусвободной жизнью, очень неохотно следовали сигналу боевой трубы, призывавшему их к новому голоду и новым наказаниям.

Чтобы воспламенить их к геройским подвигам, придумали прекрасное средство — водить их в театр, чтобы вдохновлять там «Валленштейном» и «Орлеанской девой» бедного Шиллера. Но этого еще мало. Прусские бюрократы настроили в этом же направлении и свои арфы. Член военного совета Мюхлер с прозорливостью поэта описывает, как фридриховские наемники будут побивать французское народное войско: «И вот они бегут, трусливые наемники, и внуки становятся такими же победителями, какими были 50 лет назад отцы». Однако бедные рабы военщины, с урчащими желудками и окровавленными спинами, далеко не были растроганы всем этим; они распевали при огне своих бивуаков в Тюрингии:

Иной желает умереть за отечество, но я желал бы лучше
Получить в наследство 10 000 талеров. Отечество неблагодарно.
И за него погибнуть? Эх ты, дурак!..

Эта поэзия имеет перед официальными военными победными песнями хотя то преимущество, что она отражает настроение самого народа, который в массе своей относился к войне с полным равнодушием. И как могло быть иначе? Какое представление могло у него быть об отечестве, которое нигде не существовало, кроме как в болтовне презренных литераторов или же в виде фантастического призрака, встававшего перед напуганной совестью охваченного страхом прусского юнкерства? Одним из прекраснейших качеств этого класса является искусство использовать государственный механизм для того, чтобы высасывать из народных масс последнюю каплю крови, и если при этом случается, что юнкерство попадает впросак, то оно требует со всем благородным пафосом угнетенной невинности, чтобы изнуренные массы бросили свои измученные тела в бойню за «отечество», т. е. за сохранение того же юнкерского господства. Если странное требование не выполняется, то оно

жалуется, что массы изнежились вследствие «просвещения и гуманности». С известной точки зрения юнкерство имело основание говорить так. Если бы просвещение и гуманность стояли в Германии на более твердой почве, чем это было во Франции, то восточноэльбские юнкеры отправились бы к чорту задолго до Иены.

При существовавшем тогда положении вещей ни малейшим подобием национального воодушевления не могло сопровождаться «то чванное, сказочное привидение давно забытых времен», какое выступило осенью 1806 г. в поход в образе немецкого войска. Все его уродливости выявили себя уже при мобилизации 1805 г., но, конечно, никаких улучшений не было произведено даже в тех областях, которые могли быть до известной степени улучшены. Вследствие ротного хозяйничанья снабжение, вооружение и обмундирование войска были хуже, чем в любой европейской армии того времени. Куртки были сделаны из такого грубого и неплотного сукна, что через него можно было просеивать горох, и к тому же так коротко срезаны, что оставляли живот совершенно неприкрытым. Не было ни шинелей, ни жилетов, ни кальсон; летом даже не было суконных брюк, а были полотняные, в которых солдаты должны были выдерживать холодные осенние ночи перед сражением под Иеной. Каждый человек получал паек, состоявший из 2 фунтов плохо выпеченного хлеба ежедневно и 1 фунта мяса в неделю. Винтовки были годны лишь для блестящих парадов, а не для сражений; был случай, что у целого полка дула винтовок оказались настолько тонкими, что не могли выдержать стрельбу боевыми патронами.

Противоположность этому представлял громоздкий обоз, который таскали для удобства господ офицеров. Все, что было привычным или приятным для них в мирное время, они возили с собой. Семидесятилетний главнокомандующий возил с собой любовницу-француженку, другой генерал — выводок индюшек, один лейтенант — фортепиано. Все пехотные офицеры, вплоть до младшего лейтенанта, были на лошадях; все офицеры, кроме гусар, имели по крайней мере по одной вьючной лошади; большая часть ротных командиров имела по 5, меньшая часть — по 3 лошади. Груз, который они везли, включал в себя и палатку, и походный стол со стулом, и походную кровать. Бесконечный обоз, предоставленный для них законом, юнкерские офицеры увеличивали еще крестьянскими телегами и экипажами, в которых они часто возили с собой в поход жен и детей; ведь и король брал с собою свою Луизу.

При мобилизации 1805 г. выяснилось самым очевидным образом, как сильно обременял войско такой обоз, и некоторые из способных еще на кое-какое соображение юнкеров пытались уменьшить до известных границ это зло, не нарушая, однако, фридриховского великолепия. Но это им удавалось очень плохо. Высшая военная коллегия насмешливо ответила им, что для кавалерии признано необходимым даже увеличение удобств и что «лучше маршировать с бо̀льшими трудностями, чтобы с большей уверенностью победить врага, чем итти налегке и затем обратиться в бегство». Предложение лишить низшее офицерство верховых и вьючных лошадей было отклонено как дерзкое покушение. «Прусский дворянин не ходит пешком», — твердил Рюхель, а берлинский губернатор граф Шуленбург-Кенерт заявил с истинно-патриотическим возмущением, что многочисленное дворянство, служащее в рядах низшего офицерства и представляющее, по признанию всей Европы, красу и силу армии, ни в каком случае нельзя оскорблять и унижать, низводя его на положение рядовых армии. Нельзя было доказать с большей очевидностью невозможность реформирования этого пропитанного юнкерским духом государства даже в мелочах.

Как вооружение и организация войска, так и его стратегия и тактика стояли совершенно на фридриховской ноге. С суеверным упорством держались той же линейной тактики и того же магазинного снабжения, какими они сложились во времена наемного войска, приноравливаясь к его потребностям. Кроме Шарнгорста, не было, вероятно, ни одного офицера в войске, который хоть сколько-нибудь подозревал бы, что предстоит встреча с новым военным искусством, имеющим гораздо большие возможности благодаря своему стрелковому огню и реквизиционной системе. Наоборот, в полном почете находилось строевое учение на плацпарадах, которое высмеивал даже старый Фриц как военное искусство «формалистов», сводившееся к передвижению линий батальонов туда и сюда. Главной заботой военного командования была забота об одинаковой длине кос. Случалось, что на больших парадах даже сам фельдмаршал вынимал из кармана нормальную мерку для кос и измерял их. Если коса какого-нибудь рекрута не соответствовала мерке, это означало 20 ударов деревенскому болвану; еще в день битвы при Заальфельде вышел приказ делать ровнее букли.

Уже по этому можно приблизительно судить о том, что происходило в генеральном штабе. Лучшими его работни-

ками были ученые «талмудисты» из-за границы, ничего не знавшие о моральном элементе современного ведения войны и видевшие важнейшие моменты ее в местных и пространственных отношениях, в горных кряжах и водных течениях, в стычках передовых отрядов и кордонов, делая из совершенно произвольных предпосылок столь же ученые, сколь бессмысленные выводы. Они целиком погрузились в стратегические и тактические представления, являвшие собой лишь пережитки давно исчезнувшей действительности. Единственным исключением был Шарнгорст, но так как он не был остэльбским дворянином, то его влияние не распространялось далеко; но и он, конечно, также не был свободен от многочисленных бессознательных заблуждений,— как он, так и Штейн нуждались в суровой школе, чтобы достигнуть полной ясности в своих взглядах.

Во главе войска наряду с герцогом Брауншвейгским, Мюлендорфом и Рюхелем стояли князь Гогенлоэ, княжество которого по заключении Рейнского союза было ликвидировано; но который в качестве бывшего суверенного властителя являлся как бы соперником главнокомандующего, и генерал Калькрейт, бывший в Семилетнюю войну адъютантом принца Генриха и долго живший затем при его полном интриг дворе. В военном отношении оба были такими же нулями, как и все остальные.

Во всяком случае, у герцога Брауншвейгского и здесь, так же как и в революционных войнах, иногда бывали светлые моменты. Едва эта бесформенная военная машина пришла в движение, как начала трещать по всем швам, и выяснилась полная невозможность ее исправления. Герцог жаловался, что не может победить Наполеона с такими людьми, как Гогенлоэ, Мюлендорф, Рюхель и Калькрейт. Он называл Гогенлоэ тщеславным и слабым человеком, Рюхеля — фанфароном, Мюлендорфа — выжившим из ума стариком, Калькрейта — хитрым интриганом, генералов же 2-го ранга — бездарными рутинерами. Все это было очень метко, но медаль имела и свою оборотную сторону. За 3 дня до Иенской битвы к Калькрейту явилась депутация от офицеров, требовавшая, чтобы он принял от герцога главное командование, так как последний не знал не только того, что он делает и что хочет делать, но и того, куда он идет, где стоит, и в довершение всего поссорился с начальником своего штаба генералом Шарнгорстом.

При этих условиях 14 октября произошло «двойное» сражение, уничтожившее старопрусское королевство.

3. ДВОЙНОЕ СРАЖЕНИЕ

Смешная надежда на то, что Наполеон по требованию прусского ультиматума сложит оружие, заставила прусское войско, стоявшее в Тюрингии в полной готовности с начала сентября, потерять много драгоценного времени. Единственная возможность достигнуть успеха сильным и быстрым продвижением во Франконию и нападением на начавшие лишь концентрироваться войска противника была упущена.

Правда, не следует смотреть на вещи так, что продвижение было бы действительно выполнено, если бы не предавались этому бессмысленному ожиданию. Был бы найден другой предлог к бездействию, так же как находились предлоги к этому и после начала настоящего боя. Та незначительная доля решительности, которой обладал герцог Брауншвейгский и которую, возможно, несколько поддерживали благоразумные советы Шарнгорста, в высшей степени ослаблялась присутствием в главной квартире короля. Герцог имел удобную возможность свалить всю ответственность на этого по существу настоящего державного вождя армии, а так как этот последний был совершенно не способен к ведению войны, то неизбежным следствием явились непрерывные заседания военного совета, что, еще по выражению старого Фрица, было вернейшим средством проигрывать кампании и битвы.

К этому еще присоединились постоянные трения между главной квартирой герцога Брауншвейгского и главной квартирой Гогенлоэ, которая возглавлялась тщеславным и вздорным Массенбахом. Невозможно, да и не представляет никакого интереса в настоящее время описывать все взаимные перебранки или вытекающие из этого постоянные перекрещивающиеся движения войск, тем более что исторически это приводит к таким же ложным взглядам, к каким можно притти, рассматривая последние предсмертные прыжки давно уже обреченной на смерть жертвы как единственные причины ее смерти. Если бы Брауншвейг, Гогенлоэ и Массенбах были трижды более гениальны, чем старый Фриц, и действовали в полной гармонии друг с другом, и то результаты были бы те же самые. Истинной причиной поражения было не то, что эти бедняги стояли во главе войска,— истинной причиной поражения было то, что такие люди *могли* стоять во главе войска.

Если по ничтожным причинам они могли отказаться от нападения, то это означало, что эти формалисты совер-

шенно не понимали, что энергичное сосредоточение всех военных сил было неизбежной необходимостью, если только они не хотели сознательно обречь себя на гибель. 9 августа впервые была мобилизована большая часть войск; войска восточной части страны были оставлены в их гарнизонах, очевидно потому, что имелись основания опасаться восстания в Польше; приказ об их мобилизации последовал лишь 30 сентября. В Тюрингии стояло против 200 000 привыкших к победам наполеоновских солдат лишь 150 000 человек, включая и саксонцев, да и те были невероятнейшим образом раздроблены.

9 октября, когда должна была наконец начаться битва, они были разбросаны на пространстве 120 километров. Рюхель со своими войсками стоял при Крейцбурге и Эйзенахе; главные силы, под командой герцога Брауншвейгского, — под Готой; его авангард — целая дивизия, под командой герцога Веймарского (игра в солдатики, которую так зло высмеял Гёте, сделала герцога виновником гибели прусского войска), — блуждал в Тюрингенском лесу якобы с целью нападения на сообщения противника. Дальше на восток, на левом берегу Заалы, находилась группа войска Гогенлоэ, продвинувшего свой авангард, под командой принца Людвига-Фердинанда, к югу до Заальфельда. На правом берегу Заалы, при Роде, стояли саксонские войска, которые должны были соединиться с Гогенлоэ, а при Хофе стояла одна слабая дивизия, которая, так же как и авангард Гогенлоэ, в значительной степени включала в себя саксонские войска. Этой дивизией командовал генерал Тауенцин, придворный, совсем не способный к военным делам. Наконец, под Галле был собран еще один прусский резервный корпус под командой недалекого герцога Вюртембергского.

Наполеон, конечно, полностью пренебрегая какими-либо дипломатическими соображениями, начал войну, как только он приготовился к ней. 7 октября он приказал выступить трем колоннам, чтобы на правом берегу Заалы, в местности, расположенной между Тюрингенским лесом и Рудными горами, наступать на Лейпциг. Его план был так же прост, как и ясен. Он знал, что происходило в лагере противника. «Все перехваченные письма показывают, — так писал он одному из своих генералов, — что враг потерял голову. Они совещаются дни и ночи и не знают, что им делать». Так как они этого не знали сами, то Наполеон и подавно не мог этого знать; но если бы он пошел на Лейпциг или на Берлин, то они могли бы стать на его пути, и, конечно, было наиболее вероятным, что он разбил бы их вдребезги.

Первые его удары обрушились 9 октября на дивизию Тауенцина и 10 октября на авангард Гогенлоэ. Оба сражения немедленно обнаружили действительное положение вещей. Перед превосходными силами французов Тауенцин отступил от Хофа на Шлейц, но замешкался, был настигнут и потерял 600 человек. Один прусский гусарский полк и два саксонских эскадрона легкой кавалерии были целиком изрублены. Пушки саксонского пехотного полка имени Максимилиана били без различия и по врагу и по своим. Дальнейшее бегство происходило еще поспешнее, пока наконец разбитая и изнуренная дивизия не достигла Среднего Пельница, где ее ожидал еще более страшный враг — голод. Проржавевший от времени продовольственный аппарат оказался никуда не годным, в то время как французы легко обслуживали себя своей реквизиционной системой.

Гораздо сильнее было гнетущее чувство, создавшееся на другой день после битвы при Заальфельде. С 8 000 человек принц Людвиг-Фердинанд попытался выдержать наступление 14 000 французов. Можно было бы поспорить, принял ли он эту безнадежную битву в полном отчаянии, или же по дурацкой заносчивости; в конце концов он погиб в рукопашной, и битва обошлась в 1 800 человек убитыми, ранеными и пленными; кроме того, в руки французов попало 15 прусских и 18 саксонских орудий с их зарядными ящиками и всем обозом. Пруссаки и саксонцы оказали очень слабое сопротивление. Конница была снова изрублена, целые батареи были брошены канонирами; одного артиллерийского унтер-офицера, командовавшего двумя орудиями, нельзя было ни увещаниями, ни угрозами побудить открыть огонь в тот момент, когда французская кавалерия развертывалась на расстоянии верного попадания.

В главной квартире распространился панический ужас. Было решено начать сосредоточение армии назад к Веймару и Иене; главные силы должны были собраться у Веймара, войско Гогенлоэ — у Иены. Правый берег Заалы был совершенно очищен, до последнего человека, так что прервалось всякое соприкосновение с противником. Переходы через Заалу остались незанятыми, и в самом войске с 11 октября в послеобеденное время возник страшный переполох из-за одного только слуха о приближении французов. Официальное донесение излагает почти невероятные подробности. Орудия и зарядные ящики ехали до такой степени сплошной массой, что боковые дороги были как бы забаррикадированы. Саксонская артиллерия снялась с передков против Иены. Мучимые голодом саксонские солдаты бро-

сали винтовки и прятались в домах. Надо было пороть солдат, чтобы заставить их растащить орудия и повозки. Прусские солдаты грабили саксонское имущество, а саксонские солдаты — прусское. За городом все дороги и броды были усеяны брошенными винтовками, штыками, сумками, в канавах торчали опрокинутые, оставленные прислугой орудия. «Подобное вряд ли можно встретить на всем протяжении военной истории», — говорит официальный историк.

Скучившись, как стадо дрожащих баранов, стояла прусско-саксонская действующая армия вокруг Веймара и Иены. Еще была возможность перейти через Заалу и ударить во фланг врагу, но на это не было ни сил, ни мужества, ни охоты. Наоборот, Наполеон прекрасно понимал положение; как ни низко расценивал он пруссаков, все же он несколько переоценивал их, предполагая, что они могут преградить ему дорогу на Лейпциг, и он решил немедленно закрыть им дорогу на Берлин. Он приказал своим колоннам сделать большое захождение налево и занять фронт против Заалы; 12 октября, когда прусско-саксонское войско пребывало в тупом бездействии, французские войска уже заняли Наумбург и расположились в тылу врага.

Тогда герцог Брауншвейгский снова приготовился ретироваться, конечно после долгого военного совещания и потери времени, ставшей для него роковой. Он велел отступить через Унструт на Марзебург, чтобы освободить свой тыл, объединиться с резервным корпусом герцога Вюртембергского и принять решительную битву на равнине между Заалой и Эльбой. Из этого, конечно, ничего бы не вышло, если бы даже ему и удалось выполнить свое намерение. Но он уже не мог его выполнить.

Он хотел сначала отступить с главными силами; Гогенлоэ должен был остаться у Иены, а Рюхель — у Веймара, чтобы прикрыть отступление; затем они также должны были отойти, избегая всякого столкновения с врагом. Единственная возможность успеха была обусловлена величайшей поспешностью; если бы 13 октября выступили в 3 часа утра и к 9 достигли Ауэрштедта, то дорога могла бы еще быть свободной. Но герцог счел необходимым, по своей привычке, разболтать о своем намерении всему свету; генерал Шметтау также хотел переждать свою ночную испарину и не хотел подниматься слишком рано, опасаясь свежего утреннего воздуха. Лишь в полдень выступили пять дивизий главных сил; лишь к вечеру, и частью даже к ночи, подошли войска к Ауэрштедту, где, голодные и озябшие, расположились в ожидании рассвета.

В это время французское наступление на прусско-саксонские войска Гогенлоэ было уже в полном разгаре. Наполеон предполагал назначить 13 октября дневку для своих солдат, в течение недели непрерывно находившихся в походе; но как только он услышал о предпринятом Брауншвейгом отступлении,— кажется, что он получал сообщения из вражеского лагеря через своих шпионов, так как он знал об этом уже в 9 часов утра 13 октября, находясь в Гере, — он приказал сосредоточить под Иеной крупные силы и сам поспешил туда. Верная добыча не должна была ускользнуть из его железного кулака ни на один день. Он нашел свои войска уже на другом берегу Заалы, переходы через которую остались без защиты; город Иена был в их власти, и они даже поднялись на Ландграфенберг, где перед ними открывалось плоскогорье с расположившимися на нем лагерем войсками Гогенлоэ. Главная квартира Гогенлоэ помещалась в Капеллендорфе, на половине дороги из Иены в Веймар; в этот день ему пришлось подавить голодный бунт в саксонских войсках; когда это ему удалось, он вообразил, что привел в порядок свое войско, которое как в военном отношении, так и в моральном давно уж было дезорганизовано. Он вызвал добровольцев на фронт для рекогносцировки и, несмотря на то, что увидел французов на Ландграфенберге в таком незначительном количестве, что их можно было сбросить оттуда небольшим усилием, был настолько беззаботен, что в полном спокойствии вернулся в Капеллендорф и лег вздремнуть.

Иначе вел себя Наполеон, с одного взгляда оценивший опасное положение своих войск. Вся ночь была употреблена на то, чтобы втащить на крутую гору пушки и сосредоточить там новые батальоны, причем Наполеон, с факелом в руке, был впереди своих солдат. Ранним утром 14 октября он собрал в Ландграфенберге такие силы, которые позволили ему дать в 6 часов сигнал к наступлению с твердой уверенностью в успехе. Он прежде всего отбросил авангард в 8 000 человек, которым теперь командовал Тауенцин. Во время этого боя все в прусской главной квартире оставалось в полном спокойствии; Гогенлоэ писал донесение королю, а его свита потешалась над французским камергером, который должен был передать ответ Наполеона на письмо Фридриха-Вильгельма, написанный в весьма решительном тоне.

Лишь бегущие войска Тауенцина заставили князя Гогенлоэ понять, что опасность близка. В 8 часов он написал Рюхелю в Веймар, чтобы тот как можно скорее шел на по-

мощь со своими войсками. Он сам торопился собрать свои войска из их удаленных, разбросанных на мили друг от друга бивуаков; как во всем походе, так и в отдельных сражениях раздробление войск было излюбленной прусской привычкой. Кроме 8 000 человек Тауенцина, погибло еще на обособленном участке поля битвы 5 000 человек генерала Гольцендорфа. Гогенлоэ собрал самое большее 25 000 человек, которых он заставил выступать вперед по правилам линейной тактики, открыв свой массовый огонь без прицеливания.

Это и был прославленный, якобы непобедимый метод фридриховской тактики. На этот раз, однако, он оказался совершенно безрезультатным. Он совсем не годился по отношению к врагу, доведшему огонь до совершенства в рассыпном строю; прусско-саксонские войска потерпели тяжелые потери, не уравновесив их потерями со стороны врага.

«Невозможность что-либо поделать с уничтожающим огнем неприятельских стрелков лишила людей самообладания», говорится в официальном донесении саксонского генерала Лекока. Выгнать французов из Фирценхейлингена, где они укрепились, не удалось; из построек и из-за заборов деревни французские орудия стреляли по стоявшим невдалеке от них прусским линиям на выбор, как по мишеням.

Единственным спасением от полного уничтожения было своевременное отступление. Но Гогенлоэ был не способен ни на какое решение: с бессмысленной тупостью он ждал Рюхеля, а Рюхель не приходил. Почему так долго мешкал хвастун, который с раннего утра слышал пушечную пальбу и не раз был извещен гонцами Гогенлоэ, — так и не было выяснено. Наполеон в это время получал подкрепление за подкреплением. В час дня сокрушительным ударом он отбросил прусско-саксонские линии, и по полю битвы разлился поток бегущих. Только саксонский гренадерский батальон Винкеля держал себя стойко: он окружил князя Гогенлоэ и совершил правильное отступление. В момент, когда битва была бесповоротно проиграна, в 2 часа дня, появился наконец Рюхель со своими 15 000 человек. Еще получасовой кровавый бой — и они также были сметены с поля сражения.

Чуть ли не еще более плачевно бились и оказались побежденными главные прусские силы при Ауэрштедте. Под Иеной сражалось прусско-саксонское войско численностью около 53 000 человек против почти двойного количества французов и феодально-княжеский болван — против гениального мастера войны буржуазной революции. Под Ауэр-

штедтом 50 000 пруссаков, предводительствуемых прусским королем и герцогом Брауншвейгским, были побеждены 27 000 французов, которыми командовал обыкновенный маршал. Уже вечером 13-го среди прусских войск началось ужасное смятение; в своем безвыходном положении, не имея продовольствия, дров и соломы, они разграбили Ауэрштедт, где находились король и герцог; о рекогносцировке окрестностей никто и не думал. И когда 14 октября в 6 часов утра двинулись дальше, то в густом утреннем тумане наткнулись на армейский корпус маршала Даву, который по приказу Наполеона выступил из Наумбурга, чтобы зайти в тыл врагу.

В наступательном духе у пруссаков на этот раз не было недостатка. Так как герцог Веймарский все еще блуждал где-то в Тюрингенском лесу с авангардом главных сил, из колонны Рюхеля выделили Блюхера, чтобы образовать новый авангард. Но в господствовавшем хаосе ему удалось собрать не более шести эскадронов и одной конной батареи, с которыми он и должен был помешать противнику овладеть деревней Гассенхаузен. Он очистил от неприятельской конницы деревню, но по ту сторону ее натолкнулся на линию пехоты, которую он в тумане принял за плетень; он был встречен таким уничтожающим огнем, что принужден был бросить свою батарею, в то время как его эскадроны рассыпались в диком бегстве. Французы заняли Гассенхаузен, и в бою за деревню события развернулись совершенно так же, как под Иеной, в бою за Фирценхейлинген. Длинная линия прусского боевого порядка оказалась совершенно неспособной сделать что-либо против стрелковой тактики французов.

И, однако, при подавляющем превосходстве сил на стороне пруссаков еще представлялась возможность успеха, если бы герцог Брауншвейгский в припадке дурного настроения не услал тотчас же после начала сражения единственного человека, который мог помочь, — генерала Шарнгорста — на левое крыло армии, где Шарнгорст делал все, что только мог, но все же не был в состоянии оказать влияние на общий ход сражения. Вскоре после этого герцог лишился обоих глаз, и, таким образом, вообще прекратилось всякое командование прусским войском.

Совершенно неспособный король не имел мужества и благоразумия назначить другого главнокомандующего, и на него прежде всего падает позор поражения. Каждый генерал действовал по своему усмотрению, как ему нравилось, и часто под влиянием позорных побуждений; один кавале-

рийский генерал-лейтенант, который должен был принять командование, ответил без обиняков, что с самого начала похода он был так обижен и обойден, что у него нет никакого желания делать что-либо добровольно.

Генерал Калькрейт с резервом в 13 батальонов и 13 пушек стоял на высоте, расположенной в 4 000 шагов от решительного места сражения, и смотрел на бушевавший у его ног бой, руководимый ненавистным Брауншвейгом, как будто он присутствовал на театральном представлении, совершенно его не касавшемся. Всем более молодым офицерам, понуждавшим его двинуться на подкрепление истекавшим кровью полкам, он хладнокровно указывал на свои инструкции, которые его ни к чему более не обязывали. Тупоумными мероприятиями других генералов остальные части войска удерживались на далеком расстоянии от поля боя; $^2/_5$ прусских главных сил вообще не приняли никакого участия в бою.

Когда Даву перешел к охватыванию расшатанных уже линий пруссаков, не оставалось ничего иного, как отступить. Шарнгорст покинул поле боя последним, идя пешком, как простой мушкетер, так как его лошадь была убита; истекая кровью от полученной раны, он не чувствовал боли из-за бушевавшего в его сердце стыда и бешеного гнева.

4. ОТСТУПЛЕНИЕ

Войска под Ауэрштедтом во всяком случае не были так разбиты, как под Иеной; если дорога, которой они намеревались пройти к Эльбе, была им преграждена Даву, то единственным путем, которым они могли надеяться достигнуть Эльбы раньше французов, для них оставался теперь путь через Артерн на верхнем Унструте. Но здесь опять помешало недомыслие короля. Он стремился к Рюхелю и Гогенлоэ, у которых он надеялся найти утешение в несчастье, и приказал отступать на Иену и Веймар. Прошло немного времени, и он получил сообщение о том, что произошло под Иеной.

Под Веймаром горели уже бивуачные костры победоносных французов, дорога на Эрфурт была заперта. Пришлось повернуть направо, чтобы через Зоммерда, Нордгаузен и Гарц достичь Магдебурга. Под Буттельштадтом потоки беглецов из-под Иены и Ауэрштедта соединились, и здесь исчезли те остатки внутреннего порядка, которые сохранились еще в батальонах, сражавшихся под Ауэрштедтом. Наступила ночь, о которой впоследствии Гнейзенау сказал: «Лучше сто раз умереть, чем пережить это снова», и о ко-

торой официальное сообщение рассказывает: «Никто не знал местности и дорог, ординарцев нельзя было получить; пехота, кавалерия, обозные повозки, орудия в дикой путанице теснились в глубоких ущельях, из густых колонн слышались ружейные выстрелы; ночь была так темна, что приходилось держаться за патронташи шедших впереди, чтобы не сбиться с пути. Отдельные, оставшиеся еще сомкнутыми части, как, например, гвардейский гренадерский батальон, вовлекались в общий поток бегущими массами».

Так катилась эта кашеобразная масса, спотыкаясь и падая на каждом шагу, и все же с неудержимой скоростью. «Войска, которые до сих пор были так малоподвижны в походе, достигли уже на следующую ночь после битвы Зоммерда, лежащего на 40 километров северо-западнее Иены», жалуется, страдая душой, кто-то из свиты Рюхеля и Гогенлоэ.

Часть беглецов достигла Эрфурта, но эта крепость уже капитулировала в ночь на 16 октября, когда незначительная часть французской кавалерии показалась перед ее валами. Эрфурт кишел генералами, из которых никто не подумал ни вывести войска из крепости, ни защищаться. Фельдмаршал Мюлендорф был разбит старческой немощью и потерял сознание; принц Оранский, близкий родственник короля, диктовал офицеру генерального штаба условия капитуляции. 10 000 человек и очень большие артиллерийские запасы попали в руки неприятеля.

Большой поток бегущих шел теперь по широкой дороге через Гарц на Магдебург. Впереди всех спешил король. Королева оставила армию еще накануне Ауэрштедта. Прежде чем Фридрих-Вильгельм отправился в путь, он послал 15-го утром позорно пресмыкающееся письмо Наполеону, в котором объявлял себя готовым «предать забвению все, что нас разделяло, так как наша дружба, вне всяких сомнений, должна быть сохранена. Ваше величество найдете меня готовым на все, что может восстановить навсегда наше единство. Великодушие и справедливость вашего величества заранее служат мне порукой в том, что вы не потребуете ничего, что было бы противно моей чести и безопасности моего государства».

Легко понять то презрение, с которым Наполеон прочитал этот бред; флигель-адъютант, передавший это письмо, после своего личного разговора с императором должен был сообщить, что результат его «не благоприятствует желаниям его величества». Это не помешало, однако, королю снова послать 18-го числа через Лукезини второе письмо императору точно такого же характера.

Гогенлоэ и Калькрейта Фридрих-Вильгельм также не захотел отпустить, как Ломбарда и Лукезини; он передал главное командование прусскими силами Гогенлоэ, сам обратившись в бегство. Калькрейт должен был сохранить самостоятельное командование над войсками, с которыми его нельзя было заставить выступить в бой под Ауэрштедтом. Против этого бушевал Нейдгардт: «Если король передал команду князю, то пускай он увидит, что тот собой представляет. Я больше ничего не знаю». К тому же Калькрейт был так же бездарен, как и Гогенлоэ: 15-го он издал в Зоммерда следующий приказ: «Войскам должен выдаваться хлеб; если же хлеба совсем нет, то им должны выдаваться порционные деньги».

Полнейшая бессмыслица, побудившая даже прусского принца Августа резко выразиться по этому поводу: давайте людям деньги, которых у вас нет, чтобы они покупали хлеб там, где нечего покупать! Как раз этот принц, брат Людвига-Фердинанда, помешал вместе с Блюхером трусу Калькрейту капитулировать 16-го с обеими своими дивизиями под Вейсензее перед 800 всадниками. После этого он исчез, однако для того, чтобы вскоре вынырнуть снова.

Гогенлоэ имел, таким образом, теперь единоличное командование, но, совершенно потрясенный своим поражением, он ничего не мог уже спасти, если даже что-нибудь и можно было еще спасти. В Нордгаузене наблюдались ужасающие сцены грабежей; приказы офицеров не выполнялись командами и даже высмеивались; улицы были полны отставшими от своих частей; дезертирство увеличивалось со дня на день. Жестокий голод заставлял не только чужеземцев, но и коренных жителей бросать знамена; в том же направлении действовало и их весьма понятное нежелание позволять себя безбожно стегать тем самым юнкерам, которые только что сами были безбожно разбиты. Когда одному лейтенанту, Гельвигу, удалось с 50 гусарами напасть под Эйзенахом на эскорт с 10 000 пленных и освободить их, то они один за другим стали уклоняться от службы.

Некоторый порядок сохранился лишь среди тяжелой артиллерии, состоявшей из 30 двенадцатифунтовых пушек, — последних, которыми обладала еще армия. На своих измученных лошадях она не могла продвигаться по крутым горным дорогам, и Шарнгорст указал ей дорогу, которая огибает Гарц с запада и юго-запада; он взял на себя командование колонной. Так как нехватало людей, необходимых для ее защиты, он обратился к Блюхеру, имевшему еще один батальон и одну свободную кавалерийскую команду.

Артиллерия выступила 17 октября, в тот самый день, когда при Галле был разбит и бежал на Магдебург прусский корпус, вследствие чего неприятель устранил последнее препятствие на открытом пути своем к Берлину.

С большими трудностями достигли Блюхер и Шарнгорст Вольфенбюттеля, где они нашли герцога Веймарского, которого известие о поражении под Иеной заставило бросить свои авантюристические рекогносцировки в Тюрингенском лесу. Быстрыми маршами он прошел мимо Эрфурта, через Лангензальц и Мюльгаузен к Хейлигенштадту, откуда вышел на ту же дорогу, по которой двигались Блюхер и Шарнгорст со своей артиллерийской колонной. Герцог имел при себе еще 11 000 человек. По предложению Блюхера, он отказался от своего намерения двигаться на Магдебург; если они хотели достигнуть Эльбы, требовалась величайшая поспешность, но так как переходить через Эльбу у Тангермюнде не было уже безопасно, они направились на Зандау; 24 октября Блюхер и Шарнгорст со своей артиллерийской колонной, а двумя днями позже и герцог Веймарский перешли через Эльбу.

Гогенлоэ, со своей стороны, достиг Магдебурга 20 октября с остатками войска, которое пришло в еще худшее состояние, чем в день поражения, вследствие дезертирства, тяжелых дорог, недостаточного снабжения и настойчивого преследования неприятеля. В Магдебурге не было ничего заготовлено, чтобы снабдить войско: не было ни хлеба, ни фуража, ни снаряжения. Чудовищный обоз загромождал улицы, по которым уже сновали переодетые французские офицеры. К тому же французы стояли у Виттенберга, на самой Эльбе; ни за этой рекой, ни за Одером нельзя было рассчитывать на какой-нибудь покой и безопасность.

Таким образом, Гогенлоэ снова выступил с жалкими остатками своего войска, чтобы через Бург, Гентин, Ратенов, Руппин и Пренцлау достигнуть Штеттина.

5. ПРЕНЦЛАУ И РАТКАУ

Три первых перехода от Магдебурга были сделаны непосредственно по дороге в Штеттин. Это было абсолютно необходимо, так как 23 октября три французских армейских корпуса были уже в Трейненбритцене, недалеко от Берлина. Только в том случае, если бы Гогенлоэ пошел ближайшей дорогой, не боясь трудных переходов и решительно нападая на каждого неприятеля, пытавшегося загородить ему путь, можно было надеяться, что он спасет свои войска. Но этой надежде не суждено было исполниться. Первую ошибку

сделал Гогенлоэ 24-го, когда он вместо перехода из Ратенау на Фризак сделал крюк через Нейштадт на Доссе, потеряв целый день. Это произошло по совету Массенбаха, который изнывал под бременем каких-то своих географически-стратегических построений. В Нейштадте Блюхер и Шарнгорст встретились с Гогенлоэ. По его предложению они приняли на себя командование арьергардом, составленным из остатков резервного корпуса, который должен был быть подкреплен войсками герцога Веймарского, как только последние перейдут Эльбу.

Это, однако, не могло уже ничему помочь. 25-го французы вступили в Берлин, и в тот же день капитулировала крепость Шпандау. Французы тотчас же предприняли преследование Гогенлоэ. 26-го их всадники оказались уже на фланге прусских войск. Последние были в высшей степени ослаблены и утомлены, оставались лежать на дороге, проклинали своих офицеров; не помогло и то, что Гогенлоэ приказал однажды расстрелять одного солдата перед фронтом; он должен был с ужасом убедиться, что многие солдаты сами лишали себя жизни, так как смерть была для них приятнее, чем продолжение их страданий. Также и Блюхер, получив при приближении врага приказание быстро присоединиться к главным силам, ответил угрюмо, что «он боится ночных переходов более, чем врага». Чем ближе люди подходили к своим родным кантонам, тем более усиливалось дезертирство.

И все же войска еще не совсем погибли, когда 28 октября Гогенлоэ капитулировал под Пренцлау с 10 000 человек пехоты и 1 800 человек кавалерии. Полное переутомление его людей, совершивших накануне четырнадцатичасовый переход, а затем плохо одетыми простоявших холодную ночь в открытом поле, детские галлюцинации его начальника штаба Массенбаха и, наконец, фокус-покус, сыгранный французами с самим князем, лишили бедного простофилю последних остатков рассудка, так же как и всех его штаб-офицеров, из среды которых не раздалось ни одного возражения, когда он спросил их мнения, следует ли сложить оружие.

Арьергард под командой Блюхера и Шарнгорста получил сообщение о капитуляции Гогенлоэ в то время, когда собирался итти к Пренцлау. Его командиры решили взять направление несколько восточнее, чтобы, объединившись с войсками герцога Веймарского, продвинуться в Ганновер и Вестфалию и тем увлечь часть неприятельских сил из коренных прусских земель, освободив, таким образом, дорогу

начавшим наконец проявлять признаки жизни войскам восточных областей и приблизившимся русским.

Между тем герцог Веймарский, по приказу Наполеона, оставил свою службу прусского генерала; стоявшие под его командованием войска находились на пути в Ротшок, чтобы здесь погрузиться на суда. Гонцы Блюхера сначала не могли их отыскать, но случайно пути обеих групп скрестились 30 октября в Мекленбург-Стрелице, и генерал Виннинг, преемник герцога Веймарского, отдал себя под команду Блюхера. Последний имел теперь войско численностью в 22 000 человек, которое внутренне было совершенно деморализовано; очень мало помогла его попытка сыграть на чести офицеров, для чего 31-го был издан приказ, по которому каждый, кто не имел желания продолжать поход, мог добровольно вернуться домой.

Предприятие было заранее безнадежно. Три французских армейских корпуса силою в 50 000 человек по пятам преследовали изнуренное войско; оно храбро защищалось, но и думать не могло о том, чтобы перейти Эльбу; если же оно не могло уйти за море, капитуляция была неизбежна. Уже 4 ноября войско было почти окружено превосходными силами противника и покончило бы с большей честью, если бы не продлило своего сопротивления ценой гибели города Любека.

Вечером 5 ноября Блюхер бросился в вольный имперский город, не состоявший в войне ни с Францией, ни с Пруссией. Он потребовал тотчас же 80 000 хлебов ржаных и пшеничных, 40 000 фунтов[1] говядины и свинины, 30 000 бутылок вина и водки, 50 000 дукатов[2] и т. д. и попытался поспешно исправить запущенные укрепления. Но на следующий же день после полудня французы были уже господами города. Сам Блюхер ушел еще один раз с частью своих войск, но через день, на рассвете 7 ноября, он должен был при Раткау сложить оружие вместе с 7 500 человек, находившимися в его распоряжении.

Несчастному Любеку этот варварский героизм стоил многодневного разгрома, который французским генералам удалось приостановить лишь с большим трудом.

6. КАПИТУЛЯЦИЯ КРЕПОСТЕЙ

Капитуляции под Пренцлау и Штеттином были самыми значительными, но отнюдь не единственными примерами

---

[1] Фунт равен 0,45 килограмма.—*Ред.*

[2] Дукат — венецианская золотая монета, распространенная тогда во всей Европе; приравнивалась к 11—12 франкам.—*Ред.*

сдачи в открытом поле: из капитуляций крепостей здесь можно отметить также лишь наиболее значительные. Достаточно сказать, что повсюду, за немногими исключениями, юнкерские коменданты обнаружили одинаково трусливое, предательское поведение.

Начало положил в Эрфурте близкий родственник королевского дома, затем последовала Шпандау, цитадель Берлина. Оборудование крепостей, как и все в старопрусском королевстве, было прогнившим и проржавевшим. Шпандау была совсем не вооружена; лишь после потери двух битв начали посылать туда кое-какие орудия и инженеров, но без снарядов. 23 октября комендант майор Бенкендорф обещал оставить неприятелю лишь развалины крепости, а через 2 дня он ее сдал, не дождавшись и первого выстрела. Военный совет, созванный им, высказался, за исключением главного инженера, за сдачу крепости.

30 октября пал Штеттин. Он также не был приспособлен к сильному сопротивлению, однако с 4 октября был приведен в оборонительное состояние, казался вполне обеспеченным от внезапного нападения и мог быть взят только после трехнедельной правильной осады. Гарнизон состоял из 100 офицеров и 5 184 солдат; из орудий было 187 вполне пригодных и 94 годных в случае нужды; боевых припасов и продовольствия было в избытке. Но комендант Ромбург был старик 81 года, который позднее ссылался на то, что эта должность была предоставлена ему мудрым королем как место для отдыха. Когда после капитуляции Гогенлоэ перед Штеттином показалось несколько разъездов французской кавалерии и французский гусарский офицер весело въехал в крепость с трубачом, предлагая коменданту крепости капитулировать, последний хотя и заявил, что будет до последней возможности защищать вверенную ему крепость, но уже через несколько часов после этого у него душа ушла в пятки, и, когда появился второй парламентер с более резкими требованиями, он потерял всякое самообладание. Военный совет не был созван, но оба коменданта и другие офицеры были единодушны. Перед 800 человек вражеской кавалерии и двумя орудиями целый гарнизон сложил оружие. «Гусары вашего величества овладели городом через городские ворота», — сообщал с презрительной насмешкой Наполеону французский маршал.

На следующий день таким же позорным образом пал Кюстрин, другая крепость на Одере. Она была также вполне снабжена орудиями и боевыми припасами, продовольствие было заготовлено на 3 месяца; гарнизон имелся в доста-

точном количестве — 2 400 человек, из них 1 600 вполне боеспособных. Комендантом был полковник Ингерслебен, который точно так же не выждал ни одного пушечного выстрела и сдал крепость тотчас же, как только авангард французской дивизии показался невдалеке от нее; даже мольбы жены, удерживавшей его, когда он хотел отправиться через Одер к французам, и молившей «не делать несчастной свою семью», не могли помешать ему броситься очертя голову в омут позора. На военном совете, правда, энергично протестовал один смелый инженерный лейтенант. Гарнизон тоже волновался. Артиллеристов пришлось насильно уводить от орудий.

8 ноября капитулировал Магдебург после слабой бомбардировки 4-го и 5-го. Комендант Клейст был старик 73 лет, истый прусский юнкер, хваставшийся еще 1 ноября, что он не сдаст крепости, хотя бы у него носовой платок загорелся в кармане. Уже 6-го он вступил в переговоры с врагом, хотя Магдебург при серьезной защите мог быть взят только правильной осадой. Правда, и в этой сильнейшей и важнейшей крепости многого нехватало: так, например, почти отсутствовала кавалерия и совершенно не было минеров. Упустили из виду доставить в город скот, к чему в богатой местности правого берега Эльбы и при наличии времени было достаточно возможностей; во всяком случае, в хлебе и муке недостатка не было.

Не все офицеры гарнизона были так трусливы, как комендант, а многие из них хотели «убить старую собаку — генерала». Клейст не посмел созвать настоящий военный совет, на который имели бы доступ все штаб-офицеры гарнизона; он собрал лишь присутствовавших в городе генералов, но и тем не дал возможности высказаться, резко отклоняя их предложения и официально приказав подписать протокол, которым постановлялась капитуляция. В руки врага попало 22 000 человек всех родов оружия, 20 генералов, 800 офицеров, 700 пушек, миллион пудов пороха, 80 000 снаряженных бомб, железо в изобилии, понтонный парк, много знамен и штандартов.

Подобным же позорным образом капитулировали в Ганновере Гаммельн, в Силезии Швейдниц и т. д. Исключения из этого правила патентованной трусости были очень редки: Козель в Силезии, Грауденц в Восточной Пруссии и особенно Кольберг в Померании. Здесь командовал Гнейзенау, человек около 50 лет, бедняк по происхождению, просидевший в течение десятилетий в маленьких гарнизонах, но сохранивший свежесть благодаря умственной работе и

прозванный за это в насмешку пустоголовым юнкерством «военачальником из Капернаума»; это был после Шарнгорста единственный офицер во всем войске, понимавший новую военную тактику французов и умевший применять ее на практике.

Позднее, когда забывшие честь и нарушившие присягу коменданты крепостей были привлечены к ответственности, благодаря главным образом настояниям Шарнгорста, все они делали лживые ссылки на гуманные соображения, которыми они будто бы руководились. Отсюда современные юнкеры вывели сказку, что фридриховское войско было слишком изнежено просвещением и гуманностью. Как будто в пустые черепа Ингерслебена, Клейста и Ромберга хоть когда-нибудь запала тень мысли Канта, Лессинга или Шиллера!

7. ПОХОД В ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ

Борьба, которая велась в прусских областях восточнее Вислы от декабря 1806 г. до июня 1807 г., была борьбой между французами и русскими, в которой пруссаки играли совершенно подчиненную роль; они выставили небольшое вспомогательное войско для русских и с помощью русских защищали крепость Данциг. В других местах их участие было чисто пассивным; Восточная Пруссия была опустошена самым ужасным образом, и русскими еще более, чем французами.

Рассматривать поход в Восточную Пруссию как продолжение похода в Тюрингию гораздо более правильно в хронологическом, чем в историческом отношении. В Тюрингии феодальное, насквозь прогнившее государство было разбито наследником буржуазной революции; перед французским народным войском, по хвастливому, но не лживому изображению Наполеона, прусское наемное войско исчезло, как утренний туман перед солнцем. В Восточной Пруссии завоевательная тенденция буржуазной революции столкнулась с дикими захватническими стремлениями азиатской деспотии. Французские и русские войска уже не раз боролись друг против друга в революционных войнах, но на итальянской, швейцарской и моравской почве; так — с глазу на глаз — они еще никогда не встречались, как это случилось теперь, когда французское войско стояло у русской границы.

Обе стороны были охвачены жутким чувством, что здесь сталкивались противники, которые были непобедимы друг для друга. Французские войска еще никогда не сражались

в таких суровых и негостеприимных местностях; искусство их стрелков, умевших сбивать своим метким огнем тонкие и длинные линии наемного войска, было бессильно против крепких, бесконечных рядов сплоченных масс русской пехоты, привычной ко всем невзгодам северного климата; Наполеон был принужден до известной степени возвратиться к старому, отвергнутому им методу войны, расположив свои войска на зимних квартирах и начав брать крепости, находившиеся у него в тылу. С другой стороны, у русского правительства пропала всякая охота играть с огнем революции, как только французское войско стало на границе России. Русское правительство не только боялось восстаний в прежних польских владениях, но еще более оно боялось того, что Наполеон далеко в глубине страны может побудить к восстанию русский народ, если он перейдет границы и пообещает свободу крепостным крестьянам.

По численности французское войско далеко превосходило прусско-русское: около 140 000 против 105 000. Еще больше была разница в управлении; военному гению Наполеона в русском главном командовании противостоял совершенно посредственный фронтовик — генерал Беннигсен, по рождению ганноверец, обязанный своим званием тому боязливому отвращению, которое он внушал как убийца царя Павла сыну своей жертвы. В январе 1807 г. он совершил неудачное наступление на французские зимние квартиры; Наполеон, по своему обыкновению, хотел воспользоваться случаем, чтобы отбросить сильным ударом русско-прусские войска до русской границы или же за нее. Однако после первого отступления Беннигсен дал битву при Прейсиш-Эйлау. 7 и 8 февраля битва разыгралась с такой жестокостью, какой, пожалуй, еще никогда не было в это полное боев время; правое крыло русских уже заколебалось, и как раз в момент, когда его надо было поддержать, появились прусские вспомогательные войска в 6 000 человек, которыми официально командовал слабоумный юнкер Лесток, фактически же Шарнгорст. Сражение осталось нерешенным. Это было первое сражение, которое Наполеон не выиграл, и хотя он в своем бюллетене выдал его за победу, бумаги на парижской бирже упали после него, как после поражения.

Через 5 дней после этого французский император послал генерала Бертрана к прусскому королю и предложил ему мир. По его словам, он хотел положить предел несчастьям страны и восстановить прусскую монархию, которая была

необходима для спокойствия Европы как срединное государство; он теперь не придает никакой ценности Польше, с тех пор как ее знает; как только мир будет заключен, он выведет свои войска из прусских провинций. Король дал, однако, отрицательный ответ: он останется верен своим союзникам, как русским, так и англичанам, с которыми он только что заключил договор.

В патриотических историях этот поступок фигурирует как разительное доказательство «корсиканского вероломства» и «прусской верности». При этом утверждается, что Наполеон хотел коварным образом приобрести прусскую помощь, чтобы сначала разбить Россию, а затем еще более жестоко расправиться с Пруссией, но что он нашел при этом достойный отпор в рыцарском образе мыслей прусского короля. Нельзя понять, какое значение могло иметь для французского императора прусское вспомогательное войско в количестве нескольких тысяч человек при том численном превосходстве, которым он обладал и без этого. Победа в сражении не вызывала в нем сомнений, так как в лучшее время года он мог привлечь неизмеримо большие силы, чем изнуренные вконец русские и пруссаки. Настоящие трудности, которые ему надо было преодолеть, заключались в другом; их нельзя было устранить теми тайными соображениями, которые он мог иметь, делая свое мирное предложение; их можно было устранить лишь тем путем, на который он открыто вступил, сделав свое предложение.

Наполеон хотел окончить войну, которую он вел на русской границе; прусскую монархию он действительно хотел восстановить, конечно не для того, чтобы оказать милость остэльбскому юнкерству или династии Гогенцоллернов, но для того, чтобы защитить Европу от угрозы русских. В подобном же положении был когда-то король Фридрих. Удовлетворяя свои завоевательные стремления, он был поставлен перед выбором: или сохранить Польшу как европейский буфер против России, или же навязать себе самому на шею всю тяжесть русской жажды к завоеваниям; и как ни ясно видел он последствия, он выбрал все же худший вариант. Перед этой самоубийственной политикой Наполеон, естественно, не мог не содрогнуться. Наследник буржуазной революции отступал перед большим грехопадением, которое в его положении было излишним и могло стать роковым для него, как и на самом деле стало роковым, а именно, разделить господство над миром с азиатским деспотизмом.

Как мало руководило им при его предложении «корсиканское коварство», так же маловероятно и то, что оно было отклонено пресловутой «прусской верностью». Это равносильно тому, как если бы вздумали говорить о целомудрии прелестной дамы, которая, мило пошалив с 99 возлюбленными, отказала бы сотому. Французское предложение встретило в Мемеле, как и полагается, полное замешательство. Цастров как министр иностранных дел хотел его принять, конечно из трусливого страха, не понимая, в чем, собственно, суть дела. Гарденберг был против, однако лишь потому, что не понимал, что предложение Наполеона давало рычаг, который мог в значительной степени облегчить сильную и самостоятельную политику и обеспечить реформированной в корне Пруссии прочное положение между Россией и Францией. Гарденберг не понимал необходимости известной внутренней реформы, а также не освободился еще полностью от гаугвицевской кабинетной политики, в грехах которой он принимал чересчур большое участие. С Базельского мира почти до самой битвы под Иеной он был горячим защитником французского союза как противоядия против австрийского влияния в Германии. Теперь он бросился в противоположную сторону и клялся прусско-австрийским дуализмом как единственным спасением Германии. Он не хотел больше слышать о французском союзе и находил в короле такое сочувствие, как будто последний поддался сильному влиянию царя и ожидал от него полного восстановления старопрусского королевства.

Русские гораздо больше, чем французы, рассчитывали на пруссаков, даже из чисто военных соображений; для них несколько тысяч человек имели уже некоторое значение, избавив их от решительного поражения при Прейсиш-Эйлау. Кроме того, в их интересах было удержать за собой Восточную Пруссию, что при франко-прусском союзе было бы невозможно. Они хотели там оставаться, чтобы превратить провинцию в полную пустыню и, таким образом, сделать для французов переход через русскую границу совершенно невозможным.

Кнезебек, один из высших прусских офицеров, писал Шарнгорсту и просил его действовать в пользу мира: «Нужда и угнетение земледельцев превосходят все границы. Жители большинства деревень так начисто ограблены, что вынуждены выпрашивать у казаков крохи, необходимые им для жизни. Многие умирают при этом от голода, и во многих деревнях, занятых войсками, можно

видеть в домах непогребенные трупы... Вы можете мне поверить: сейчас думают только о том, чтобы опустошить страну и из пустыни сделать для себя прикрытие... Вы сами, уважаемый друг, не можете даже представить себе это хозяйничанье и эту политику русских в том виде, как я узнал их за время моего долгого пребывания в этой армии. Однако то, что я вам говорю,— чистейшая правда. Люди не хотят ничего иного, кроме как опустошить и высосать нашу страну для того, чтобы прикрыть себя самих этой пустыней. Благородный Александр может приказывать издалека, что он хочет, но из этого ровно ничего не выйдет».

Из этого действительно ничего и не вышло, так как «благородный Александр» ничего другого и не делал, кроме того, что водил бедного прусского короля за нос. Из Петербурга он сообщил ему, что готов потерять скорее свою корону, чем согласиться, чтобы король потерял песчинку из своего государства. Затем царь пришел сам с новыми войсками, которые он показал королю на параде, чтобы затем, как он любил делать, в театральной сцене перед воюющими народами обнять его и воскликнуть со слезами: «Не правда ли? Никто из нас не погибнет один! Или оба вместе, или никто». Круглый дурак, король верил всему этому и свирепствовал против Наполеона, которому только что целовал сапоги.

Царственный комедиант также верил еще в своего дурачка. Он все еще стремился играть роль руководителя феодальной реакции; 26 апреля они с Гарденбергом заготовили Бартенштейнский договор как фундамент для новой коалиции. Обе державы обязались не складывать оружия, пока не будет освобождена Германия, а Франция не будет отброшена за Рейн. Левый берег Рейна должен был быть защищен рядом крепостей. Австрия с юго-запада должна была быть прикрыта Тиролем и линией Минчио; вместо Рейнского союза должен был образоваться германский союз суверенных государств под общим руководством Пруссии и Австрии. Пруссия, конечно, должна была восстать из гроба с округленными и укрепленными границами. Было предусмотрено даже расширение границ вельфского дома на немецкой земле. Этим хотели подкупить Англию, которая стала очень скупой на субсидии после того, как Франция и Россия схватились друг с другом. Она не имела решительно ничего против того, чтобы обе державы истощали друг друга; в частности, английское правительство медлило, к большому огорчению царя, гарантировать заем

в 6 000 000 фунтов стерлингов, который он хотел произвести на английском денежном рынке.

Еще более тягостную заботу доставляло ему все возраставшее нерасположение русского войска к войне. После битвы под Эйлау военные операции приостановились совершенно; один Данциг был осажден французами, причем Беннигсен не делал никаких попыток освободить крепость. Она капитулировала 23 мая. Калькрейт защищал ее довольно скверно, но так как он продержался все же около нескольких месяцев, то в это время библейских чудес, когда стены прусских крепостей падали от одних трубных звуков врага, он приобрел нечто вроде авторитета, который он смог тотчас же употреблять и употребил к величайшему злу для прусского государства.

Падение Данцига побудило Беннигсена предпринять нелепейшее движение против врага, увеличившего за это время свои силы до 200 000 человек, в то время как русско-прусские войска со всеми своими подкреплениями едва достигали 120 000 человек. Наполеон быстро ориентировался, и теперь ему удалось то, чего он не мог достигнуть в феврале: 14 июня в битве под Фридландом он разбил неприятельскую армию, которая в паническом бегстве отступила к Тильзиту, на самой русской границе.

Беннигсен сам выразил настроение войска, которое настойчиво требовало мира, и уже через 3 дня после битвы под Фридландом царь послал своих уполномоченных к Наполеону, не спросив даже своего прусского союзника.

ОТ ТИЛЬЗИТА ДО ТАУРОГЕНА[1]

(1807—1812)

1. ВВЕДЕНИЕ

Великая французская революция 1789 г. положила начало эпохе войн, которые почти четверть столетия потрясали и сокрушали европейские, и не только одни европейские, государства в самых их основах.

В начале этой эпохи в первых рядах зачинщиков войны стояло старопрусское государство. Прусская армия начала наступление на Францию тем бесславным манифестом, который обещал сравнять с землей французскую столицу. Однако прогнившее изнутри старопрусское государство — в то время оно уже было таким — только в течение немногих лет выдержало этот железный танец с революцией.

В апреле 1795 г. Пруссия заключила с Французской республикой Базельский мир, которым она предала своих союзников и уступила французским завоевателям левый берег Рейна.

За это время французы согласились отказаться от всякого активного участия в большой международной политике. В Базеле была установлена демаркационная линия, которая начиналась на восточно-фрисландском побережье, тянулась к югу до Майна и оттуда на восток до Силезии, т. е. охватывала всю Северную и Среднюю Германию. Французы обещали признавать незыблемость этой линии при условии, что все отграниченные ею государственные образования будут соблюдать строгий нейтралитет.

Этим бесславным миром старопрусское государство купило лишь отсрочку своей гибели. Пруссия утешала себя мнимой безопасностью, в то время как гниение внутри го-

---

[1] «Zur preussischen Geschichte», «Universumbücherei», т. IV, стр. 41 и след. — *Ред.*

сударства распространялось все шире, и европейский авторитет Пруссии был окончательно подорван. Рано или поздно должен был настать день, когда Пруссия с совершенно ослабленными силами окажется втянутой в водоворот европейской войны. И этот день наступил на рубеже двух столетий, относительно которого Шиллер, с его прозорливостью поэта, предвещал, что две могучие нации столкнутся в борьбе за безраздельное мировое господство.

Эта борьба поглотила первые 15 лет нового столетия. Военной диктатурой Наполеона Французская революция защитила себя от всех континентальных держав. Легенда, будто с этого момента Наполеон, охваченный ненасытной страстью к завоеваниям, вновь и вновь нападал на эти державы, принадлежит к политическим сказкам для детей. Постоянно повторявшееся им заверение, что он никогда не являлся нападающей стороной, а всегда только отражал угрозы нападения — заверение, которое в течение многих десятилетий высмеивалось как самое невероятное измышление бонапартистской легенды,— завоевывает себе все более широкое признание со стороны историков, в известной степени беспристрастных. По меньшей мере с момента своего коронования в 1804 г. Наполеон оставил бы в покое державы на континенте, если бы они не шли на него войной. Подлинно возмутительной сказкой является, наоборот, слащавая легенда, будто европейская свобода была спасена от наследника Французской революции хищным царизмом.

Правильное понимание эпохи наполеоновских войн достигается в том случае, если рассматривать ее как борьбу между Англией и Францией за господство на мировом рынке.

При данных обстоятельствах эта борьба была исторической необходимостью; даже если рассматривать ее с моральной точки зрения, то и в этом смысле Наполеон не был повинен больше, чем английская олигархия. Однако дело не в том, чтобы радоваться по поводу событий или оплакивать их, а в том, чтобы понимать их. Для того же, чтобы понимать историческое развитие в начале XIX столетия, надо все время иметь в виду, что его движущие силы коренятся в противоречии экономических интересов Англии и Франции.

Об это противоречие интересов разбился также и нейтралитет, при помощи которого старопрусское государство надеялось укрыться от бурь своего времени. Чтобы сделать невозможным проникновение английских товаров че-

рез ворота, которыми являлось княжество Ганновер, связанное с Англией личной унией, Наполеон в 1803 г. нарушил знаменитую демаркационную линию, установленную Базельским мирным договором. Он приказал французским войскам занять Ганновер и подошел на расстояние двух переходов к валам Магдебурга, главной прусской крепости. Однако это было сделано не из враждебных намерений против прусского государства. Как и многие французы, и именно многие французские революционеры, Наполеон видел в лице Пруссии старого союзника Франции, современное государство среди феодальных государств. Сколько французского золота утекло со времен реформации в карманы Гогенцоллернов, чтобы вознаградить их предательство в отношении императора и империи; как охотно терпел король Фридрих феодальную зависимость от французов, обеспечивающую ему Силезию; как оживленны были его отношения с французскими просветителями, которые, со своей стороны, не уставали прославлять северного Соломона!

Наполеон в своей борьбе против Англии ни с кем не заключил бы союза охотнее, чем с Пруссией, военную силу которой он к тому же значительно переоценивал. Больше всего ему улыбалось бы, по выражению одного французского историка, сделать из Пруссии шлагбаум, который должен был вообще преградить английским товарам доступ на континент. Но жалкие простофили в Берлине не нашли в себе мужества ни пойти на союз с Наполеоном, ни оказать ему противодействие. При полной их неспособности мыслить и действовать они колебались то в ту, то в другую сторону между воюющими державами. Когда английский министр Питт весной 1805 г. подготовил новую коалицию против Наполеона с включением в нее Австрии и России, пруссаки отказались войти в коалицию и даже мобилизовали армию, чтобы противодействовать проходу русских войск через Пруссию. Но тем временем Наполеон уже двинул французские войска через прусскую территорию, и тогда прусский король присоединился к англо-австро-русской коалиции. Он отправил к Наполеону графа Гаугвица с ультиматумом, а когда Наполеон в сражении под Аустерлицем разбил русско-австрийскую армию, тот же прусский представитель заключил с ним оборонительно-наступательный союз, и как раз в тот самый день, 15 декабря 1805 г., когда прусский король в соответствии с соглашениями, заключенными им со своими союзниками, должен был двинуть свою армию против Наполеона.

Следствием этого было то, что Австрия вынуждена была 26 декабря в Пресбурге заключить мир с Наполеоном. А результатом этого мира было полное уничтожение той руины, которая еще носила название Германской империи. Из австрийской добычи Наполеон богато одарил южногерманские государства: Бавария и Вюртемберг превратились в королевства, Баден возвысился до положения великого герцогства; эти государства и еще много других — всего 16 — в июне 1806 г. вышли из состава империи, объявили имперские законы для себя несуществующими и недействительными и образовали Рейнский союз, протектором которого они выбрали французского императора. 6 августа император Франц объявил, что его верховная императорская власть более не существует.

Оборонительно-наступательный союз, который граф Гаугвиц на свой страх и риск заключил с Наполеоном, принес Пруссии обладание Ганновером и в то же время отторжение других ее областей, а вдобавок также войну с Англией и расстройство прусской торговли. В марте 1806 г. Англия объявила блокаду всего побережья от Эльбы до Бреста и в продолжение короткого времени захватила 400 торговых кораблей под прусским флагом. Наполеон же третировал нового союзника с презрением, которое тот действительно заслужил. «Прусский кабинет столь достоин презрения,— считал Наполеон,— а его государь так бесхарактерен, что на эту державу больше рассчитывать нельзя. Она постоянно будет действовать так, как она уже действовала. Она будет вооружаться и разоружаться; она будет вооружаться, с нетерпением ожидать благоприятного момента, пока другие сражаются, и договорится с победителем». Совсем так все же не получилось, ибо после того, как прусское правительство в течение нескольких месяцев позволяло Наполеону презрительно обращаться с Пруссией, оно (правительство) при полной своей беспомощности внезапно пришло к отчаянному решению — приставить острие своей шпаги к груди Наполеона.

И в этот раз дело шло о Ганновере. После смерти Питта в Париже велись переговоры о мире между Францией с одной стороны, Англией и Россией с другой. На замечание английского посланника, что предпосылкой соглашения является возвращение Ганновера, Талейран, французский министр иностранных дел, ответил, что это не вызовет никаких затруднений. В ответ на эти слова, хотя они были пока что только вскользь брошены Талейраном, Пруссия немедленно объявила мобилизацию; с разоружением

же дело шло не так быстро, как с вооружением. Прусские требования были достаточно скромными; они ограничивались тем, что Наполеон должен вывести свои войска из Южной Германии и не вмешиваться в дела Северной Германии. Но французский император не был таким человеком, который испугался бы военных угроз со стороны государства, презираемого всем миром.

Известно, что произошло потом: двойное сражение при Иене и Ауэрштедте, позорное поражение фридриховской армии, еще гораздо более позорная капитуляция крепостей на Эльбе и Одере; к концу года прусский король сидел как беглец в Мемеле, самом окраинном городе его державы, непосредственно у границы с Россией. Разбитый впух и впрах, он все же был полон упований на милость божию: начало нового года он отпраздновал тем, что прогнал от себя барона фон-Штейна, единственного министра, который при этой беспримерной катастрофе продолжал ходить с высоко поднятой головой и хотел помочь неспособному королю хотя бы немного встать на ноги; король охарактеризовал при этом фон-Штейна как «строптивого, упрямого, упорно стоящего на своем и непослушного государственного служащего».

Тем временем Наполеон, находившийся в завоеванном Берлине, 21 ноября в ответ на английскую блокаду издал декрет о континентальной блокаде, который запрещал всякую торговлю и сообщение с Великобританией на всей подвластной Франции территории, а все товары, идущие из британских колоний или мануфактур, объявлял подлежащими конфискации. Затем Наполеон перенес свою главную квартиру в Познань, чтобы сделать необходимые приготовления к зимней кампании — уже не против прусских войск, которые состояли всего из нескольких тысяч человек, а против русской армии, которая прибыла к ним на помощь в Восточную Пруссию. В Познани Наполеон привел в порядок и северогерманские дела; некоторых из средних и мелких князей, например курфюрста Гессен-Кассельского и герцога Брауншвейгского, он лишил их тронов; большинство же их присоединил к Рейнскому союзу; курфюрста Саксонского он возвел в королевское достоинство в награду за своевременное предательство, которое этот простодушный человек совершил в отношении своего прусского собрата «божьей милостью».

Сама война получила теперь другой характер. Пропаганда буржуазной революции — вот что вело французские знамена от одной победы к другой. Никто не знал этого

лучше, чем сам Наполеон; везде, где он насаждал своих орлов, он проводил буржуазные реформы. Но от ударов и уклонов этого мощного оружия азиатская деспотия, полная варварской и еще не сломленной силы, была забронирована, как бы ужасен ни был ее противник. Здесь столкнулись две враждебные силы, каждая из которых была непреодолима для другой, и, действительно, первая схватка между ними при Прейсиш-Эйлау 7 и 8 февраля 1807 г. окончилась безрезультатно. Это было самое кровопролитное из проведенных Наполеоном до этого момента сражений и в то же время первое сражение, которое он не выиграл.

О благоразумии Наполеона свидетельствует тот факт, что спустя 5 дней он отправил своего уполномоченного к прусскому королю с предложением мира. Наполеон хотел восстановить прусскую монархию, которая была необходима для спокойствия Европы как промежуточная сила; Польше, с тех пор как он узнал поляков, он не придавал никакого значения; после заключения мира он соглашался вывести свои войска из прусских провинций. Было бы необоснованной выдумкой утверждать, будто Наполеон хотел лицемерными заверениями приобрести помощь пруссаков, чтобы сначала победить Россию, а затем с тем большей злобой обрушиться на Пруссию. У прусского короля не было ни талера денег, а несколько тысяч войск, которыми он еще располагал, имели для Наполеона еще меньшее значение, так как он обладал значительным превосходством в численности войск, несравнимо более богатыми источниками пополнения, чем его насмерть потрясенный противник. Все свидетельствует о том, что он делал в данном случае честное предложение, конечно не ради величия Гогенцоллернов, но для того, чтобы создать из прусского государства барьер между цивилизованной Европой и варварским государством русского царя.

Однако прусский король, который еще совсем недавно в своих лишенных какого бы то ни было чувства достоинства письмах выклянчивал у Наполеона мир и за последние несколько лет успел в неверности и предательстве больше, чем старый Фриц в течение полувека, теперь разыгрывал «верного друга» царя. Последний, со своей стороны, сумел с чисто русским вероломством обойти прусского идиота. Он не только письменно обещал, что скорее сам лишится короны, чем потерпит, чтобы король потерял хотя бы одну песчинку из своего государства, но и заключил с ним в Бартенштейне торжественный договор,

в котором взял на себя обязательство не вести никаких самостоятельных переговоров с их общим врагом и сделать все для восстановления прусской монархии. В то же время этот приятный союзник так наводнил своими войсками восточнопрусскую провинцию, что несчастные жители на коленях вымаливали прихода французов. Царь хотел — это понимали и открыто высказывали также и прусские офицеры — превратить последнюю оставшуюся часть прусского государства в пустыню, чтобы прикрыть русскую границу.

Что касается Наполеона, то он, после того как мир был отклонен прусским королем, готовился к войне. 14 июня он наголову разбил русских при Фридланде. Теперь уже русская армия бурно требовала мира, и, как бы ни был упрям царь, личность русского главнокомандующего Беннигсена, принадлежавшего к числу убийц его отца, напоминала ему о том пределе, который может положить царскому деспотизму предательское убийство. Он послал своих посредников к Наполеону, который тотчас же согласился на перемирие.

25 июня Александр и Наполеон впервые встретились у Тильзита на плоту посреди Немана, чтобы договориться о мире.

2. ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР

Наполеон, привыкший диктовать условия мира, впервые вынужден был договариваться о мире с противником, хотя и побежденным в сражении, но непобедимым в войне. Значительно превосходя своего партнера по гениальной одаренности, Наполеон мог бы основательно околпачить его, но когда он льстил диким завоевательным инстинктам азиатского деспота и должен был приспособляться к ним, он тем самым подрывал подлинный источник своего собственного могущества. В области корыстной торговли обыкновенная хитрость с течением времени всегда одерживает верх над гением. Тильзитский мир, казалось, возводил французского императора на вершину могущества, на самом деле был величайшим грехопадением его жизни.

Россия и Франция заключили в Тильзите самый тесный союз. Все войны в Европе они должны были вести совместно. Россия присоединялась к континентальной системе и приняла на себя посредничество между Англией и Францией; в случае если бы это посредничество не удалось,— а это разумелось само собой,— Россия должна была выступить против Англии вместе с Францией. От Швеции,

Дании и Португалии следовало потребовать объявления войны Англии, а в случае если они будут противиться, обрушиться войной на них самих. Франция взяла на себя посредничество между Россией и Турцией, которые находились в состоянии войны. Если Турция отклонит это посредничество или в течение 3 месяцев после принятия его не заключит мира, все ее европейские провинции, за исключением города Константинополя и Румелии, должны были быть освобождены от турецкого ига. В конце концов Наполеон «из внимания» к царю возвратил прусскому королю меньшую часть прусского королевства; для себя он сохранил прусские провинции на левом берегу Эльбы и бывшие польские провинции, из которых он все же Белостокский округ — территорию в 206 квадратных миль с 186 000 жителей — уступил царю.

На первый взгляд этот мир кажется львиным дележом в пользу Наполеона. Он добился содействия России, почти что в форме покорной вассальной зависимости, в выступлении против Англии, получил вдобавок большую часть прусского королевства, и все, чего он добился, было выражено в ясных и недвусмысленных словах. Напротив, доля России в общей добыче определялась в весьма расплывчатых чертах. Было обусловлено, что Россия должна получить шведскую Финляндию и турецкое Дунайское княжество, однако это можно было прочесть, в лучшем случае, между строками, но не в строках мирного договора. Единственным осязательным приобретением царя был Белостокский округ, причем он был отнят у того самого короля, с которым царь только что заключил торжественный оборонительно-наступательный союз. Более позорного приобретения нельзя было и представить, и даже современникам, которые в этом отношении отнюдь не были избалованы, казалось невероятным, что «могущественный российский самодержец» позволил подвергнуть себя в Тильзите моральному унижению со стороны плебейского завоевателя и в ответ на это осыпал его пылкими заверениями в дружбе, так же как за несколько недель до этого прусского короля.

И все же Талейран был прав, когда он, пожимая плечами, в следующих словах охарактеризовал договор, который он заключил как наполеоновский министр: «Этот договор — только средство прощупывания почвы, которое хотят выдать за систему». Талейран учуял трупный запах и вскоре начал вести конспиративные переговоры с царем против своего господина и учителя.

Воображая, что царь может одним державным росчерком пера включить свою империю в континентальную систему, Наполеон впал в ошибку старой кабинетной политики. Совершенно так же прусский король Фридрих во время заключения Вестминстерской конвенции 1756 г., которая принесла ему Семилетнюю войну, вообразил, что английское правительство может принести и принесет в жертву торговлю с Россией, чтобы не дать русским напасть на Пруссию. А Англия все-таки легче могла пожертвовать торговлей с Россией, чем Россия торговлей с Англией. Присоединение России к континентальной системе означало крах русской торговли и тем самым также и русских финансов, полную, не поддающуюся никаким исчислениям передвижку всех имущественных ценностей внутри страны, разорение огромного количества фамилий; таким образом, вопрос о том, когда франко-русский союз распадется изнутри, был вопросом ближайшего времени.

К тому же царь одержал существенный успех как раз в том пункте, в котором, как казалось, он наиболее позорно проиграл. Хотя первые переговоры между Александром и Наполеоном велись с глазу на глаз, однако на основании высказываний их самих и их министров можно почти не сомневаться, что Наполеон требовал полного уничтожения прусского государства и пытался получить согласие царя на это, предлагая ему польско-прусские провинции и польскую корону. Как бы ни было заманчиво для Александра это предложение, все же он на него не пошел. Совершенно безразлично, играли ли при этом роль моральные соображения, хотя полное низложение Гогенцоллернов с согласия русских и через такое короткое время после договора, заключенного в Бартенштейне, даже для много выдерживающей совести царя явилось бы тяжелым бременем. Его собственные интересы требовали, чтобы предложение Наполеона было отклонено.

Здесь также можно провести аналогию из эпохи Семилетней войны. В последние годы этой войны царица Екатерина могла нанести решительный удар прусскому королевству и со своей стороны прикарманить восточно-прусскую провинцию, которая уже с самого начала войны была занята русскими войсками и не могла быть вырвана из их рук прусским королем. И все же Екатерина предпочла сохранить этого короля как своего вассала, который должен был помочь ей загнать в тенета польскую и турецкую дичь; при этом Екатерина устраивала свои дела, о чем ее внук Александр, конечно, не мог не знать. Даже если бы

он хотел пренебречь этой традиционной политикой русских царей, он не мог бы этого сделать. Его генералы и министры совсем недавно вынудили его объявить войну — из страха, что французские армии, если они перейдут русскую границу, вызовут восстание в бывших польских провинциях, так же как они разожгли восстание в бывших польских провинциях прусского государства; эти генералы и министры опасались и за Россию, — как бы французы не пообещали свободу крепостным. Следовательно, царь натолкнулся бы на непреодолимое противодействие в собственном лагере, если бы потерпел распространение французского владычества вплоть до Вислы.

Для Наполеона несогласие царя было чувствительным ударом. Когда он после сражения при Эйлау завязывал сношения с прусским королем, он намеревался сделать из прусского государства оплот против России. Когда этот план потерпел крушение, он мог притти к тому самому убеждению, которое в то время русский генерал Будберг выразил в следующих словах, адресованных одному прусскому чиновнику: «С таким монархом, как ваш, никто не может спасти страну. Он слушает и следует только советам слабых и негодяев. Из-за него Пруссия погибнет».

Наполеон хотел ликвидировать прусскую монархию, намереваясь, очевидно, как он при случае и высказывал, передать своему брату Жерому земли прусской династии, конечно в виде вассального по отношению к Франции государства и в то же время с задачей преобразовать его на современных началах. В меньшем масштабе он выполнил потом это свое намерение применительно к королевству Вестфалии, ядро которого составляли бывшие прусские провинции на левом берегу Эльбы. Этот план был расстроен царем, но Наполеон сейчас же сделал двойной встречный ход. Из бывших польских провинций прусского государства, отошедших к нему по Тильзитскому миру, он создал герцогство Варшавское, передав его вновь испеченному саксонскому королю, который вскоре должен был стать самым послушным из его немецких вассалов.

До поры до времени 30 000 французов продолжали стоять в этих провинциях «для обеспечения границ», пока новое правительство как следует не организуется и пока польская армия не будет полностью преобразована. Таким образом, Наполеон все-таки свил себе гнездо у русской границы, в самом легко воспламенимом и опасном месте; как легко могло бы за этим началом образования нового польского государства последовать в высшей степени

опасное для России продолжение! Царь тотчас же понял опасность и упрямо торговался, чтобы урезать границы нового герцогства; с этой целью он даже не постеснялся урвать для себя кусок прусской добычи, предназначавшийся собственно для увеличения герцогства Варшавского.

Но тогда Наполеон сделал свои выводы из того факта, что прусская монархия была спасена царем и с этого времени должна была играть роль передовой части русской территории. В той мере, в какой Наполеон был в состоянии заткнуть рот этой монархии и унизить ее даже в том плачевном положении, в каком она оказалась в результате тильзитских переговоров, он это сделал с великим удовольствием. Его особенная ненависть к Пруссии была после Тильзита столь же очевидна, как перед Иеной — особое пристрастие к прусскому государству. Личные мотивы, вызывавшие эту ненависть, буржуазные историки стараются истолковать на свой лад: разрушенные иллюзии, столь же безграничное, как и справедливое презрение к прусскому королю, жуткая боязнь северогерманских «идеологов» — все это могло играть роль, могло и не играть; решающими были политические интересы Наполеона, требовавшие подавления русского превосходства.

При этом неспособность прусских генералов и министров в значительной мере способствовала замыслам Наполеона. Конвенция об эвакуации из страны французских войск, заключенная 12 июля фельдмаршалом Калькрейтом с начальником штаба Наполеона — Бертье, представляет собой уникум в истории дипломатических договоров. Калькрейт был одним из самых злонравных и в то же время наиболее слабоумных среди прусского юнкерства, но именно поэтому он был любимцем короля; то, чего он достиг в переговорах с Бертье, делало его, по выражению одного прусского патриота, достойным виселицы или дома умалишенных.

Правда, конвенция 12 июля устанавливала, что эвакуация французами занятых ими провинций прусского государства начнется немедленно и должна закончиться 1 ноября 1807 г. Однако, по другому пункту конвенции, эвакуация должна была начаться только тогда, когда будут уплачены наложенные на страну контрибуции. До этого государственные доходы в тех частях страны, которые были заняты французами, тоже должны были попасть во французские кассы, и французские войска должны были содержаться за счет Пруссии. Должна ли численность войск достигать тысяч, или десятков тысяч, или сотен тысяч человек, — это было предоставлено доброй воле

Наполеона. Ничего не было обусловлено также относительно размеров контрибуции. По заключении конвенции Наполеон определил ее размер сначала в 73 000 000, затем в 80 000 000, а потом более чем в 120 000 000 франков; при этом он фривольно заявил своим уполномоченным: если можно получить сумму в 200 000 000, это будет еще лучше. В конце концов он остановился на сумме в 150 000 000— сумме, которую нищая, разоренная и истощенная войной страна могла внести только в течение многих лет.

Пока что прусское государство должно было оставаться в жестких руках завоевателя, который мог обращаться с ним еще более беспощадно, чем со своими добровольными вассальными государствами, которые он в своих собственных интересах должен был все же в большей или меньшей мере щадить. В отношении же прусского государства он никогда и ни в какой степени не стеснялся и тем самым вызвал к себе ненависть, которая со временем должна была оказаться для него гибельной.

Таким образом, Тильзитский мир заключал в себе неустранимый зародыш новой расприи. При всех заверениях в пылкой дружбе, которыми осыпали друг друга император и царь, оба оказались обманутыми обманщиками.

3. ВОЕННАЯ РЕФОРМА

Старопрусское войско по своему происхождению было наемным войском. Набор в него, повидимому, происходил добровольно; на самом же деле, чем дальше, тем все больше и больше он производился путем насилия и всевозможных ухищрений. Этот набор часто превращался в гнусное похищение людей, что даже внутри своей страны, не говоря уж о чужих землях, приводило к кровавым столкновениям. Эти печальные факты навели ротных командиров из юнкеров на лукавую мысль — поставлять в качестве рекрутов своих крепостных крестьян; получая из королевских военных касс жалованье для унтер-офицеров и солдат, они обязаны были заботиться и о таком наличии фактического состава своих рот, который соответствовал бы штатам последних. Эти крепостные ничего им не стоили, дезертировали редко, а если и дезертировали, то легко могли быть заменены подобными же рекрутами.

Прежде всего не было необходимости держать их все время под знаменами, как ненадежных чужеземцев или же туземный сброд, из которых раньше набиралось войско. Они могли быть призваны только на время обучения, которое ограничивалось сначала несколькими месяцами, а затем

лишь несколькими неделями в году. Отсюда получалось то преимущество, что ротные командиры могли спокойно класть себе в карман жалованье этих отпускных за большую часть года, а также и другое преимущество, что необходимые для земледелия силы не отрывались от земли на слишком продолжительное время. Документально нельзя проследить, когда именно возник этот способ рекрутирования; во всяком случае, настолько рано, что уже в 30-х годах XVIII столетия он мог и даже должен был превратиться в систему.

Однако этот метод имел также и свои теневые стороны; в результате его старая привычка полков — перехватывать друг у друга рекрутов — развилась еще больше, и аппетит во время еды так разыгрался, что юнкерские офицеры начали «записывать на военную службу» (einrollieren), по техническому выражению того времени, не только своих крепостных крестьян, но и городское население. Вследствие этого создалась большая угроза для торговли, ремесел, индустрии, и короли должны были вступиться, если они не хотели, чтобы пришел капут им и всему их военному великолепию. Они отвели каждому полку определенное место для набора — округ, в котором он мог «рекрутироваться»; официально этот округ назывался кантоном. Затем они установили многочисленные разряды «освобожденных» от «кантонной повинности»; часто целые провинции или отдельные города и частью отдельные классы населения объявлялись свободными от кантонов.

Эта «кантонная» система стала одним из столпов старопрусского войска, хотя и не единственным. Наряду с ним оставалась и вербовка наемных солдат, так как в малонаселенной стране нельзя было набрать необходимое количество рекрутов, особенно же при большом количестве освобожденных. Твердо установленного численного соотношения между местным населением и чужеземцами не существовало. Оно изменялось в различное время по отношению к различным полкам и различным родам оружия; даже во времена короля Фридриха имелись целые полки навербованных. Этот король вообще предпочитал наемных солдат и даже пленных «кантоннообязанным» жителям, число которых он в начале своего царствования пытался ограничить $1/3$ общего количества войск. Он не хотел отрывать слишком много рук от земледелия, торговли и ремесел, поэтому он ограничил время обучения, расширил права отпускных и увеличил число освобожденных. Он освободил от кантонной службы западные провинции и

крупнейшие города на востоке: Берлин, Потсдам, Бранденбург, Бреславль, Магдебург, Штеттин, а также целые сословия чиновников, фабрикантов, купцов, рантьеров, искусных ремесленников, даже «действительно оседлых горожан и крестьян»; только самые бедные и беззащитные слои населения остались кантонообязанными.

При его преемнике пропорция благоприятно изменилась для коренных жителей, не столько из-за перевеса чужеземцев, которые, по словам Шарнгорста, представляли собой воров, пьяниц, разбойников, бездельников и преступников, собравшихся со всей Германии, развращавших войско — с подобным взглядом нельзя было не согласиться, — но главным образом потому, что вследствие территориальных изменений, происшедших за истекшее столетие, наиболее благодарные для вербовки места отощали. Польское королевство в большей своей части отошло к Австрии и России; левый берег Рейна отошел к Франции; церковные земли и имперские города почти исчезли, и рейнские государства, которыми они были главным образом поглощены, должны были поставлять войска своим французским повелителям. Таким образом, куда бы ни обращались прусские вербовщики, они повсюду натыкались на запертые двери.

До 1806 г. не было произведено никакой действительной реформы армии. Правда, ядро коренного населения значительно возросло, однако вследствие бесчисленного количества освобождений от кантонной службы необходимый контингент рекрутов не мог быть набран внутри страны. Если же хоть одна часть войска состояла из наемников, то военная служба оставалась до такой степени позорной и требовалась такая строгая дисциплина, что об отказе от освобождения не приходилось и думать. Из этого порочного круга не могли выйти до тех пор, пока не разразилась битва под Иеной.

После этого ужасного поражения все чужеземные солдаты, все еще составлявшие меньшую половину всего прусского войска, дезертировали. После Тильзитского мира король установил как специальную комиссию для выполнения финансовых обязательств, так и реорганизационную комиссию для восстановления разбитого войска. Он призвал в нее наряду с большинством старопрусских юнкеров и двух офицеров, выдвинувшихся в этой несчастной войне: генерал-майора Шарнгорста, известного еще и до войны в качестве одного из самых дельных умов генерального штаба, и Гнейзенау, который после двадцатилетней фрон-

товой службы в маловажных гарнизонах создал себе имя своей храброй защитой Кольберга. Оба они были в дурных отношениях с последователями старой рутины, но и тем пришлось в нужде взяться за ум. После крепких споров пара солдафонов, не поддавшихся убеждениям, ушла, и на их место вступили два более молодых офицера: майоры Бойен и Грольман, которые были способны проникнуться идеями Шарнгорста и Гнейзенау и действовать в их направлении; таким образом, реформаторы получили теперь большинство в комиссии.

Эти люди — Шарнгорст, Гнейзенау, Бойен и Грольман (к ним потом присоединился и Клаузевиц)—создали вместе со Штейном, получившим место и голос в комиссии, новое войско, которое должно было повести победоносную борьбу с Наполеоном. Все они или совершенно не были связаны с остэльбским юнкерством, или были связаны с ним лишь в очень малой степени: двое были чужестранцами (Шарнгорст и Гнейзенау), двое — бюргерами, хотя и имели право ставить перед своими фамилиями совсем новенькое «фон» (Шарнгорст был сыном крестьянина, Грольман — сыном судейского чиновника); благородство остальных ушло недалеко от этого и ни в каком случае не давало им права на притязания бранденбургских грандов, получивших свою марку еще во времена Гогенцоллернов; дворянство Гнейзенау было несколько темного и, кажется, австрийского происхождения. Бойен происходил из рода богемских эмигрантов, перекочевавших в Австрию; Клаузевиц происходил из старого духовного рода, который за время многих поколений удалился от дворянства.

Прусский патриотизм этих людей также не был чистокровным, и это чисто в духе пруссаков, что ни один из них никогда не имел самостоятельного командования в созданном им войске. Больше всего фридриховские предрассудки сохранились у Бойена, но смягченные этикой Канта, перед которой он преклонялся. Когда эти реформаторы пришли в отчаяние от глупости короля, они без всякого колебания оставили его и поступили на чужую службу: Гнейзенау — на английскую, Грольман — сначала на австрийскую, потом на испанскую, Бойен и Клаузевиц — на русскую. Только Шарнгорст остался верен прусскому знамени, несмотря на соблазнительные предложения, которые ему не раз делало английское правительство. Однако и он с меланхолическим вздохом отпустил своего сына в английское войско. Мужество и патриотизм в прусском государстве были вреднее любого порока.

Как сейчас отношение к социализму является пробным камнем для умов, так тогда такую же роль играло отношение к Французской революции. Военные реформаторы думали о ней приблизительно так же, как и Штейн: они были враждебны ей, особенно вследствие того чужеземного господства, которое навлек на Германию наследник Французской революции. Но так как они испытывали эту враждебность, потому что были немцами больше, чем пруссаками, то они считали, что восстановление старопрусского государства было реакционной и совершенно безумной утопией.

То, что удивляло их, подобно Штейну, во Французской революции, — это ее военная настроенность и сконцентрированность сил; они очень хорошо понимали, что военная реформа невозможна без гражданской реформы, что Наполеон может быть побежден только Наполеоном. «Бонапарт был моим учителем в войне и в политике», — сказал позднее Гнейзенау, победив Бонапарта; он выразил этими словами самым удачным образом все существо военной реформы.

Этим и были определены границы их деятельности, которые были расширены либеральной легендой в том смысле, что Шарнгорст и его сторонники исповедывали будто бы демократические убеждения в современном значении этого слова. Приписываемое им отрицание постоянного войска лежало вне круга их идей и было основано на неправильном употреблении или же на непонимании слова «милиция», которой они требовали. Шарнгорст создал себе военную известность как раз тем, что настойчиво выступал в 1792 г. и позднее как военный писатель за постоянное войско, против которого выступали английские, французские и немецкие мыслители и даже фридриховские офицеры, вроде Беренхорста, сына старого Дессауэра, прежнего адъютанта короля Фридриха.

Что подразумевал Шарнгорст под милицией, он точнейшим образом изложил, говоря о резервных и провинциальных войсках. Он подразумевал под ней дополнительные отряды постоянного войска, предназначавшиеся сначала лишь для оборонительных целей, т. е. нечто соответствующее французской национальной гвардии. Под впечатлением поражения под Иеной Гнейзенау однажды высказался в высшей степени отрицательно о постоянном войске, но это было лишь временное настроение; фактически военные реформаторы, бывшие прежде всего солдатами, крепко держались за постоянное войско и отступали от французского

образца лишь в том отношении, что старались сохранить принцип всеобщей воинской повинности, тогда как во Франции эта система была нарушена системой заместительства.

Эти прирожденные чудаки—Шарнгорст и его товарищи—совершенно не понимали привилегии господствующих классов откупаться от военной службы.

Задача, которую надо было разрешить, была довольно затруднительна: от старого войска остались лишь жалкие обломки. Из 233 батальонов было оставлено только 50, из 255 эскадронов — только 86; но даже эти части не могли поддерживаться в должном состоянии из-за недостатка в деньгах. Когда составили баланс на первые 3 месяца 1808 г., то приход выразился в 386 000 талеров против расхода в 2 586 000 талеров; таким образом, нехватало 2 200 000 талеров. Надо было повременить с некоторыми расходами, а грозный призрак французской контрибуции уничтожал все виды на лучшее финансовое положение. Комиссия хотела сначала определить количество войска в 50 000 человек, но должна была уменьшить и эту ограниченную цифру почти наполовину.

Вследствие сокращения войска тысячи офицеров были выкинуты на улицу, и не только те, которые не выполняли своего служебного долга или были негодны вследствие полной инвалидности. Когда военные суды, судившие виновных, выносили сравнительно мягкие приговоры, это не нравилось комиссии, которая настаивала на более строгих приговорах; она сама безжалостно расправлялась с инвалидами, так что из 143 генералов, которые имелись в 1806 г., в 1812 г. осталось только 8. Это должно было вызвать безграничное возбуждение и ненависть против комиссии, которая к тому же состояла из более молодых штабных офицеров; сам Шарнгорст был произведен в генерал-майоры лишь после Тильзитского мира. Но еще более горькой была необходимость выкинуть офицеров, способных к службе, с половинным жалованьем, на которое не проживешь и с которого не умрешь. «Положение ужасное, — сознавался Гнейзенау, — выкинуть 3 000 офицеров, не дав им ничего, кроме свидетельства на бедность».

Как поддержка для комиссии король был лишь колеблющейся тростинкой. Военной реформе он оказал сопротивление даже большее, чем аграрной, так как, привыкнув к игре в солдатики, он воображал, что понимает что-то в военном деле. Но Шарнгорст умел, во всяком случае лучше, чем Штейн, обращаться с человеком «божьей милостью». Штейн устрашал короля буйным нравом. Месяца через два

после своего возвращения он был доволен тем, что король его так боится, не думая о большой опасности, угрожающей укротителю, когда страх у укрощенного вдруг пройдет. Шарнгорст, наоборот, подходил к наивному простофиле с историческими доказательствами; с истинно крестьянской хитростью он сумел убедить его в том, что реформа, натолкнувшаяся на королевское сопротивление, представляет собой старую мудрость Гогенцоллернов. В доказательство Шарнгорст приводил то место прусской легенды, которое до настоящего времени красуется в патриотических исторических сочинениях: кантонный регламент 1733 г., которым уже Фридрих-Вильгельм I должен был объявить всеобщую воинскую повинность.

В одном важном пункте военная реформа во всяком случае имела перед собой свободный путь: вопрос о чужеземной вербовке был основательно и просто разрешен массовым дезертирством чужеземных солдат. Отсюда возникла не только возможность, но и необходимость упразднить телесные наказания, обесчестившие прусское войско. Это стало возможно потому, что отпала нужда в двойной бдительности, которая была необходима раньше по отношению к чужеземным бездельникам, во-первых, потому, что их можно было заставить повиноваться только палкой, а вовторых, потому, что при дороговизне вербовки нельзя было наказывать их лишением свободы на долгий срок; необходимо же это стало вследствие того, что с уничтожением крепостничества телесные наказания впервые сделались щекотливыми для землевладельцев и очень нежелательными для офицеров. Были все поводы, распуская наемное войско, не поддерживать искусственно его хронического порока — дезертирства.

В этой борьбе против телесных наказаний реорганизационная комиссия проявила энергию, которую следует отметить. Два члена ее — Гнейзенау и Бойен — прибегли даже к весьма неупотребительному в то время оружию — прессе, чтобы защитить «свободу спины». В существенном они все же настояли на своем, и это было тем более знаменательно, что даже сам Штейн высказывался за палки. Он был того мнения, что в средние века лиц духовного звания и рыцарей наказывали палками, не нанося вреда их чести, и вспоминал о слугах, производивших это наказание на турнирах (Prügelknechte). Однако Штейн уступил, и даже король сумел спасти из всех позорных наказаний наемного войска лишь презрительные ругательства и удлинение срока военной службы.

Как ни была комиссия проникнута воззрением, что в войне являются решающими не только физические, но и моральные силы, все же она не могла отказаться от изнуряющей дисциплины, которая и теперь неотделима от постоянного войска; она создала солдат второго класса — штрафные роты для совершенно неисправимых субъектов, которых здесь и впредь могли подвергать телесным наказаниям. Но это еще самое меньшее зло, которое она допустила; значительно хуже то, что сам Гнейзенау провел, вопреки возражениям генерал-аудитора Кенена, право офицеров в случае неповинования их приказаниям убивать непокорных солдат на месте; самым худшим было введение наказаний лишением свободы, которые по существу, сводясь к пыткам, мало отличались от существовавших до сих пор телесных наказаний.

О строгом аресте, который не являлся самым жестоким из новых наказаний, старый Циглер, при всем своем почтении к прусской дисциплине, говорил еще в 1872 г. в рейхстаге, что такого утонченного наказания он не встречал ни разу в своде военных законов (Corpus juris militaris) 1712 г., хотя там много говорилось о расстрелах из лука, из винтовок и о шпицрутенах. Военные реформаторы, таким образом, крепко придерживались системы муштрующей дисциплины, и их борьба с телесными наказаниями в войсках, как горячо и убежденно она ни проводилась, привела лишь к тому, что с публичных рынков и улиц палка перешла в тайники казармы.

С отказом от найма чужеземных солдат рухнул один из столпов старопрусского войска. Другой — кантонную систему со всеми изъятиями из нее — военные реформаторы хотели заменить всеобщей воинской повинностью на широкой основе. Однако они натолкнулись при этом на сильнейшее сопротивление короля и старопрусских формалистов, да и само дело по существу своему представляло большие трудности. До сих пор военная служба была пожизненной и прекращалась лишь смертью или полной инвалидностью солдата; лишь для кантонноообязанных коренных жителей выработался обычай, по которому она ограничивалась двадцатилетним сроком. Система отпускных во всяком случае значительно сокращала это время; свеженабранные кантонисты должны были отбывать в строю так называемые экзерциции: с самого начала своего обучения — 3 месяца и затем по 1 месяцу в течение каждого года, в общем же всего 22 месяца. Шарнгорст хотел сократить общий срок службы до 6 лет, но и в этом случае имевшихся в распоря-

жении кадров, которыми приходилось ограничиваться вследствие финансовой нужды, было отнюдь недостаточно для того, чтобы вести обучение кантоннообязанных жителей, не говоря уж обо всем населении, способном носить оружие; к этому еще присоединялось непобедимое отвращение классов, которым есть что терять, к презренной военной службе.

Таким образом, Шарнгорст пришел к мысли разделить все военнообязанное население на две группы, из которых одна была предназначена для пополнения постоянного войска, другая же — для вступления в провинциальные отряды, как он называл тогда милицию. В постоянное войско должны были вступать все, кто не мог в течение всего военного времени сам себя содержать, одевать и вооружать, в провинциальные же войска — все, кто имел для этого возможность. Для военного обучения в провинциальных войсках предназначено было 8 недель с начала службы и затем по 4 недели ежегодно; эти военные команды должны были принимать участие в выборах своих младших офицеров. В мирное время провинциальные войска должны были нести преимущественно гарнизонную службу, давая этим постоянному войску большую возможность несения службы в открытом поле и обучения стрельбе в цель; в военное же время они должны были в первую очередь употребляться на защиту своей провинции, но также и за пределами ее, когда дело касалось защиты всей монархии. При этом комиссия обратила внимание на постановку военного образования уже в школах, устранив кадетские корпуса, о которых комиссия и слышать не хотела, считая их рассадниками дворянского сословного высокомерия.

Этот первый опыт введения всеобщей воинской повинности совершенно не удался, хотя реорганизационная комиссия единогласно высказалась за него. Противился не только король со своей корпорационно-сословной точки зрения, но также и часть буржуазных реформаторов, видевших во всеобщей повинности могилу культуры. Такие люди, как Альтенштейн и Нубур, высказывались против нее с большой резкостью, и даже сам Штейн ей не совсем сочувствовал. Правда, он склонялся к тому, чтобы отменить освобождение от воинской повинности, поскольку оно распространялось без различия на целые провинции и города, но не соглашался на это в отношении отдельных профессий, что как раз исключало из войска образованные элементы населения.

Таким образом, остались при той же кантонной системе, которая была установлена кантонным регламентом 1792 г.

Для того же, чтобы по крайней мере обучить всех кантоннообязанных жителей, комиссия вынудила кабинет издать приказ, которым устанавливалось, что каждая пехотная рота должна отпустить от 3 до 5 и даже более человек из своего состава и взять такое же количество кантонистов, которых следует обучать в течение 1 месяца и затем отпускать, а на их место брать на обучение новых кантонистов. Солдаты, обученные таким образом, получили на народном языке кличку «Krümper» («дубленые»), происхождение которой невозможно проследить. Эту систему придумал Шарнгорст, убедив, однако, подозрительного короля в том, что это ему посоветовал один старопрусский офицер.

Если отмена крепостного права сыграла большую роль при изменении положения солдат, то свобода обращения земельных владений сыграла роль при реорганизации офицерского корпуса. Во фридриховском государстве дворянская монополия на крупные земельные владения была внутренне связана с монополией на офицерское звание, и если отменялась первая, то вместе с ней должна была пасть и вторая. Как при допущении буржуазного владения рыцарскими землями, так и при допущении буржуазного офицерства вопрос шел о том, чтобы возвести в правило существовавшие до того исключения; сам Шарнгорст был живым свидетелем того, что даже в старопрусском войске нельзя было совсем обойтись без буржуазной интеллигенции, которая проникала и на командные посты. Но так как имелся большой избыток дворянского офицерства, то эта реформа не имела большого практического значения.

Вдобавок Шарнгорст и его сотрудники были очень далеки от мысли уничтожить аристократический характер офицерского корпуса. Предложение, чтобы унтер-офицеры избирались солдатами, а младшие офицеры — унтер-офицерами, исходило не от них, а от бывшего министра Гарденберга. И наоборот, военные реформаторы возражали против этого самым решительным образом. Они хотели предоставить назначение младших офицеров не их подчиненным, но их будущим товарищам и старшим по службе, что, вследствие чисто юнкерского состава офицерского корпуса, ставило буржуазных офицеров в зависимость от юнкерского офицерства. Насколько подобный порядок назначения фактически послужил к сохранению дворянской монополии на офицерское звание, нет надобности доказывать после более чем столетнего опыта.

Таким образом, в будущем вступление на офицерское поприще зависело от двух условий: минимального возраста в 17 лет и определенного объема знаний. Этим устранялось то безобразие, что юнкеры вступали на военную службу уже 14, иногда даже 13 и 12 лет, часто не обладая даже самыми скудными элементарными познаниями; это и дало комиссии основание заявить, что «по своему образованию офицеры стоят далеко позади всех остальных сословий». Во всяком случае, приписываемое комиссии желание посадить на место аристократии по рождению аристократию по образованию верно лишь в весьма ограниченном смысле. Эта часть реформы также имела две стороны: мера знаний, предписанная для офицерских и прапорщицких экзаменов, была так скромна, что ни в каком случае не могла создать «аристократию образования», и все же так велика, что оставалась совершенно недоступной для тех классов, из которых рекрутировались унтер-офицеры.

Таким образом, постановление, на основании которого унтер-офицер мог якобы сделаться офицером, было позолоченным, но пустым орехом, поскольку оно не делало для унтер-офицера отступления от образовательного ценза. Комиссия не поскупилась на усилия поднять моральное самосознание офицерского корпуса. Офицерам было предложено человечнее обращаться с солдатами, не бить и не ругать рекрутов при обучении; они не должны пренебрегать приличиями и уважением по отношению к лицам гражданского состояния. Однако значение этих увещаний не могло быть усилено тем обстоятельством, что меры наказания для офицеров были значительно смягчены. В старопрусском войске нерадивый офицер наказывался не палкой, но рапирой плашмя. Теперь же это телесное наказание было заменено не лишением свободы, как для солдат, а лишь словесным и письменным выговором. Лишь тем офицерам, которые часто делали упущения или совершали тяжелый проступок, угрожал как самое тяжелое дисциплинарное наказание арест в офицерской арестной камере.

Порочный образ жизни офицеров должен был караться судами чести; единственное наказание, которому они могли подвергаться, было объявление, что виновный не способен к дальнейшему продвижению по службе. Эти меры были задуманы хорошо, но всякий знает теперь, что они превратились в оплот самого отвратительного и опасного сословного тщеславия. В отношении военной подсудности комиссия остановилась на полдороге. Она освободила от нее семьи и прислугу военных, а также гражданские дела офи-

церов и солдат, но не исключила уголовных дел, даже и в тех случаях, когда они не имели никакого отношения к военной дисциплине.

Зато работу по устранению застарелых недостатков, парализовавших боеспособность старопрусского войска, комиссия проделала до конца. Она упразднила грязное ротное хозяйство, которое, по словам Бойена, делало из офицеров «лихоимствующих торгашей». Она устранила также громоздкий обоз, хотя это и вызвало многочисленные жалобы на то, что младшие офицеры лишились верховых лошадей, а войска не могли уже более снабжаться по прадедовскому способу Семилетней войны. Она поставила сторожевую службу на втором месте после полевой службы, приказала обучать солдат рассыпному бою и стрельбе в цель, посылала офицеров в деревню, чтобы обучать по воскресеньям старых отпускных солдат новой тактике.

При всей ненависти своих членов к французам комиссия во всем руководствовалась французскими образцами. Именно это и было исторической заслугой, а Шарнгорст проявил себя при этом первоклассным организатором. Практически и теоретически он был одинаково знающим солдатом и при весьма ограниченных способностях умел преодолевать самые тяжелые препятствия с упрямым терпением нижнесаксонского крестьянина.

4. ВОЙНА 1809 г.

На эрфуртском свидании снова был возобновлен союз между царем и императором. Александр получил на этот раз вексель на Финляндию и дунайские княжества, признав, со своей стороны, нового короля Испании. Но этим прорехи были весьма скудно заштопаны. Прежде всего царь медлил приняться за общее дело с Наполеоном по отношению к Австрии: он хотя и обещал свою помощь, но обе стороны знали, что эта помощь будет лишь одной видимостью. В Вене Александр также не вызывал по этому поводу подозрений. Но эрфуртское зрелище все же произвело охлаждающее действие на австрийских сторонников войны, и Наполеон получил вследствие этого время, чтобы быстрым походом подавить испанское восстание, поскольку это было возможно сделать с регулярными войсками.

В январе 1809 г. у него были совершенно развязаны руки, в то время как прусская королевская пара веселилась в Петербурге, где царь с расточительной роскошью праздновал их присутствие. Поездка имела те дурные последствия, которых боялись Штейн и реформаторы. Она наложила

перед всем светом на Пруссию печать зависимости, сделала короля более однобоким и близоруким во внутренней политике и более податливым и слабым во внешней. Царь играл с ним в фальшивую игру. Он был очень рад видеть Пруссию в союзе с Австрией, но он не хотел брать на себя ни малейшего риска в том случае, если бы это привело к нежелательным последствиям. Он отказывался от всякой помощи и защиты на случай столкновения прусского короля с Наполеоном; но он думал, что в конце концов никакая уступчивость не поможет и для России не будет вреда от того, если Пруссия примет участие в войне против Франции. Этот оракул совершенно запутал прусского короля, и без того страдавшего врожденной нерешительностью.

Шарнгорст и его помощники, стремившиеся к войне, оказались в затруднительном положении. Благодаря их неустанным усилиям им удалось довести войско до боеспособного состояния, насколько это позволяло сентябрьское соглашение. Шарнгорст надеялся даже довести его до 100 000 человек при помощи английских денег и крюмперов. Так как сентябрьское соглашение запрещало формирование милицейских частей, то Шарнгорст хотел осуществить всеобщую воинскую повинность, пропустив необученных через войско. При незначительной численности кадрового войска срок службы должен был быть сокращен, чтобы иметь возможность обучить всех годных носить оружие. Он предложил 22 месяца, так как именно это время проводили кантонисты в строю при существовавшем до сих пор порядке двадцатилетней военной службы (3 месяца первоначального обучения и затем по месяцу в год для упражнений), однако король вторично отклонил всеобщую воинскую повинность, и Шарнгорсту стоило больших усилий удержаться на своем посту при непрерывных интригах и подозрениях со стороны старопрусских солдафонов. Он один выдержал борьбу до конца, тогда как Гнейзенау и Грольману эта непривлекательная игра надоела, и весной 1809 г. они оставили прусскую службу.

Шарнгорсту не столько помогало, сколько мешало, по крайней мере в глазах короля, то воинствующее настроение, которое проявлялось во всех прусских провинциях и за их пределами, в Северной Германии. Это настроение объяснялось ужасающими грабежами французов; по исчислениям одного прусского историка, который, возможно, кое-что и преувеличивал, но во всяком случае недалеко ушел от истины, за 2 года французской оккупации у одного прус-

ского населения было выжато более 100 000 000 франков — для того времени и для размера прусских провинций действительно чудовищная сумма.

Это одна сторона вопроса, которую никогда не следует упускать из виду, если хотят оценить с исторической справедливостью борьбу против французского нашествия. Ни один народ не вынесет такого обращения, не взявшись за оружие, хотя бы даже тот, кто так с ним обращается, и был воодушевлен прекраснейшими стремлениями к миру и свободе народов. Тот же крупный мыслитель, который 10 лет назад видел в завоевателях-французах последних спасителей свободы немецкой мысли, горячо призывал теперь к борьбе против них.

Насколько все же это народное движение было еще не ясно, можно увидеть из сопоставления произведений самых ярких его выразителей, принадлежащих сейчас к лучшим представителям немецкой литературы: из сопоставления речей Фихте к немецкой нации и стихотворений Генриха Клейста. У Фихте такие большие, широкие, общечеловеческие задачи, что если бы борьба шла не за них, то было бы совершенно безразлично, кто стал бы править частицей Германии: французский ли маршал, который по крайней мере раньше был воодушевлен образом свободы, или же немецкий надутый дворянин, безнравственный, грубый, заносчивый и высокомерный. У Клейста — наоборот, слепая ненависть, заключенная как раз в рамки понимания того класса, который был виновен в этом позорном поражении вследствие своей грубости и дерзкой заносчивости; он искал идеал немецких рыцарей в первобытных херусских лесах и считал, что мир не наступит на земле до тех пор, пока не будет уничтожен город революции и пока не взовьется черное знамя на его опустошенных развалинах. На более низкой ступени мы встречаем то же самое противоречие между религиозными стремлениями прекрасно образованного Шлейермахера к покаянию и к размышлениям о путях против греха и грубыми выкриками Бонейзена Яна, готового превратить Эльзас-Лотарингию и рейнские земли в искусственную пустыню, населенную дикими зверями, лишь бы помешать дерзким и порочным французам развращать целомудренных и благоразумных германцев.

Это движение, однако, не приняло организованной формы. Прославленный Тугендбунд (союз добродетели) так же мало заслуживал насмешки Клейста, как и подозрения французских шпионов. К нему принадлежали смелые люди, вроде Байена и Грольмана, но он насчитывал лишь не-

сколько сотен членов, которые больше сами подвергались гонениям со стороны трусливых чиновников, чем могли изгнать кого-либо из пределов Германии. Самый крупный подвиг был совершен майором Шилль, отличившимся при осаде Кольберга смелыми набегами и приобревшим этим большую популярность. 28 апреля 1809 г. он выступил со своими гусарами из Берлина на свой собственный риск, нарушив полковую присягу. Однако подкрепления, на которые он надеялся, не подошли; после непродолжительных скитаний он нашел смерть на улицах Штральзунда. Так же были подавлены некоторые восстания в королевстве Вестфалии. Правда, министр Гольц, живший в Берлине, писал в Кенигсберг: «Если король будет еще медлить, то неминуемо разразится революция». Однако он слишком боялся призраков. Революция не наступала, хотя король и не думал объявлять войну Франции; также не случилось этого и после энергичного выступления Австрии в апреле, не оставлявшего никаких сомнений в серьезности ее намерений.

Прежде чем вынуть меч, королю были необходимы нейтралитет России, которого не было, и значительные успехи австрийского войска, до которых дело еще не дошло. Эрцгерцог Карл потерял в этой войне ту славу, которую он приобрел в прежних походах; он далеко не дорос до гениального предводителя французов, и, несмотря на всю храбрость солдат, он терял одну позицию за другой. Даже одержанная им якобы победа 21 и 22 мая при Асперне[1] была нерешенной битвой и больше всех поражений показывала неспособность эрцгерцога. Его положение в этой битве было настолько благоприятно, что, имей он хоть какой-нибудь талант, он должен был бы уничтожить противника. Но он умудрился в первые дни июля потерпеть при Ваграме[2] такое поражение, которое положило конец войне, хотя мирные переговоры и продолжались еще до середины октября.

---

[1] Асперн (в Австрии) — сражение 21—22 мая 1809 г. между частью французской армии Наполеона, успевшей переправиться через Дунай на его левый берег ниже Вены, и австрийской армией эрцгерцога Карла. Вследствие разрыва моста французы не могли перевести всех своих сил и с большими потерями вынуждены были отойти с левого берега Дуная на остров Лобау.— *Ред.*

[2] Ваграм (в Австрии) — сражение в 16 километрах от Вены 5 и 6 июля 1809 г. между французской армией Наполеона и австрийской эрцгерцога Карла. Наполеону не удалось разбить австрийцев, они отступили в порядке, и вслед за тем начались переговоры о мире.— *Ред.*

Между тем в Пруссии продолжали теряться в сомнениях; не только реформаторы, не только умеренное министерство Дона — Альтенштейна, но даже и старопрусские юнкеры высказывались за войну на стороне Австрии; временами казалось, что и сам король склоняется к этому решению. От французов не укрылось, насколько сильно было это военное течение, и Наполеон не осмелился потребовать вспомогательного корпуса, который по сентябрьскому договору Пруссия должна была выставить против Австрии. Ко времени битвы под Асперном была приостановлена выплата контрибуции Франции и была организована комиссия по вооружению под председательством Шарнгорста. Но движение, стремившееся к войне, слишком пугало короля, чтобы он позволил ему увлечь себя, особенно же после того, как юнкер Краков наговорил ему, что реформаторы во главе с Шарнгорстом намереваются низложить его и посадить на его место принца Вильгельма. Невероятная глупость этого сообщения была, правда, скоро разоблачена, но короля все же трудно было успокоить, и когда принц Август, один из его двоюродных братьев, сделал совместно с берлинскими государственными деятелями представление о войне, ему было в грубых словах указано на его положение подданного.

Дальнейшее рассмотрение этих колебаний короля не имеет для нас никакого интереса, так как эти колебания всегда приводили к одному и тому же результату: к неспособности принять какое-либо определенное решение. Часть вины несет на себе, конечно, и австрийское правительство, шедшее вначале очень вяло навстречу прусской военной партии. После же мнимой победы под Асперном оно впало в такой высокомерный тон, который очень мало благоприятствовал заключению союза. В Австрии, как и в Пруссии, народное движение оказалось недостаточно сильным, чтобы зажечь национальную войну, которая сумела бы защитить Германию от чужеземного господства, одинаково угрожавшего ей с востока и запада, и, даже наоборот, немецкие государства, входившие в Рейнский союз, как раз составили основное ядро того войска, с которым Наполеон выиграл битвы войны 1809 г.

Героическим эпизодом этой войны были тирольские бои. Они, так же как и испанское восстание, произвели сильное впечатление на современников и оставили свои следы даже в прусской военной истории. В Тироле баварская бюрократия пыталась модернизировать средневековый порядок, но так неумело, что эти попытки всей своей тяжестью легли

на плечи населения. Против этого поднялись тирольские крестьяне, охотники и пастухи, но не за габсбургский двуглавый орел и не за святую религию. В этом смысле их борьба была революционна, протекая все же под знаком верности династии и под предводительством хотя и лицемерного, но народного духовенства.

Но в строго историческом значении этого слова борьба в Тироле была, однако, лишь реакционным эпизодом. Тирольские борцы столкнулись здесь не с отмирающей, но с нарождающейся цивилизацией. Они не обладали той юношеской силой, которая смело бросается в бушующий поток истории; они стремились лишь оградить от этого потока тот жалкий угол, в котором они жили. Геббель, несмотря на всю свою черно-желтую лойяльность, с полным правом сказал, что восстание тирольцев, каким бы героическим оно ни было, производит трогательное, но не ободряющее впечатление. Трогательна, но во всяком случае не возвышенна была эта детская невежественность, которая не подозревала о великом историческом процессе, происходившем в то время, и даже ничего не знала о взаимоотношениях между отдельными странами, вытекавших из данных географии и статистики, заботясь лишь о том, чтобы навсегда оградиться от Европы своими горами и утесами. Но даже трогательное впечатление, производимое тирольцами, грозило исчезнуть при одном взгляде на то, как эти победоносные тирольцы позволили погубить себя хитростями венского двора; тот, кто имеет в себе хоть искру революционного духа, не позволил бы себя так одурачить.

Наполеон поступил очень неблагоразумно, допустив, чтобы военно-полевой суд расстрелял Андрея Гофера, предводителя тирольского восстания, являвшегося по своему скромному простодушию и безграничной храбрости его классическим представителем. Этот кровавый призрак снова и снова поднимался против него в последующие годы, как тень офицера Шилля, также погибшего на песчаных полях. Многие французские генералы и между ними собственный пасынок Наполеона охотно спасли бы Гофера, но Наполеон, являясь передовым бойцом буржуазной цивилизации, должен был показать, что эта цивилизация покоится в конце концов на грубом насилии. Мы пережили нечто подобное в войну 1870—1871 гг., когда Бисмарк изливал на своих версальских гостей вспышки дикого гнева по поводу того, что немецкие солдаты совсем не были расположены предать участи Гофера пленных французских вольных стрелков, а, наоборот, смотрели на них как на храбрых бойцов...

С таким же равнодушием, с каким австрийский король Франц отдал своих верных тирольских стрелков мести победителя, он предоставил свою дочь вожделениям французского императора. Лишь только успели расстрелять Андрея Гофера, как Мария-Луиза была обручена с Наполеоном,— царь сумел искусно уклониться от подобного сватовства коронованного плебея. Как ни далеки были оба — и Наполеон и Франц — от сентиментальных соображений, все же семейный союз явился если не причиной, то во всяком случае красноречивым доказательством изменившейся политики. В Вене министр Стадион, друг Штейна в молодости, желавший также играть роль чего-то вроде реформатора, должен был уступить хладнокровному дипломату Меттерниху, заклятому противнику всех либеральных и национальных стремлений, и австрийский подъем 1809 г. пришел, таким образом, к печальному концу.

Немалое значение имело при этом и то, что исчезла необходимость действовать с непреклонной решимостью. По Венскому миру 14 октября 1809 г., из Австрии выпустили порядочное количество крови: она потеряла 2 000 квадратных миль приблизительно с 4 000 000 жителей. Но она сохранила свое положение великой державы; ей надо было заплатить всего лишь 85 000 000 контрибуции. При всем финансовом расстройстве государства это было незначительной тяжестью по сравнению с теми чудовищными суммами, которые должна была уплатить на основании Тильзитского мира Пруссия, значительно меньшая по размерам и более бедная, чем Австрия. В сложившейся обстановке австрийские генералы и министры стремились к более тесному сближению с Францией, внешним признаком чего явилась помолвка Наполеона с австрийской эрцгерцогиней, но все же это сближение могло быть лишь наполовину союзом равных; они могли притти к этой политике, с точки зрения своего государственного разума, лишь на основании одной причины — из опасения русских завоевательных планов.

Царь сдержал свое обещание и как союзник Наполеона вел в Галиции лишь фиктивную войну, не причинявшую австрийцам вреда. Однако он сослужил французскому императору все же большую службу, парализовав прусскую военную партию. За это он получил весьма жалкое вознаграждение. Наполеон присоединил к герцогству Варшавскому прежние польские владения, которые по Венскому миру отошли от Австрии, с важными крепостями — Замостьем, Люблином и Краковом,— а царю бросил лишь жалкие крохи

своей добычи — Тарнопольский округ с 400 000 жителей. Для царя это было подарком данайцев, которого он ни в каком случае не желал; перед глазами всего мира Александр был награжден как услужливый пособник в благодарность за службу, которой он не выполнил. Его возражения против слишком большого расширения герцогства Наполеон отклонил с едва скрытой насмешкой; благодарность — неотъемлемая добродетель порядочного человека — и уважение к доблести всегда являлись для него якобы величайшим долгом, и в настоящее время они обязывают его избавить от австрийского господства тот народ, который единодушно встал за него. О восстановлении польского господства он, дескать, не думает.

Таким образом, Австрия не без основания рассчитывала на распадение франко-русского союза. Тильзитские обманутые обманщики начали показывать друг другу зубы.

5. РУССКИЙ ПОХОД

Весной 1812 г. события созрели уже настолько, что должны были быть разрешены с оружием в руках. Россия отделалась от Турции Бухарестским миром, предоставившим ей порядочный кусок земли. Со Швецией, у которой она отняла Финляндию, Россия заключила даже союз. Шведским наследником престола в это время состоял бывший французский маршал Бернадот, который заставил пообещать себе вместо Финляндии Норвегию, а в случае низвержения Наполеона — даже французскую корону; с Англией царь также заключил официальный мир и сговорился даже с испанскими инсургентами. Наконец, он призвал к своему двору барона фон-Штейна в целях возбуждения мятежей в Германии.

Однако все это были вопросы более или менее второстепенного порядка. Решающее значение имел вопрос о русских вооруженных силах. Последние же внушали к себе лишь очень слабое доверие.

Войско, прикрывавшее границу, достигало самое большее 180 000 человек. Царь был очень далек от того гениального плана, который ему приписали впоследствии; он позволил генералу Фулю, методическому «талмудисту», нанесшему огромный вред прусскому войску под Иеной, но одновременно внушившему доверие царю, навязать себе нелепую мысль — сконцентрировать в целях успешной борьбы русские войска в укрепленном лагере на Дриссе. При этом

Фулю мыслились: отчасти лагерь Бунцельвица[1] времен Семилетней войны, отчасти линии Торрес—Ведрас[2]. Эти линии в то время заставляли много о себе говорить, оказав свое влияние на Шарнгорста и его друзей в понятной форме, а на Фуля — в непонятной. Лагерю на Дриссе недоставало всего того, что сделало непобедимыми линии Торрес — Ведрас: лишь незначительного превосходства противника, моря как опорного пункта и находящегося на море флота в виде резерва.

Гораздо лучше был вооружен Наполеон. Он приобрел еще одного союзника в лице Австрии, которая за свое подкрепление в 30 000 человек и 60 орудий получила, несомненно, лучшие условия договора, чем Пруссия. Но от этого союзника вряд ли можно было ожидать больше, чем от русского союзника в войну 1809 г. Главные силы Наполеона заключались в мощных военных массах, которые он получил из Франции и зависимых от нее стран (Рейнский союз, Италия, Швейцария, Варшавское герцогство). Они достигали 619 000 человек, из которых в непосредственно действующую армию входило 467 000. 29 мая из Дрездена, где он произвел новый смотр своим немецким вассалам, Наполеон дал приказ к выступлению. Первой жертвой войны сделались прусские провинции. Вследствие похода французской армии они потеряли, по вычислениям прусского министра финансов, по крайней мере на 140 000 000 франков больше той суммы, которая оставалась еще от выплачиваемой контрибуции; по вычислениям же Гарденберга, лишь на 94 000 000 франков свыше остатка контрибуции, но при этом они терпели еще убыток в 309 000 000 франков. Эти вычисления, может быть, несколько и преувеличены, но во всяком случае прусские провинции снова потерпели ужасающие опустошения.

---

[1] Бунцельвицкий лагерь — в Силезии (6 километров от кр. Швейдница) — был устроен и занят армией Фридриха II во время Семилетней войны, в середине августа 1761 г., когда против него оказались соединенные русская и австрийская армии. Вследствие разногласий союзников они не решились атаковать пруссаков и в сентябре отступили к своим базам: русские — в Польшу, австрийцы — в южную Силезию. — *Ред.*

[2] Торрес — Ведрас — в Португалии (40 километров от Лиссабона). Английская армия Веллингтона, отступая перед французской армией маршала Массены, сосредоточилась на узком гористом полуострове, образуемом р. Тахо и Атлантическим океаном. На сильно укрепленной позиции с обеспеченными глубокой рекой и океаном флангами и удобной стоянкой флота в тылу англичане в 1810/11 г. остановили наступление французов к Лиссабону, а восстания населения в тылу заставили их очистить Португалию. — *Ред.*

23 июня французские войска перешли Неман. Русские разделили свою армию на две части, из которых одна, под командой Барклая-де-Толли, медленно отступала к лагерю на Дриссе, другая же, под командой Багратиона, должна была беспокоить наступавшего врага с флангов и с тыла. Однако этот операционный план распался сам собой перед массами французских войск. Во избежание немедленного поражения русские войска должны были ускоренным маршем отступить в глубь страны, чтобы там соединиться, что им удалось сделать только в Смоленске. Лагерь на Дриссе исчез, как призрак, лишь только дело приняло серьезный оборот. Только в Смоленске можно было подумать о битве; здесь дело дошло даже до упорных боев, но Барклай-де-Толли, предвидя верное поражение, уклонился от решительного сражения и продолжал отступление в надежде найти позицию, где бы он мог принять битву хотя бы с какой-нибудь надеждой на успех.

Это отступление происходило при громких криках о предательстве святой России «немцами», окружившими царя; сам Барклай был сыном протестантского пастора из Лифляндии. Громче всего кричали в его собственной главной квартире; во главе недовольных стоял родной брат царя великий князь Константин. Ни один из крикунов не подозревал, что отступление было на самом деле спасением для России. От понимания этого были так же далеки и Барклай и царь. Барклай не был гениальным полководцем, но он был дельным генералом. Он лишь не хотел вступать в битву, предвидя несомненное поражение; царь, который, в сущности, не представлял себе истинных размеров опасности, пытался его поддерживать. Однако всеобщее возмущение против русского отступления было до такой степени велико, крики о предательстве немцев были так назойливы, что царь был вынужден передать главное командование чисто русскому по своей национальности фельдмаршалу — Кутузову.

7 сентября Кутузов под давлением общественного мнения решил попытать счастья и дал сражение под Бородиным. Эта ужасная битва кончилась в общем почетно для русских: они не были разбиты, хотя и понесли тяжелые потери и вынуждены были частично очистить поле сражения. Дальнейшее отступление русской армии отдало 14 сентября Москву в руки Наполеона.

Но Наполеон впал в большое заблуждение, думая, что он достиг своей цели. Уже с первого дня его вступления в Россию началось внутреннее разложение его могучей ар-

мии. Французские войска везде находили опустошение; деревни были брошены и пусты. Это происходило не по распоряжению правительства, как думали французы, но вследствие существовавшего у русского народа представления о войне. Внутренняя Россия давно уже не видала врага в своих землях, и в представлении крестьян жили воспоминания о пожарах и опустошениях, об убийствах и грабежах, производимых татарскими ордами. Как прадеды их бежали от татар, так они бежали от французов. Их деревянные избы, которые можно было очень быстро построить снова, не представляли для них большой ценности. То, что действительно являлось для них большой ценностью, хлеб и скот, они спасали при бегстве.

Вследствие этого французское войско стало ощущать большие трудности продовольственного характера, несмотря на все энергичные и предусмотрительные меры, принимавшиеся Наполеоном. Очень быстро начались грабежи, мародерство, а вместе с этим и падение военной дисциплины. Каждый шаг вперед увеличивал бедствие; чем больше, казалось, ослаблялась сила сопротивления русского войска при его отступлении, тем больше возрастало пространство, являвшееся главным, непреодолимым элементом мощности России. Шарнгорст раньше императора и царя понял исторический характер русского похода; он считал, что Наполеон должен погибнуть в обширных пространствах русского государства, если только Россия поставит этот козырь на карту и ни в каком случае не пойдет на мир.

Наполеон, вступая в Москву, возлагал свою единственную надежду на мир. Его боевые силы уже значительно уменьшились: в битве под Бородиным у него было лишь около 120 000 человек. Он послал своих послов в Петербург, но не подумал о том, что заключать мир с ним будет русская нация, а не царь, бывший таким жалким и уступчивым после битв при Фридланде и Аустерлице. А на что способна эта нация,— ему показал московский пожар. Царь был стоек не благодаря собственному мужеству, которым он не обладал, и не благодаря барону фон-Штейну, как это хвастливо утверждал немецкий патриотизм, но исключительно потому, что он хорошо помнил судьбу своего отца и деда.

Бесцельно проведя в Москве около 5 недель, Наполеон должен был 18 октября предпринять неизбежное отступление. Мягкая и теплая осень была очень благоприятна для него: в ноябре были только незначительные морозы. Лишь 4 декабря мороз достиг 16°, в следующие дни 18—20°,

а 8 декабря 28°. Эти морозы нанесли последний удар совершенно разбитому войску и разрушили последние остатки дисциплины. Около середины декабря лишь тень великой армии достигла медленными, вялыми переходами Восточной Пруссии, которую она жесточайшим образом разграбила полгода назад. Это были беспорядочные кучки всех национальностей и родов оружия, настоящее войско призраков, которые, казалось, вышли из могил: исхудавшие, как скелеты, многие искалеченные, с отмороженными конечностями, с мертвенными лицами, с налитыми кровью и помутневшими глазами, многие почти слепые или сошедшие с ума, укутанные в лохмотья, лошадиные попоны, овчины, звериные шкуры и т. п. Почти все безоружные, опиравшиеся на палки и дубины.

«За эти дни, — сообщает президент Ауэрсвальд от 18 декабря из Кенигсберга в Берлин, — проследовало, главным образом пешком или в крестьянских санях, без рубашек и сапог и даже в женских платьях, с отмороженными конечностями 84 генерала, 106 полковников, 1 171 офицер. Все солдаты, которые проходят через провинцию по всем направлениям группами и в одиночку, в большинстве случаев безоружны».

Через 3 дня после этого он писал: «По донесениям, в Кенигсберге находятся еще 255 генералов, 699 полковников, 4 412 капитанов и лейтенантов, 26 950 унтер-офицеров и солдат; все в весьма жалком состоянии». Уже из этого краткого донесения вытекает показательный и богатый по своим последствиям факт: относительно большое количество офицеров и унтер-офицеров, уцелевших от ужасной катастрофы французского войска. Это позволило Наполеону, при его все еще безграничных источниках, сравнительно скоро создать новое войско. Эту возможность он получил благодаря военной тактике русских. Кутузов не сумел взять быка за рога, когда этот бык был смертельно ранен. Он упустил[1] представившуюся ему возможность уничтожить вражеское войско до последнего человека под Вязьмой и у Красного, так же как не сделали этого и командиры его вспомогательных войск — генерал Витгенштейн и адмирал Чичагов; при Березине Наполеону даже удалось с жалкими остатками своего войска одержать в последних числах ноября нечто вроде победы над русскими.

---

[1] Вопрос о том, что Кутузов «не сумел» и «упустил», в настоящее время, на основе новых документальных данных, оспаривается. — *Ред.*

Здесь следует упомянуть, что немецко-русский легион, организованный бароном Штейном как ядро будущего немецкого войска, не оправдал возлагавшихся на него надежд. Он остался несчастным гермафродитом и ничем более. Штейн привлек к себе Эрнста-Морица Арндта, прирожденного немецкого патриота, имевшего наполовину старые, наполовину новые воззрения, и они совместно сочиняли памфлеты, чтобы побудить к уходу солдат Рейнского союза, находившихся во французском войске. Арндт великолепно умел подражать библейскому языку, и то, что он писал в своем «Кратком катехизисе для немецких солдат» о нормальном значении присяги, является такой глубокой мудростью, которую сейчас ни в коем случае нельзя было бы проповедывать на улицах и площадях Германской империи, не заслужив обвинения в государственной измене и оскорблении величества. Жалко лишь, что эта агитация велась в 1812 г. под защитой «батюшки-царя», и уже через год после этого от нее постыдно отреклись те самые люди, которые ее проводили.

Если в этой громадной катастрофе Наполеон сохранил еще средства и возможность быстро организовать новое войско, то на русской стороне положение было гораздо печальнее. Русское войско сильно уменьшилось; правда, оно не было так жестоко деморализовано, как французское, но все же оно состояло из обломков, которые были бы не способны вести войну по ту сторону Немана, как только натолкнулись бы на серьезного противника. Если совершенно не считать остатков великой армии, то все же у Наполеона оставались еще фланговые войска, из которых одно сражалось в Курляндии, под командой Макдональда, другое на Волыни, под командой Шварценберга; оба эти войска насчитывали, при сравнительно небольших потерях, около 40 000 боеспособных человек, в большинстве своем поляков или же солдат Рейнского союза. Крепости по линии Вислы и Одера были заняты 70 000 французов, и, кроме того, в Бранденбурге стояло или же в скором времени прибыло туда еще 20 000 человек. Вряд ли существует более наглое извращение истории, чем утверждение, что царь появился за Неманом как «освободитель немцев»; он находился в еще более неблагоприятном положении, чем Наполеон, так как по финансовым и пространственным причинам он не мог организовать в ближайшем времени новое войско. Его связывало, кроме этого, еще и то, что сильная военная партия с Кутузовым во главе высказывалась против того, чтобы перенести войну за пределы русской земли.

Решение вопроса зависело не от царя, но от Польши и Пруссии, у границ которых он теперь стоял. Эти государства раньше были союзниками Наполеона, а поляки и сейчас твердо стояли на стороне французов. Таким образом, царю оставалось лишь проявить чрезмерную нежность к восстановлению прусского государства, что, конечно, не особенно-то растрогало Берлин. В Берлине были далеки и от героических решений, которые следовало принять в собственных своих интересах. Король и Гарденберг были великолепно осведомлены о тяжелом положении Наполеона по донесениям австрийских чиновников и даже самого Наполеона, который, покинув 5 декабря свое войско, потребовал 14 декабря из Дрездена от короля, чтобы он усилил прусский вспомогательный корпус на 30 000 человек, но страх заглушал у короля и его приближенных все остальные соображения, и даже Гарденберг не находил ничего лучшего, как успокаивать страстные выступления масс и вести дипломатические переговоры о вооруженном посредничестве между Францией и Россией.

Таким образом, произошло то, что смелый поступок одного прусского юнкера через голову короля и его министров решил дело.

6. ТАУРОГЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

При заключении союза 24 февраля 1812 г. Наполеон наметил командующим прусским вспомогательным корпусом генерала Граверта, известного своим дружественным отношением к французам. Пруссаки не хотели возражать против этого указания, однако, под предлогом старости и болезненности Граверта, Шарнгорст в последний момент настоял на том, чтобы в роли второго командующего к нему был прикомандирован генерал Йорк.

Этот выбор делал честь уменью Шарнгорста разбираться в людях. Йорк был наиболее ядовитым и озлобленным врагом реформаторской партии; он был свободен от всяких подозрений, что имеет хоть что-нибудь общее с «гениями» и «фантазерами» типа Гнейзенау. Он всегда оставался солдатом старой школы, но солдатом способным и дельным, умевшим уживаться с необходимыми реформами, поскольку они внедрялись в его область. Расположенные к нему биографы выводили его происхождение от английского дворянского рода Йорков; на самом же деле он происходил из мелких кошубских дворян, многочисленных, как песок морской. Отец его матери был ремесленник. Не обладая никаким родословным древом, Йорк при всем своем юнкер-

ском образе мыслей был свободен от той низменной жадности, которая так часто заставляла многих юнкеров примиряться с чужеземным господством. Офицер прежде всего, он ненавидел французов, так грубо посрамивших славу прусских знамен. Он был как раз тем человеком, который должен был стоять во главе вспомогательного корпуса, чтобы должным образом обеспечить ему внутри французского войска известную самостоятельность.

В этом отношении Йорк оправдал все ожидания, возлагавшиеся на него Шарнгорстом, так как Граверт должен было вскоре отстраниться. Прусские войска составляли половину 10-го армейского корпуса, ведшего, под командой маршала Макдональда, малозначительную, в общем вспомогательную войну в прусских остзейских провинциях,— «войну мостовых укреплений», как шутил сам Макдональд. Великолепная дисциплина, поддерживаемая Йорком, и выдающиеся способности, проявленные им во многих мелких боях, снискали ему уважение французов, так что недоразумения между Макдональдом и Йорком происходили исключительно из-за продовольственных затруднений. Однако они не имели никакого влияния на общий ход вещей, так же как и переговоры относительно перехода Йорка на сторону русских, которые велись сначала генералом Эссеном и затем маркизом Паулуччи, губернатором Риги.

Лишь после того как выяснились размеры несчастья, постигшего великую армию Наполеона, явились некоторые серьезные сомнения, останется ли король верен французскому союзу. Йорк, у которого о военной дисциплине были самые педантичные понятия, держал короля в курсе текущих событий; он посылал адъютанта в Берлин с известиями о предложениях Эссена и Паулуччи, о своем разрыве с Макдональдом, о гибели французского войска и с просьбой дать ему определенные приказания. Но в ответ он получал лишь изречения оракула в стиле короля, весьма поверхностно владевшего немецким языком: «По обстоятельствам поступать. Наполеон большой гений. Не выходить из намеченных границ». Этого и сам чорт не смог бы понять.

Чтобы не быть отрезанным, Макдональд должен был 18 декабря предпринять отступление к Тильзиту. Он выступил в этот день сам с дивизией Гранджана, состоявшей из поляков и солдат Рейнского союза и являвшейся второй частью его войска. Йорк последовал за ним с прусскими войсками 20 декабря. Это был ужасный переход при 23—24° мороза по очень плохой, покрытой гололедицей и затем занесенной снегом дороге. Йорк вез с собой обоз,

который должен был поминутно останавливаться, а потому он отстал от Макдональда на несколько дней пути, а между тем русские войска начали теснить его с тыла и с флангов.

Вечером 24 декабря его путь был перерезан русской артиллерией и кавалерией. Последние состояли под командой генерала Дибича, пруссака по рождению и воспитанию; в числе его 20 штабных офицеров были два офицера, перешедшие, в результате соглашения Пруссии с Францией, из прусского в русское войско, — Клаузевиц и граф Фридрих Дона, из которых один был любимым учеником Шарнгорста, а другой — его родственником. Дибич предложил Йорку переговоры, в которых он не скрыл, что у него недостаточно сил, чтобы окончательно загородить дорогу прусским войскам, но достаточно для того, чтобы отнять у них обоз и даже часть орудий. Он предложил договор о нейтралитете, на который Йорк сначала не соглашался. Согласились лишь на том, чтобы ничего не предпринимать в эту ночь.

На другой день переговоры возобновились. Благодаря сообщениям этих двух незадолго перед тем бывших на прусской службе офицеров Йорк получил уверенность, что его прекрасно сохранившееся, хотя и небольшое войско — оно насчитывало еще 17 500 человек, из которых 2 500, несомненно, было больных и раненых,— неожиданно приобрело большое значение. Если он останется с французами, то последние будут достаточно сильны для того, чтобы помешать русским перейти через прусскую границу; в противном случае они это сделать не смогут.

Преодолев многочисленные трудности и выдержав тяжелую борьбу с самим собой, Йорк 30 декабря 1812 г. на Пошерунской мельнице у Таурогена заключил соглашение с Дибичем, по которому он должен был отправиться со своим войском в объявленную нейтральной область — между Мемелем, Тильзитом и Гафом — до решения короля. Если это решение сведется к тому, что прусские войска должны будут оставаться под французскими знаменами, то в этом случае они обязывались не сражаться против русских до 1 марта. Договор заключался одними пруссаками: Дибича сопровождали Клаузевиц и Дона, а Йорка — его начальник штаба Редер и адъютант Зейдлиц.

Клаузевиц, вообще плохо относившийся к Йорку, называет Таурогенское соглашение самым смелым действием, имевшим место когда-либо в истории. Со значительно меньшим правом его можно считать самой смелой авантюрой в прусской официальной истории. Против воли короля, находившегося тем временем под влиянием французов, Йорк

отпал от французов, чтобы самостоятельно направить политику своего государства. Долгое время утверждали, чтобы спасти честь прусского войска, что Йорк действовал по тайной инструкции короля, но даже и прусские историки сознаются теперь, что в этом нет ни одного слова правды. По их мнению, король в своих оракульских изречениях адъютантам Йорка как раз запрещал всякое соглашение, подобное тому, которое заключил генерал, — соглашение с политическими последствиями, и в случае необходимости соглашался допустить лишь чисто военную конвенцию в целях устранения бесполезного пролития крови, о чем, конечно, при существовавшем положении не могло быть и речи. Во всяком случае, это означало бы лишь то, что сбивчивые распоряжения короля стояли на той же высоте, что и его путаная фантазия.

Йорк сам знал, что он рискует головой. В письме, которым он доносил королю о заключенном соглашении, он высказал это совершенно открыто. Это и дало повод Фридриху Кеппену, другу юности Карла Маркса, назвать «предательство» Йорка формально классическим деянием, так как оно давало правительству возможность снять с себя всякую ответственность и неловкость, осудив главного виновника этого происшествия. Король на самом деле пытался пойти этим путем, но он был для него свободен только формально. Фактически Таурогенское соглашение связало его, приведя дело в движение.

ОТ КАЛИША ДО КАРЛСБАДА

1. КАЛИШСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ

Первые недели 1813 г. застали прусское правительство в состоянии полнейшей беспомощности и растерянности.

Даже единственная жалкая мысль, пришедшая ему в голову,— план вооруженного посредничества совместно с Австрией между Францией и Россией, — проводилась в жизнь с большой небрежностью. Лишь 4 января отправился полковник Кнезебек, ставший после отставки Шарнгорста первым военным советником короля, в Вену. Так же вяло, как посредничество, проводилось и вооружение, которое должно было быть его предпосылкой. С середины декабря 1812 г. до середины января 1813 г. было отдано лишь одно военное распоряжение: ввиду угрожавшего наступления русских генерал фон-Бюлов, исполнявший во время отсутствия Йорка обязанности восточнопрусского генерал-губернатора, получил приказ оттянуть из провинции, по ту сторону Вислы, всех людей и все материалы, которые могли бы быть оставлены прусскими военными силами и послужить на пользу русским. Из собранных кантонистов и крюмперов Бюлов должен был образовать резервы на левом берегу Вислы.

В первые же январские дни пришло сообщение, что Йорк заключил Таурогенскую конвенцию, — ужасная новость для короля и государственного канцлера Гарденберга, получившего ее за дружественным обедом с французским послом Сен-Морсеном и французским маршалом Ожеро. Приблизительно в это же время пришло письмо Бойена, в котором последний сообщал, что царь согласен заключить союз и обещает снова вернуть Пруссии ее могущественное положение, которое она занимала перед битвой под Иеной, но вместе с тем угрожает подчинить Восточную Пруссию русской империи, если король откажется от союза.

Даже эти сильные удары не нарушили все же системы «уверток и ухищрений», которой прусская дипломатия пыталась спасти себя теперь, так же как и перед Иеной. Гарденберг выразил французскому посольству глубокое возмущение по поводу Таурогенской конвенции и заявил, что король пошлет своего флигель-адъютанта фон-Нацмера в Кенигсберг, чтобы отставить Йорка от командования, арестовать его и предать военному суду. Нацмер действительно поехал, но не в Кенигсберг, а лишь по дороге туда, с тайным поручением, достигнув русских передовых постов, немедленно отправиться к царю и вступить с ним в переговоры о союзе. Однако командировка Кнезебека в Вену, основанная совершенно на других предпосылках, не была приостановлена. И даже больше: в Париж был отправлен князь Гатцфельд в качестве чрезвычайного посла, чтобы выразить императору все негодование короля по поводу «демарша» генерала Йорка и заверить в верности короля французскому союзу. Король якобы намеревается выставить новые вспомогательные войска, но у него нехватает денег, а поэтому он просит о некотором учете по выданным в прошлом году авансам. Гарденберг зашел так далеко, что показал графу Сен-Морсен инструкции князя Гатцфельда в оригинале и тут же предложил брак между прусским кронпринцем и бонапартистской принцессой.

Эту политику Гарденберга объясняли давлением обстоятельств или же считали ее интригой, в которую пытались впутать врага. Однако это мало соответствовало постоянной болтовне короля, что французский союз распадется якобы лишь в том случае, если сам Наполеон подаст к этому повод; к тому же Гарденберг был чересчур хитер, чтобы надеяться на то, что Наполеон так грубо попадет в ловушку. Больше того: Гарденбергу не особенно много удалось сделать в своих подкопах под Наполеона, возможно по той причине, что он сам охотно стал бы придерживаться французского союза, если бы Наполеон дал ему приличную сумму денег или порядочный кусок земли. Он упорно отказывался допустить переселение короля из Берлина и Потсдама, где король находился в полной власти французских полков, в объявленную нейтральной и свободной от французских войск провинцию Силезию. Объявленный 12 января приказ об увеличении армии ни в каком случае не носил враждебного французам характера, но гораздо скорее свидетельствовал, что этим выполняется пожелание Наполеона о том, чтобы прусские вспомогательные войска были усилены.

Однако управление событиями начало ускользать из рук короля и государственного канцлера. Притеснения и грабежи французов породили среди населения безграничную ненависть к Франции; население не желало ничего, кроме освобождения от французского ярма, хотя бы и с помощью русских. Это настроение проявлялось не только среди крестьянских и буржуазных кругов, которые в то время по существу еще не имели возможностей открыто заявлять свои мнения, но также среди войска и юнкерства, требованиями которых монархия не могла пренебрегать. Так же торжественно, как король заявил в берлинской газете об отставке Йорка, генерал Йорк объявил в кенигсбергской газете, что в прусском государстве газета не является официальным государственным органом, что еще ни один генерал не получал отставки через газету. Пример Йорка начал встречать подражание; генерал Бюлов, имевший свою главную квартиру в Нейштетине, вполне солидаризировался с Йорком. Несколько труднее поддался генерал Борштейль, командовавший в Кольберге и не решавшийся выступить на свой риск и страх; однако и он заклинал короля порвать с Францией; если население восстанет, то он, по его словам, не будет уверен в своих солдатах.

Все эти юнкерские генералы принадлежали к старой школе. Борштейль и Йорк оказывали самое злостное сопротивление военным реформам; однако они действовали в духе своего класса, требуя теперь войны с Францией. Еще накануне нового года старый юнкер Марвиц явился к своему смертельному врагу Гарденбергу и заявил ему, что все будет прощено, если будет объявлена война Франции; тот самый Марвиц, которому принадлежали крылатые слова, что Штейн больше повредил прусскому государству, чем Наполеон. Ненависть юнкеров к французам имела двоякое происхождение: с одной стороны, их также давил чужеземный гнет, и они надеялись после изгнания французов восстановить свои права, потерянные ими вследствие французских завоеваний; с другой стороны, выступая во главе народного движения, они доказывали этим, что могут противопоставить свою волю воле короля.

Перед таким положением вещей был поставлен прусский ландтаг, состоявшийся в первые дни февраля в Кенигсберге, так же недвусмысленно, как он был поставлен перед фактом Таурогенской конвенции. После отпадения Йорка остатки французского войска отошли к Висле; Восточная Пруссия и часть Западной Пруссии остались незанятыми. Однако на большом расстоянии от резиденции правитель-

ства гражданские чиновники были беспомощны, а широкие полномочия, которыми обладал Йорк как генерал-губернатор, были сомнительными после того, как король отставил его от должности. Тогда генерал Штейн предложил царю выдать ему полномочия, по которым на него возлагалось бы управление губернией до момента окончательного соглашения царя с прусским королем.

Соответствующий документ был написан 18 января в местечке Рожки, последнем пункте на прусской границе. Штейн обязывался в нем употреблять военные и денежные средства на поддержку прусских начинаний против французских войск, наблюдать за тем, чтобы доходы с оккупированных местностей правильно получались и распределялись сообразно намеченной цели; он обязывался, дальше, наложить конфискацию на имущество французов и их союзников, в возможно кратчайшее время закончить вооружение ландвера и ландштурма по планам 1808 г., а также быстро и регулярно доставлять все необходимое для русского войска продовольствие и транспорт.

Для выполнения этого обязательства Штейн мог употреблять все средства, которые он находил нужными: удалять бездеятельных и негодных чиновников, наблюдать за подозрительными и даже арестовывать их и т. д. Этот документ, несомненно составленный самим Штейном, представлял собой очень странное явление. Царь обращался с Восточной Пруссией как с завоеванной провинцией и назначал ей диктатора с совершенно неограниченными полномочиями. Если прусские чиновники восставали против этого диктатора, то это происходило не только из-за бюрократической боязни; их обязанностью было противиться посланцу завоевателя, да еще такого завоевателя, который своим коварством и лживостью поставил Германию под величайшие испытания. Уже 20 января, когда Штейн по дороге в Кенигсберг заехал в Гумбинен, где представителем правительства был в то время его старый помощник Шен, между обоими генералами произошло столкновение. Шен заявил, что он ни на грош не доверит русским, даже и в том случае, если бы они присягали, и что он отказывается принять служебные указания от Штейна, получившего свои полномочия от русских. В конце концов они примирились на том, что Штейн, принимая во внимание оккупацию страны русскими, созовет восточнопрусский ландтаг, чтобы обсудить вопрос о ландвере и ландштурме.

Этот ландтаг существовал с 1788 г. Его полномочия сначала распространялись лишь на сельскохозяйственные кре-

диты, однако во время своего второго министерства Штейн расширил его полномочия, дав ему право собираться ежегодно, и предоставил определенное количество мест кольмерцам (низшим сословиям), примерно половину тех мест, которыми обладало дворянство. Ландтаг не имел права решающего голоса и права созыва чрезвычайных заседаний; оно принадлежало коронной власти. Однако Штейну удалось побудить гофмейстера Ауэрсвальда, которому были подведомственны сословные дела, к созыву чрезвычайного ландтага 5 февраля в Кенигсберге. Через несколько дней Ауэрсвальд несколько поправился, заявив, что он имел в виду созвать не ландтаг, а лишь собрание депутатов; такие полумеры, являясь попыткой скрыть слабость характера, по существу обнаруживают нечистую совесть. Штейн согласился на это, так как он совершенно правильно полагал, что внутренняя логика вещей вступила уже в свои права.

Как только было достигнуто кое-какое соглашение относительно этого главного пункта, снова разгорелась горячая распря. Штейн, не обращая внимания на прусских чиновников, стал диктаторски распоряжаться; он завладел кассами и потребовал провианта для русского войска; при всеобщем ликовании населения он объявил континентальную блокаду аннулированной и даже требовал, чтобы все династические связи с Берлином были прерваны и чтобы Йорк с Бюловым выступили против Франции. Казалось, что дело дойдет до полного разрыва, когда собрался ландтаг и встал вопрос, кто будет его открывать и кто будет вести обсуждения. Ауэрсвальд — «тюфяк», как называл его Штейн, — объявил себя больным и назначил своим заместителем тайного советника юстиции Брандта. Штейн же хотел видеть сильную личность во главе ландтага, законность созыва которого была весьма спорна. Йорк также отказывался принять на себя председательствование, так что между ним и Штейном дело дошло даже до резких сцен. Но в последний момент было все же достигнуто соглашение, в котором, кажется, выдающуюся роль сыграл Шен. Председателем считался Брандт. Йорк обязался, если ландтаг этого потребует, выступить перед ним и сделать ему военный доклад. Штейн же отказался от своих русских полномочий. После открытия ландтага он оставил Кенигсберг и отправился обратно к царю.

Ландтаг единогласно постановил, по предложению Йорка, выставить 20 000 человек ландвера, резерв и один кавалерийский полк из «добровольно желающих сыновей отече-

ства», и все это на средства провинции. О всеобщей повинности здесь не было еще речи, так как допускалось заместительство; ландвер не должен был использоваться вне провинции. Но, несмотря на эти оговорки, решение ландтага наложило на население, достигавшее миллиона человек, большую жертву, ибо благосостояние населения было глубоко расшатано войной 1807 г., континентальной блокадой, походами 1812 г.; количество мужчин, способных носить оружие, было значительно уменьшено теми 10 000 человек, которые в течение последних месяцев были даны войскам Бюлова и Йорка как крюмперы и рекруты.

Между тем в Берлине приняли наконец решение перенести резиденцию короля из Потсдама в Бреславль. Страх перед французским захватом, а также благоприятные вести, которые привез майор Нацмер от царя, послужили толчком к этому шагу, который все же еще не являлся «разрывом» с Францией. О возможности переезда было доложено французскому императору, и тот не возражал против него. Французский посол последовал за королем в Бреславль. Но как только король 25 января прибыл в столицу Силезии, от царя были получены 27 января два письма; эти письма извещали о том, что произошло в Восточной Пруссии, и настойчиво требовали заключения союза. А на следующий день прусский посланник сообщил из Парижа, что от Наполеона нельзя ничего добиться, кроме нескольких дружелюбных слов; даже предложенная помолвка со светлейшим домом Гогенцоллернов не удостоилась внимания неблагодарного. «Наполеон, кажется, рассчитывает на нашу нерешительность как в счастье, так и в несчастье; он относится к Пруссии с недоверием и презрением», так писал Шарнгорст после того, как Гарденберг сообщил ему донесение парижского посла.

Гарденберг решился теперь на союз с русскими. В тот же день он уговорил короля утвердить комиссию по вооружению, представителем которой являлся Гарденберг, а душой Шарнгорст; Кнезебек спешно был вызван из Вены, чтобы отправиться к царю. Но при своей известной всем нерешительности король никак не мог принять определенного решения. Правда, он должен был отказаться от вооруженного посредничества, которое он предполагал осуществить совместно с Австрией, так как в Вене он не встретил сочувствия; он хотел теперь посредничать на свой собственный риск и страх. 4 февраля он заставил своего придворного пастора Ансильона составить записку, в которой намечался союз с царем и для большей безопасности

Пруссии предлагалось ускорить, насколько возможно, продвижение русских войск к Одеру. После этого Пруссия должна была взять на себя вооруженное посредничество между Францией и Россией при следующих условиях: французские войска оставались за Эльбой, русские — за Вислой, чтобы дать возможность Пруссии сделать приемлемые мирные предложения. По проекту Ансильона, эти предложения заключались в следующем: французский император удерживал власть над Западной Германией, Голландией, Италией и Испанией, пруссаки же получали обратно свои крепости на Одере — Магдебург, возможно еще Альтмарк и во всяком случае герцогство Варшавское.

Этот жалкий и совершенно безрассудный проект сделался на несколько недель основой королевской политики. После нескольких дней нерешительности Кнезебек, единомышленник Ансильона, отправился 9 февраля в русскую главную квартиру, а через день после этого в Бреслау пришло запрещение Наполеона вести переговоры с русскими, хотя бы из-за нейтралитета Силезии. Гарденберг ответил на него 15 февраля; он оправдывал посылку Кнезебека тем, что нейтралитет Силезии надо было обеспечить и с русской стороны; дальше, его нота, взывая к справедливости императора, просила вернуть в размере 47 000 000 франков половину авансированных сумм, полученных от Пруссии, и, наконец, делала те предложения перемирия, которые придумал Ансильон.

На это никакого ответа из Парижа не последовало. С русской стороны переговоры также застопорились. Гарденберг значительно повысил требования Ансильона; он требовал восстановления Пруссии в тех размерах, которые она имела до войны 1806 г., за исключением только Ганновера, но зато он еще более настойчиво, чем Ансильон, требовал возвращения принадлежавших когда-то Пруссии польских земель. Царю он предоставлял лишь Белостокский округ и, самое большее, некоторое округление этого округа. Кнезебек же, потративший на свою поездку в русскую главную квартиру 6 дней, упорно настаивал на пункте своей инструкции, требовавшем также и возвращения Белостока, хотя он, так же как и инструктировавшие его, прекрасно знал, что царь не только жаждал польской добычи, но просто считал Польшу, завоеванную не прусскими войсками, а его собственными, своим справедливым вознаграждением.

Конечно, эти русские желания и стремления были опасны для прусского государства, и к тому же царь обнаружил

их лишь наполовину, но стремление к грабежу Польши и прусская жадность, которая так много содействовала гибели старопрусского государства, были нисколько не красивее и не умнее русских. Возмещения на западе были бы для Пруссии гораздо выгоднее, и задача прусских переговоров заключалась именно в том, чтобы обеспечить себе это возмещение и по возможности обезвредить польские планы царя. Но теперь произошло именно то, что сказал позднее поэт о прусских провинциях:

Стоит в грязи лишь увязнуть тележке,
Как подымается дикая спешка,
И все постромки рвутся в куски.

19 февраля Йорк выступил со своими войсками, чтобы перейти Вислу; 22 февраля он и Бюлов встретились с русским генералом Витгенштейном в Конице и уговорились о продвижении к Одеру. В Кольберге появился Гнейзенау и увлек за собой генерала Борстеля; последний приказал своим войскам выступить без королевского приказа, чтобы освободить Берлин от французов.

Еще более решительны были меры, предпринятые Шарнгорстом как руководителем комиссии по вооружению. Он достиг цели, которую он с таким нетерпением преследовал в течение многих лет; 3 февраля появилось воззвание к образованному и состоятельному юношеству — добровольно взяться за оружие; 9 февраля было отменено освобождение от кантонной службы и учреждена всеобщая воинская повинность, правда лишь на время этой войны. Еще нельзя было сказать, против кого направлялось это вооружение, и все же воззвание 3 февраля подействовало, как электрический разряд. Из всех уголков страны добровольцы устремились в Бреславль, Кольберг и Грауденц, объявленные пунктами сбора, но главным образом в Бреславль. В Берлине, где воззвание стало известным лишь 9 февраля, в первые же 3 дня записалось не меньше 3 000 добровольцев. Один испанец, живший в прусской столице, писал перед этим на свою родину: «Немцы совсем не то, что испанцы; они довольны всем, лишь бы у них был уголь в кладовых». Теперь тот же испанец писал в чрезвычайном изумлении в Мадрид: «В Северной Германии проснулся дух национальной независимости, и нигде это благородное чувство не проявляется с такой пылкостью и не находится в полном соответствии со славной Испанией, как в прусском государстве». Как Штейну, по его

возвращении из России, так и Гнейзенау, по возвращении из Англии, казалось, что они видят совсем другой народ.

Как ни были закалены в бою французские войска, они почувствовали, что почва под ними колеблется. «Мы увидели, — пишет один француз о добровольцах, — что они проходили сквозь наши батальоны без оружия и без командиров; они испускали радостные крики и бросали на наших солдат угрожающие взгляды. Французский гарнизон Берлина в 6 000 человек и 40 орудий, под командой маршала Ожеро, был как бы парализован, когда 20 февраля в Берлине показался отряд казаков, радостно приветствуемый населением». Из Бреслау австрийский посланник писал в Вену: «Умы находятся в величайшем брожении, которое трудно описать. Военные и вожди отдельных партий захватили под маской патриотизма бразды правления. Канцлер также увлечен этим потоком». Еще более вескими были слова английского агента Омптеда: «Если король будет еще медлить, то я считаю революцию неизбежной; и войско даст первый сигнал к ней».

Под этим все возрастающим давлением король наконец уступил, но и теперь лишь как жалкий, упрямый трус, у которого стала колебаться корона на голове. Последний удар нанес ему Штейн, который побудил царя отправить его (Штейна) и русского государственного советника Анштета в Бреслау с предложением союза, которое если не было написано самим Штейном, то все же составлено под его большим влиянием. По этому договору царь и король заключали наступательный и оборонительный союзы, чтобы освободить Европу и прежде всего восстановить прусское государство. Царь обязывался не складывать оружия, пока Пруссия не достигнет той же силы, которой она обладала до битвы под Иеной. Однако из своих польских владений она приобретала лишь столько, сколько было необходимо, чтобы восстановить связь между Восточной Пруссией и Силезией. Свои возмещения она должна была найти в Северной Германии, за исключением Ганновера. Это ограничение состоялось в связи с английскими субсидиями, которые и Пруссия и Россия получали для ведения войны. Наряду с этим имелся в виду союз с Австрией и Швецией. Россия обязывалась выставить 150 000 человек, Пруссия — 80 000 и, кроме того, напрячь все свои военные силы и образовать новый ландвер.

На этих условиях и был заключен союз по приезде в Бреславль Штейна и Анштета. 27 февраля договор был

подписан в Бреславле Анштетом и Гарденбергом, а 28-го — в русской главной квартире в Калише Шарнгорстом и Кутузовым. Между тем прошло еще 3 недели драгоценного времени; ведь Наполеон должен был дать повод тем, что не ответил на прусские предложения 15 февраля. Когда его ответ не был получен и до 15 марта, Гарденберг вручил 16 марта объявление войны графу Сен-Морсену, который в свою очередь только что получил благодаря своим настояниям полуутвердительный ответ Наполеона. Но было уже поздно, и 17 марта король выпустил воззвание с объявлением войны Франции; это было полное достоинства обращение, написанное государственным советником Гиппелем, по указаниям Гнейзенау, причем Гнейзенау предварительно уничтожил жалкую стряпню Ансильона, сделанную им в духе короля.

Гораздо менее счастливо прошло для Штейна воззвание к немцам. Здесь почти не приходилось касаться отдельных династий и государств, но тем больше надо было говорить о немецкой нации, чтобы увлечь ее на борьбу с Наполеоном. Он имел в виду два мероприятия: первое — воззвание к немцам, которое должно было по существу устранить рейнских князей, и второе — образование центрального правительственного совета; этот совет должен был использовать силы и средства северонемецких государств, которые предстояло завоевать. Этот совет был утвержден, и президентом его назначен Штейн, больше всех подходивший для этой роли как сторонник русских. Воззвание к немцам было составлено не так, как этого хотел Штейн; из него была вычеркнута угроза рейнским князьям, что если они в течение 6 недель не сообщат своего решения, то будут низложены. Штейн знал тот язык, на котором следовало говорить с этими людьми. Король и царь сочли неудобным разговаривать таким категорическим тоном со своими собратьями «божьей милостью» и ограничились выражением радостной уверенности, что ни один немецкий князь своим упорством по отношению к Рейнскому союзу не поставит себя в такое положение, чтобы к нему было применено воздействие общественным мнением и силой оружия.

Без всяких колебаний подписали царь и король те обещания, которые Штейн давал немецкой нации по окончании войны: восстановление великого государства, свобода и независимость «как неотъемлемые права народа», полное самостоятельное управление своими домашними и внутренними делами. Эти обещания, которые Штейн

давал вполне искренне, не имели для благородных господ никакого значения.

Позднее, когда все это прекрасно удалось, их подкупные писаки пытались отрицать Калишское воззвание, как фальшивку. Это делалось, конечно, из последних остатков стыда, так как всему миру было ясно, что ни один бонапартистский бюллетень не был таким подлым мошенничеством, как это торжественное заявление благочестивых монархов; однако воззвание все же подлинно. 25 марта главнокомандующий обеих союзных армий Кутузов опубликовал его в Калише от имени обоих государств.

2. ЛАНДВЕР И ЛАНДШТУРМ

В резком противоречии с жалкой дипломатией Гарденберга стояла неутомимая энергия, с которой Шарнгорст проводил вооружения с момента призвания своего в конце января в комиссию по вооружению. 4 марта он уже мог донести, что регулярное войско со времени декабря прошлого года почти утроилось и уже достигает 120 000 человек.

Шарнгорст достиг этого успеха отчасти усилением старых, имевшихся еще частей войска, отчасти организацией новых частей. Необходимый человеческий материал наряду с очередными рекрутами ему доставляли также и крюмперы.

Это изобретение вознаграждало его теперь сторицей. Несравненно большие трудности представляли для него обмундирование, вооружение и снабжение этих масс. В военной кассе находилось всего 3 000 талеров; попытка выпустить ценные бумаги на 10 000 000 с принудительным курсом кончилась полным крушением, а до английских субсидий было еще далеко вследствие жалкого топтания прусской дипломатии. Однако Шарнгорст был человек, для которого дело было всегда выше мелочей, хотя это и могло привести в ужас старых немецких рутинеров; там, где не было цветных мундиров, он заставил одевать рекрутов в серое сукно, которое общины давали призывавшимся кантонистам и крюмперам; где не было ранцев, там употреблялись тиковые мешки; посудой для питья и еды должны были пользоваться несколько человек сообща. Вооружение было ограничено лишь самым необходимым. Ремонтные и артиллерийские лошади должны были поставляться без вознаграждения, и, наконец, все войска должны были снабжаться натуральным квартирным довольствием бесплатно.

Но, как бы ни было велико это увеличение войска, все же оно оставалось в рамках старой кантонной системы; Шарнгорст вышел из ее рамок лишь декретами 3 и 9 февраля, из которых первый призывал к добровольному вступлению в войска «предпочтительно» юношей имущих и образованных классов, а второй упразднял освобождение от кантонной службы и на время войны вводил всеобщую воинскую повинность. Между этими обоими декретами можно усмотреть известное противоречие, которое и было замечено уже во время их появления, — противоречие в том смысле, что, казалось, воззвание 3 февраля было основано на принципе добровольчества, а предписание 9 февраля — на принципе принуждения. Но в понимании Шарнгорста этого противоречия не было. Он понимал всеобщую воинскую повинность как законное принуждение. Лишь те, которые поступали добровольно и вооружались за свой счет, получали известные преимущества. Добровольцы распределялись между егерскими частями, являвшимися самой свободной и независимой частью войска. Каждый пехотный батальон, каждый кавалерийский полк получал команду егерей, состоявшую исключительно из добровольцев. Добровольцы могли свободно выбирать полк или батальон, в котором они хотели служить. Они могли в любое время, за исключением военного времени, покинуть службу. Они выбирали офицеров и унтер-офицеров из своей собственной среды.

Цель этого установления ни в каком случае не заключалась только в одной экономии, которая при численности добровольцев около 12 000 человек не была ощутительна, тем более для Шарнгорста, обращавшего главное внимание на моральный фактор. Если с устранением наемного начала войско и было освобождено от своих злейших пороков, то все же, пока существовало освобождение от кантонной службы, оно составлялось из самых беднейших и умственно отсталых элементов населения. Разница между этими элементами и юношеством, увлекавшимся Гёте и Шиллером, Кантом и Фихте, была так велика, что между ними не могло возникнуть никакого духа товарищества. Отсюда проистекало всеобщее презрение к военной службе. Воспитанное столетиями, оно не могло исчезнуть в течение нескольких лет. Выйти из этого положения можно было лишь созданием кадров добровольцев-егерей, которые впоследствии должны были составить школу для подготовки офицеров, недостаток в которых с возрастанием войска все более и более чувствовался.

Шарнгорст вполне достиг того морального действия, которого он хотел добиться своими воззваниями от 3 февраля. Не только образованное юношество с радостью взялось за оружие, но все слои населения приносили значительные жертвы, чтобы снарядить тех добровольцев, у которых не было собственных средств, так как образование и состоятельность уже и тогда были совершенно различными понятиями. Было вычислено, что добровольные пожертвования для этой цели достигли суммы свыше миллиона талеров. Еще более популярными, чем добровольцы-егеря, были добровольческие корпуса, которые образовывались из граждан не прусской Германии. Наиболее известны из них образованные майором Люцовым, товарищем Шилля по оружию, люцовские добровольческие отряды. Правда, Шарнгорст относился к ним не очень с большим доверием, быть может потому, что сомневался в военных способностях Люцова, а быть может и потому, что он был слишком кадровым офицером, чтобы не относиться несколько недоверчиво к добровольческим формированиям. Видимо, люцовцы заслужили своими незначительными действиями во время войны подобное недоверие, если только это недоверие само не явилось причиной того, что «добровольческие войска», дравшиеся всегда вместе с кадровыми, постоянно отодвигались последними на второй план.

Таких размеров достигли вооружения Шарнгорста в момент объявления войны Франции. Теперь он мог завершить свое дело учреждением ландвера, запрещенного прусскому государству по сентябрьскому соглашению 1807 г. Этим договором король прикрывал свою горячую антипатию против ландвера. Чтобы отрезать ему всякое дальнейшее отступление, Шарнгорст и Штейн включили в прусско-русский союзный договор постановление, по которому Пруссия обязывалась организовать ландвер. План Шарнгорста был готов уже на следующий день после объявления войны, и неудивительно, — ему надо было лишь записать те мысли, которые созревали в его голове в течение долгих лет.

Как и Февральский эдикт, этот декрет покоится на объединении принципов добровольчества и обязательной службы. Всего должно было быть выставлено 120 000 человек, т. е. около $^{1}/_{40}$ части всего населения, распределенных по отдельным провинциям и округам. Тот, кто объявлял себя добровольцем, получал тотчас же звание ефрейтора и гарантии, что в дальнейшем он будет иметь преимущества при продвижении по службе. Если в каком-нибудь

округе количество добровольцев не достигало числа приходящихся на этот округ рекрутов ландвера, производилась жеребьевка. Ей подлежали все способные носить оружие с семнадцати- до сорокалетнего возраста, каждый год в соответствующем количестве. Исключения из всеобщей повинности ландвера делались очень скупо: главным образом для духовенства и учителей и особо незаменимых чиновников. Заместительство, допущенное перед этим восточнопрусским ландтагом, было теперь совершенно запрещено.

Главную часть издержек по содержанию ландвера государство перекладывало на округа. Государство доставляло лишь огнестрельное оружие, боевые припасы и кавалерийские сабли. Округа доставляли пики, которыми должна быть вооружена первая шеренга пехоты, патронташи, барабаны, трубы, сигнальные рожки; для кавалерии же, которая должна была составлять $1/8$ часть ландвера, а фактически составляла лишь $1/15$ часть его, округа доставляли также лошадей и седла. Одежду ополченец должен был добывать себе сам, а если он не мог, то на сцену опять-таки выступал округ. Но все должно было быть как можно проще и как можно скромнее. Было вполне достаточно, если ополченец имел тужурку, которая могла быть легко перешита из крестьянского праздничного сюртука. Воротник и околыш фуражки носили цвета провинций. На офицерской форме не допускалось никакой пышности. Два раза в неделю ландвер собирался для военных упражнений: по воскресеньям и средам. Самым существенным считалось то искусство, в котором старопрусское войско было почти несведущим, — стрельба в цель.

Так как государство почти целиком возложило содержание ландвера на округа, то последние не могли быть отстранены от организации ландвера. В каждом округе были образованы приемочные комиссии (два землевладельца-дворянина, горожанин и крестьянин), которые руководили набором, приводили к присяге рекрутов и выбирали офицеров не выше ротных и эскадронных начальников, причем их выбор не ставился в зависимость ни от возраста, ни от сословия избираемых. Назначение на высшие офицерские должности король сохранил за собой, но окружные приемочные комиссии имели право выставлять своих кандидатов. Когда ландвер был уже организован, то в дальнейшем офицерские места замещались по выбору офицеров; выбор офицеров солдатами не допускался.

Этот ландвер был, конечно, очень далек от идеала демократической милиции. Помимо того, что дворян в окруж-

ных приемочных комиссиях было представлено вдвое больше, чем горожан и крестьян, дворянские представители избирались своими же дворянами, в то время как представители горожан и крестьян назначались правительством. Кроме того, наряду с назначением высшего офицерства королю было предоставлено также и право утверждения низшего офицерства, намеченного приемочными комиссиями, так что «паршивую овцу» всегда можно было выкинуть из стада. Сам Гнейзенау, принимавший деятельное участие в организации силезского ландвера, был однажды поражен, увидев при осмотре ландвера старого портного своего прежнего гарнизона Яуэра в качестве лейтенанта; дружелюбными убеждениями ему удалось устранить этот и подобные ему «промахи».

Декрет о ландвере от 17 марта не вызвал такого воодушевления, как воззвание от 3 февраля. Хотя и несправедливо оспаривать решающую роль ландвера в окончательной победе, все же несомненно, что недостаток военного обучения далеко не возмещался в нем моральными преимуществами. Ландвер совершил поступки величайшей храбрости, но наряду с этим не один батальон ландвера разбежался при первом же пушечном выстреле. Гнейзенау боялся, что большая часть силезского ландвера разбежится, если не будет удержана строжайшими мерами дисциплины. Он требовал для дезертиров дурного обращения и питания, суровых репрессий, а также строжайшего наказания для общин, которые не выдавали возвращавшихся домой дезертиров. Донесение полковника Штейнмеца, защищавшего в свое время вместе с Гнейзенау Кольберг, сообщает даже после удачной битвы при Кацбахе: «Командиры батальонов получили строгий выговор, офицеры арестованы; большая часть ландвера переведена во 2-й класс и была проведена сквозь строй в вывернутых наизнанку мундирах, а также наказана палками и голодом. Дальше не остается уж ничего, кроме расстрелов».

Эти явления были использованы с реакционной стороны для травли ландвера как «демократического учреждения». Но это означает — извращать суть событий. Ландвер был временами не на высоте своего положения как раз потому, что он был не «демократическим учреждением», но по всей своей тогдашней организации являлся лишь плохой копией постоянного войска. Он уступал войску как в обучении, так и в вооружении, и этот недостаток устранялся не «отечески любовно», как это делалось по отношению к добровольцам-егерям, но путем жесточайшей военной дисциплины, как

этого требовали Гнейзенау и его товарищи. Каждый князек или графчик, записавшийся добровольно в егеря, осыпался лаврами и еще сейчас прославляется со слезами умиления в различных стихотворениях; силезские же ткачи, вероятно беднейшие жители Европы, истощенные, плохо одетые и вооруженные, часто даже без сапог, подвергались всем мучениям голода и непогоды, а при малейшем упущении — и тем жестоким наказаниям, которые применяются лишь в наемном войске. Тем выше стоит моральная сила этого ландвера, приводившая его, вопреки всему, от победы к победе.

В завершение работ по военному вооружению Шарнгорст создал «ландштурм», который был организован лишь после того, как организовался ландвер. Здесь принесли плоды те планы поднятия масс, которые Гнейзенау и Шарнгорст переняли у Французской революции. Автором декрета о ландштурме, в строгом смысле этого слова, был Яков Бартольди, чиновник при государственном канцлере, участвовавший лейтенантом в Тирольском восстании 1809 г.

Постановления декрета отличались драконовской жестокостью. Декрет о ландштурме обязывал к службе все мужское население государства, не принадлежавшее к регулярному войску или ландверу; исключались лишь мальчики, старики и больные. Обязанные служить в ландштурме в угрожаемых местностях должны были быть готовыми к выселению оттуда со своими женами, детьми и стариками. Запасы и продукты в случае необходимости должны были быть вывезены или уничтожены. Пиво, вино, водка должны были быть вылиты, колодцы в оставляемых областях засыпаны, мельницы, лодки, плоты и мосты сожжены; деревни — по правилам чуть ли не города — должны были быть разрушены и опустошены.

Этот декрет натолкнулся на энергичное сопротивление даже со стороны относительно наиболее радикальных реформаторов; военный советник Шарнвебер до такой степени поспорил из-за него с Гнейзенау, что лишь с трудом удалось предотвратить дуэль между ними. На практике же декрет не был применен даже в виде опыта. Постановления его скоро были смягчены новым указом, да к тому же и военные действия очень скоро отодвинулись от прусских владений. Мог ли быть проведен декрет со всей строгостью — является сомнительным. Вопрос имел две стороны. Там и сям, особенно в областях, близко лежащих к театру военных действий, или же в окрестностях крепостей, занятых французами, на Эльбе при Зандау и Тангермюнде, в Одербрюхе, у Штеттина, крестьянское население организо-

вало свой собственный ландштурм, чем нанесло некоторый вред врагу.

С другой стороны, дело обстояло так: «Профессора берлинского университета образовали свой собственный отряд и ревностно начали обучаться владеть оружием; маленький горбатый Шлейермахер, который едва мог держать пику, стоял на крайнем левом фланге, длинный Савиньи — на правом, живой карапузик Нибур упражнялся до такой степени, что его руки, привыкшие до сих пор только к перу, покрылись большими мозолями; идеологически смелый Фихте появился вооруженным до зубов, с двумя пистолетами за широким поясом, волоча за собой палаш; в его передней красовались рыцарские копья и щиты для него и его сына. Старый Шадов предводительствовал отрядом художников, Ифлянд — рыцарями подмостков; наряды и вооружение большинства из них носили средневековый фантастически-театральный характер; появились шишаки и каски, щиты и даже панцыри. На месте обучения можно было видеть боевые вооружения Тальбота и Бургундского герцога, Валленштейна и Ричарда Львиное Сердце. Сам Ифлянд появился в панцыре и со щитом Орлеанской девы, чем вызвал большую веселость».

Фридрих Коппель, из забытого сочинения которого 1813 г. мы берем это описание, присовокупляет к нему, что хотя законом о ландштурме и была достигнута «высота принципа», все же от великого до смешного — один шаг.

3. ВЕСЕННИЙ ПОХОД

Прусские вооружения были еще в полном ходу, ландвер в периоде зарождения, а новые батальоны линейного войска в периоде образования, когда Наполеон смог уже начать войну, имея в своем распоряжении превосходные силы; этому немало содействовала медлительная политика прусского короля, за которую его подданные заплатили потоками крови.

Французский император использовал это время гораздо лучше. Вернувшись в Париж, он нашел там 140 000 рекрутов по набору 1813 г., объявленному им еще во время похода на Москву. Они были собраны в октябре, обучались в течение четверти года и в общем были годны для военной службы. То же самое можно было сказать и относительно 100 000 человек национальной гвардии, которые находились под ружьем с весны 1812 г. Правда, национальная гвардия не должна была, по закону, выступать за фран-

цузские границы. Но угодливому сенату было достаточно одного слова Наполеона, чтобы обойти запрещение закона. В добавление ко всему была объявлена мобилизация 100 000 человек старшего возраста, четырех призывов последних лет и 150 000 человек призыва 1814 г., которые предназначались, правда, лишь для пополнения запасных частей, а не для полевой войны.

Ужасная катастрофа русского похода не осталась бесследной; в стране замечалось уже некоторое глухое сопротивление; случалось, что рекрутов приводили в полки в цепях. Но в общем и целом могучая военная машина подчинялась гениальной воле своего вождя. Под видом добровольных поставок французские города предложили императору взять на свой счет часть вооружений, а именно дать ему лошадей и почти полностью восстановить уничтоженную конницу. Как совершенно «свободный дар от чистого сердца» Париж выставил 500 всадников, Лион — 120, Страсбург — 100, Бордо — 80 и т. д.; отдельные города и местечки выставляли двух и даже одного всадника. Но от их пожертвований, так же как и от их доброго желания, было мало проку. Кони и всадники в большинстве случаев не могли быть доставлены «натурой», но возлагались на алтарь отечества звонкой монетой по таксе, установленной правительством. Это был во всяком случае скромный финансовый источник по сравнению с теми 370 000 000 франков, которые Наполеон получил, продавая отнятые у общин земли; взамен этих земель он давал их прежним владельцам пятипроцентную государственную ренту.

Наполеон, занятый своими огромными вооружениями, увлекаемый неустрашимой энергией, колоссальным организаторским талантом и находивший своим проницательным умом все новые и новые источники, и слышать ничего не хотел о прусском посредничестве. Он знал, что до тех пор, пока он не нанесет сокрушительного удара своим врагам, он не будет иметь почетного мира как в своих собственных глазах, так и в глазах нации; прилагая старания к тому, чтобы удержать своих немецких вассалов в Рейнском союзе, и ведя серьезные переговоры с Австрией об укреплении союза с ней, он сохранил к Пруссии свое прежнее отношение, наполовину недоверчивое, наполовину презрительное. Принимая объявление войны от Пруссии, он холодно пожал плечами: «Лучше иметь открытого врага, чем ненадежного друга», — и послал через своего министра иностранных дел насмешливый ответ, в котором ядовито, но совершенно справедливо указывал, что то святое наследие, возвраще-

ния которого требует прусский король, было создано путем постоянного предательства императора и империи.

Уже 15 апреля Наполеон выехал из Сен-Клу и направился в Майнц, где пробыл около недели. Он сделал здесь смотр 130 000 солдат, с которыми намеревался продвинуться в конце апреля в Саксонскую равнину, чтобы соединиться с итальянским вице-королем, своим пасынком Евгением Богарне, который должен был выйти к нему навстречу с Эльбы, имея при себе 40 000—50 000 человек. Это были остатки «великой» армии, которая была тем временем восстановлена и пополнена, но тем не менее оттеснена русскими и прусскими войсками до Эльбы; если к этому прибавить кое-какие отряды, которые начали образовываться в Везеле и Виттенберге, то все активные силы, с которыми Наполеон мог начать кампанию, насчитывали в общем более 200 000 человек. К этому надо прибавить еще 60 000 человек, находившихся в крепостях на Висле и Одере, из которых первыми пали Торн и Ченстохов.

Русские и пруссаки значительно отстали от Наполеона; даже и после прусского объявления войны сомнения и колебания не имели границ. Главнокомандующего союзных армий генерала Кутузова, лежавшего почти при смерти, было трудно извлечь из его главной квартиры в Калише. Он отнюдь не хотел продолжать войну на немецкой земле и вместе с тем великолепно знал, какое вопиющее противоречие представляли собой истинные силы русского войска по сравнению с теми силами, которые ему приписывались. Смелые планы Шарнгорста перейти через Эльбу, разбить Рейнский союз и поднять северо-западную Германию были заведомо безнадежны. В первую очередь было достигнуто выдвижение обоих фланговых корпусов к Эльбе, между которыми должна была потом медленно наступать главная армия.

Северный из этих двух фланговых корпусов состоял под командой русского генерала Витгенштейна, с которым соединились прусские части генералов Йорка, Бюлова и Борстеля; он двигался от Берлина, через маркграфство Бранденбург, на Магдебург, где собрал свои войска вице-король Италии. Между обоими войсками 5 апреля произошел небольшой бой при местечке Меккерн, окончившийся победой союзников; на следующий день Витгенштейн перешел Эльбу и расположился на квартирах у Дессау и Коттена, намереваясь дождаться здесь главных русских сил, которые выступили наконец 6 апреля из Калиша.

Между тем летучие отряды корпуса Витгенштейна пытались поднять в Северной Германии восстание против фран-

цузского господства. Русский полковник Теттенборн, выступив 12 марта из Берлина с несколькими казачьими полками, принудил к отпадению от Рейнского союза мекленбургских герцогов и 18 марта был встречен с радостным ликованием в Гамбурге; через день после этого от французов отложился Любек, а затем на левом берегу Эльбы — Гарбург, Штаде, Люнебург и Бремен.

Однако вся эта экспедиция была не чем иным, как казачьим налетом, и имела своим последствием лишь жестокую расправу, которую произвели маршал Даву и генерал Вандам в восставших местностях. С превосходными силами они перешли на левый берег Эльбы и своими расстрелами отбили всякую охоту к новым восстаниям. Большой ошибкой союзников было то, что они отдали французам Гамбург, имевший большое значение благодаря своим богатым ресурсам, не сделав даже серьезной попытки удержаться в нем. Лишь другой летучий отряд из корпуса Витгенштейна, под командой генерала Доренберга, пытался помочь казакам Теттенборна; 2 апреля он дал на улицах Люнебурга блестящий бой, но не мог помешать Даву сделать из Гамбурга первоклассную крепость, которая оказалась в состоянии сопротивляться даже и тогда, когда Париж уже пал.

На верхней Эльбе надежды на успех погибли также в полном своем расцвете, хотя и несколько иным образом. Южный фланговый корпус русско-прусского войска без серьезного сопротивления продвинулся до Дрездена. Он состоял из прусских войск, стоявших до сих пор в Силезии, и из русского корпуса Винценгероде. Командующим был прусский генерал Блюхер, которого пригласил сам Шарнгорст, имевший по своим заслугам первую очередь на это место. Блюхер был старым рубакой, без всякого и даже без военного образования, в строгом смысле этого слова. «Он ничего не понимает в войне»,— говорил Шарнгорст, но он был не только мужественным солдатом, прекрасно чувствовавшим себя в конной схватке, но и мужественным полководцем, не боявшимся никакой ответственности, когда дело шло об использовании удобного момента, имеющего такое громадное значение в войне. Он обладал честным, независтливым характером, великодушно принимал на себя делаемые ошибки, не сваливая их на своих подчиненных, и был любим солдатами за свою простую, сурово-добродушную натуру. Блюхер состарился в старопрусском войске, но, руководимый своим здоровым инстинктом, сделался после Иены сторонником реформы и теперь в походе выступал на стороне Шарнгорста и Гнейзенау.

Однако занятие королевства Саксонии не увенчалось военными лаврами; оно лишь показало, какой смысл и какое значение имело Калишское воззвание. На князей Рейнского союза оно не оказало совершенно никакого впечатления; за исключением мекленбургских герцогов, которых теттенборновские казаки обратили на истинный путь, все они строго придерживались наполеоновского знамени. Они знали, что этот плебей не позволит шутить с собой, тогда как относительно своих законных противников они знали наверняка, что в конечном счете ворона не выклюет глаз другой вороне. В Дрездене вскоре выяснилось, как правильно было это чутье. Саксонский король с давних пор был преданнейшим вассалом Наполеона. Его войска находились во французском военном лагере и еще в Люнебурге озлобленно дрались с прусскими и русскими войсками. При приближении Блюхера он трусливо бежал из пределов страны, оставив своих верных «подданных» под покровительством правительственной комиссии, которую он пытался защитить от насилия победителя тем, что объявил свою страну нейтральной.

Как раньше, так и теперь было не только возможно, но и необходимо нанести смертельный удар этому маленькому предательскому княжеству.

Все знали, что саксонский король ожидает лишь первой победы Наполеона, чтобы броситься к его ногам. К этому прибавилось еще и тайное намерение царя низложить саксонского короля, так как он предназначал эту страну как компенсацию для Пруссии, что могло устранить притязания последней на польские владения. Но династические интересы победили наперекор всему. В течение 6 недель велись безрезультатные переговоры с убежавшим королем; оставленной им правительственной комиссии было предоставлено право продолжать свою работу; правда, была сделана попытка склонить к переходу генерала Тильмана, стоявшего в Торгау с 8 000 человек саксонского войска. Однако и здесь дело не увенчалось никаким успехом. В конце концов Тильман заявил, что он не Йорк, и это было совершенно правильно. Часть вины за это саксонское разочарование — даже и здесь проявился двойственный характер короля — падала на Шарнгорста. Он думал подкупить саксонское население мягким обращением с ним, но жестоко обманулся в этом.

Тем решительнее высказывался он за энергичное ведение войны, тогда как русские войска продвигались в Саксонию весьма медленным темпом. Во время этого похода умер старый Кутузов, и высшее командование перешло к Вит-

генштейну, который был значительно моложе Блюхера и по службе и по возрасту, но имел за собой несколько удачных битв за время русского похода. Он не был так инертен, как Кутузов, но выдающимися талантами полководца не обладал. Во всяком случае, русские имели веские причины отклонить смелый план Шарнгорста. По этому плану главная часть войска должна была напасть на итальянского вице-короля раньше, чем с ним соединится Наполеон, разбить его и неустанно преследовать до тех пор, пока не удастся вызвать народное восстание в Северной Германии, тогда как меньшая часть союзного войска, дождавшись приближения Наполеона, должна была отступить под его давлением через Эльбу, а затем, когда французский император двинется на помощь своему пасынку, снова продвинуться вперед.

Русские не хотели бросать свою линию отступления и не имели никакого основания вести такую опасную войну, какую предлагал Шарнгорст. Очень возможно, что он и не зашел бы так далеко, если бы в русско-прусской главной квартире знали, какой численный перевес был на противной стороне. Против 200 000 человек, которые Наполеон мог выставить в открытом поле, союзники имели вместе с войсками, наблюдавшими за Магдебургом и Виттенбергом, всего лишь 123 000 человек (69 000 русских и 54 000 пруссаков). Они могли сравняться по численности с французами лишь в том случае, если бы, отступив назад, они соединились с приближающимися подкреплениями и стянули войска, осаждавшие крепости на Одере и Висле. Разница уменьшалась до известной степени лишь тем, что союзные войска состояли преимущественно из старых солдат, тогда как французское войско по большей части состояло из молодых рекрутов, не бывавших еще в огне. Кроме того, союзники имели великолепную и многочисленную кавалерию, тогда как у противника она почти отсутствовала. Перевес в артиллерии был также на их стороне.

Между тем Наполеон, соединившись без всякой помехи со стороны врага с вице-королем, направился по старой дороге из Франкфурта на Лейпциг, чтобы обойти русско-прусское войско и отбросить его к Рудным горам или даже к Фихтельгебирге, чем война была бы решена. Для устранения этой опасности союзники решили произвести нападение, план которого был очень разумным.

Наполеон двигался тремя большими отрядами, которые были удалены друг от друга на расстояние нескольких часов ходьбы: впереди шел сам Наполеон с гвардией,

затем самый сильный корпус — Нея — и, наконец, другие французские корпуса, стягивавшиеся с Нижней Заалы. Союзники предполагали прорвать эти походные колонны, напав на серединный отряд; 2 мая они произвели при Люцене наступление и действительно захватили врасплох корпус Нея. Однако французский маршал, проявив большую решимость, не только захватил четыре деревни — Гросгершен, Клейнгершен, Рана и Кайя, — но и сумел удержать их, пока не подошли задние корпуса.

Наполеон, бывший уже на пути к Лейпцигу, при первых же пушечных выстрелах вернулся обратно и взял на себя командование боем. Союзникам удалось занять эти четыре деревни, но они не смогли их удержать. Они сражались с большой храбростью, но Витгенштейн оказался совершенно не на высоте своего положения, да и не имел к тому же достаточного авторитета и характера, чтобы противиться дилетантскому вмешательству царя в военные распоряжения. Совершенно ненужный парад перед обоими монархами лишь замедлил атаку, а неправильные распоряжения привели к тому, что многие корпуса при наступлении перекрещивали друг другу путь, следствием чего были большой беспорядок и потеря времени.

Раздробление сил привело к тому, что первое нападение было произведено с недостаточным количеством войск. Корпус в 12 000 русских без всякого дела стоял в нескольких часах хода от поля сражения, а конница была парализована тем, что все пространство между четырьмя деревнями было покрыто кустарниками, канавами, плетнями, прудами и т. д. Победу одержала превосходная численность французов. Вечером союзные войска были вытеснены из четырех деревень, вплоть до последних построек деревни Гросгершен.

Все-таки французы не выиграли ничего, кроме своей прежней позиции, но их потери были по меньшей мере такими же, как потери союзников. Последние предполагали на следующий день возобновить битву; однако военный совет, созванный Витгенштейном, высказался за отступление на том основании, что Наполеон имел гораздо большие резервы, чем союзники, а русская артиллерия ощущала недостаток в снарядах. Отступление произошло под прикрытием конницы и в относительном порядке, но когда, отступая в Силезию, перешли через Эльбу и открыли путь на Берлин, тогда пришлось вспомнить об Австрии, помощь которой стала необходимой. Стало желательным остаться вблизи богемской границы.

Саксония с своей столицей снова попала в руки Наполеона, который тотчас же показал, как надо обходиться с законными правителями. Если союзные монархи потратили 6 недель на переговоры с саксонским королем, не добившись успеха, то Наполеон поставил перед ним условие — решить в течение 6 часов, хочет ли он лишиться трона, или же вернуться в свою страну, чтобы отдать себя вместе со всем, что у него есть, в распоряжение французов. Само собой понятно, что этот ясный язык оказал свое действие, и саксонский король снова, как верный вассал, упал к ногам коронованного плебея.

Между тем союзные войска ожидали австрийской помощи. Шарнгорст, раненный под Люценом в ногу, отправился в Богемию, чтобы эту помощь ускорить. Но он слишком мало берег себя, — его вначале неопасная рана ухудшилась, и он умер через несколько недель в Праге, не увидев никогда победоносным то войско, которое он создал главным образом благодаря своей удивительной энергии и предусмотрительности. Но если бы он и остался в живых, то вряд ли скоро дождался бы этого. Союзные войска остались предоставленными самим себе и решили принять оборонительную битву под Бауценом, тем более что русские получили при этом небольшое подкрепление в 10 000 или 12 000 человек, которых Барклай-де-Толли привел из занятого Торна.

Эта битва произошла 20 и 21 мая и была снова проиграна, отчасти вследствие численного превосходства Наполеона, имевшего 150 000 человек против 90 000, частью же из-за безрассудства царя, который вмешивался в военные распоряжения с тем большей смелостью, чем больше падал вследствие неудачи под Люценом авторитет Витгенштейна. Отступление велось в Силезию, и Барклай-де-Толли, заступивший как главнокомандующий место Витгенштейна, сам стремился в Польшу, чтобы восстановить русское войско.

Прусские генералы противились этому самым решительным образом, и союз грозил уже распасться, когда 4 июня в Пойшвице было заключено перемирие, временно прекратившее войну.

4. ПЕРЕМИРИЕ

После своего падения Наполеон называл перемирие в Пойшвице величайшей ошибкой своей жизни, и действительно, это перемирие дало гораздо больше преимуществ его противникам, чем ему самому. Все же он имел серьезные основания его предложить.

Положение Наполеона было далеко не таким блестящим, как это казалось со стороны. Со своими молодыми рекрутами он победоносно выдержал две большие битвы, но со сравнительно большими потерями, по крайней мере под Бауценом; к тому же он не мог воспользоваться результатом своих побед, так как недостаток кавалерии мешал ему энергично преследовать врага. Во время переходов ряды его войска редели еще больше, чем во время битвы. Это были не ветераны, привыкшие ко всем превратностям войны и сжившиеся с ними, но юноши, которые быстро опускались под влиянием суровых лишений. Внутреннее разложение войска возрастало со дня на день; мародерство, грабежи и дезертирство распространялись все больше и больше, принимая те же размеры, что и в роковом походе на Москву.

Наряду с разложением собственного войска Наполеон не мог не видеть, что ему приходится иметь дело с гораздо более грозным врагом, чем раньше. Солдаты, против которых он дрался под Бауценом и Люценом, были уже не те прусские солдаты, которых он бил под Иеной. Нечистая совесть заставляла его особенно бояться народных восстаний в прусских провинциях, которые он так жестоко разграбил. Гениальный наследник Французской революции, не стыдясь себя самого, боролся с «красным призраком» и упрекал своих врагов в том, что они возбудили вокруг него «анархию и революцию», в то время как он никогда не прибегал к этим презренным средствам в борьбе против них.

Наряду с этим его тайный страх проявился в той жестокости, с которой он приказал изрубить люцовский добровольческий отряд, в котором были сосредоточены преимущественно народные элементы войны. Этот отряд был атакован при Кицене, невдалеке от места Люценской битвы; атаковавшие силы французов достигали 4 000 человек и включали в себя два вюртембергских полка, т. е. в 10 раз превышали люцовцев по своей численности. Правда, Люцов сам был не без греха: после заключения перемирия он мог бы отступать еще до 12 июня на правый берег Эльбы. Однако этим поступком Наполеон достиг результата, обратного тому, к которому он стремился: вместо того чтобы нагнать страх, он возбудил ненависть против своего господства.

Дипломатические соображения также заставляли Наполеона желать перемирия. Как раз перед битвой под Бауценом Австрия предложила свое посредничество между воюю-

щими странами, но это посредничество было в высшей степени ненавистно для французского императора. Он горячо искал раньше помощи Австрии, даже предлагая ей после разрыва с Пруссией провинцию Силезию; однако Меттерних сумел трусливо и предусмотрительно, хотя и довольно ловко, отделаться от союза с Францией, в который он вступил весной 1812 г.

Упреки, делавшиеся против тогдашней политики Меттерниха, нельзя считать заслуженными, по крайней мере постольку, поскольку они исходили от прусской стороны. В антипатии к народному движению Меттерних был повинен не менее, чем сам прусский король, но в то время как прусская дипломатия тратила драгоценное время на решение вопроса, при каком дворе занять положение придворного — при русском или при французском, — Меттерних стремился обеспечить себя как от французского, так и от русского влияния и сумел укрепиться настолько, чтобы занять решающее положение между обоими. Политика Меттерниха была, конечно, своекорыстной, но все же не более своекорыстной, чем политика других кабинетов. За нее говорит уже то, что Наполеон считал себя обманутым Меттернихом и готов был скорее вести переговоры с царем, чем с таким посредником, который ничего не сделал и ничего не потерял, но стремился лишь получить высокую плату за свое посредничество. Таким образом, попытка поладить с царем была для Наполеона поводом к заключению перемирия. Ему или могло удаться снова одурачить царя, или же, в случае если царь остался бы верен своим прусским союзникам, он мог использовать перемирие для вооружения, которое способствовало бы победоносному окончанию войны даже и в том случае, если бы Австрия выступила на стороне его врагов.

Однако он ошибся в своих расчетах: царь отклонил всякие сепаратные переговоры, даже не допустил к себе посла Наполеона, который должен был сделать ему очень выгодное предложение. Самого перемирия Наполеон добился лишь под условием, что мирные переговоры будут вестись во время перемирия только через посредство Австрии. Наполеон приступил к новым вооружениям, но на этот раз оказался в гораздо худших условиях, чем Россия и Пруссия, которые могли вооружаться энергичнее, находясь на своих землях или же вблизи от них. Именно этому перемирию обязан прусский ландвер своей организацией; за это же время подошли новые подкрепления из России.

Перемирие должно было продолжаться до 20 июля. Де-

маркационная линия была проведена так, что у французов оставалась вся Саксония и часть Нижней Силезии до Одера. Полоса земли в 5—6 миль шириной с Бреславлем была объявлена нейтральной. Это перемирие встретило горячую оппозицию со стороны прусских генералов; в населении же оно вызвало глубокую подавленность, так как его приняли за предвестие позорного мира. Чтобы ослабить это гнетущее впечатление, Клаузевиц опубликовал небольшую брошюру, где на основании фактов доказывал, что за время перемирия союзники смогут укрепить свои силы более, чем Наполеон.

14 июня в Рейхенбахе был заключен союз Пруссии с Англией, переговоры о котором начались уже давно, но до сих пор еще не были закончены: это было не по вине Пруссии, которая без субсидии со стороны Англии не могла и думать о продолжении войны, но главным образом потому, что английские представители позорно торговались о расширении герцогства Ганноверского за счет прежних прусских владений. Гарденберг пообещал наконец «округление» от 250 000 до 300 000 человек, и теперь поладили на том, что до истечения года Англия должна будет заплатить 666 666 фунтов стерлингов, а Пруссия за это выставит войско в 80 000 человек. Эта сумма была относительно невелика, к тому же она была частью неправильно учтена, а частью выплачена негодными мундирами. На следующий день к Англии присоединилась также и Россия. За 160 000 человек, которых она обязалась выставить, она получила 1 333 333 фунта стерлингов. При географической величине России Гарденберг мог по крайней мере не торговаться с жадными Вельфами.

Переговоры со Швецией, законченные также во время перемирия, носили еще менее возвышенный характер. С тех пор как прежний французский маршал был избран наследным принцем Швеции, все его помыслы и чаяния были направлены на приобретение Норвегии. Он надеялся укрепиться в стране, получив Норвегию в возмещение за Финляндию, занятую русскими. Однако он не встретил никакого сочувствия у Наполеона, благодаря высокому соизволению которого и последовало его избрание в шведские кронпринцы, так как Норвегия уже принадлежала Дании, тесно связанной с Францией. Вследствие этого Бернадот решил принять в войне между Россией и Францией русскую сторону. Правда, он осторожно ретировался, когда Наполеон победоносно шел на Москву, но лишь для того, чтобы после катастрофы великой армии снова броситься в объятия

России и Англии и воодушевиться освобождением Европы, при неизменном условии, что он получит Норвегию.

Россия и Англия пытались в свою очередь соблазнить Данию, предлагая ей в возмещение за Норвегию оба Мекленбурга, шведскую и, может быть, даже прусскую Померанию. Бернадот давал в придачу также ганзейские города Любек и Гамбург. В Копенгагене долго не могли принять окончательное решение и наконец решились остаться верными французскому союзу. Бернадот высадился 18 мая с небольшим войском в Штральзунде, чтобы завоевать Норвегию в Германии; первый его подвиг в деле освобождения народов состоял в том, что он отдал под суд и разжаловал одного из своих генералов, который пошел на помощь Гамбургу, жестоко теснимому маршалом Даву.

Еще в апреле Пруссия заключила союз со Швецией, обязавшись предоставить в распоряжение Бернадота, как только он высадится в Германии, отряд в 27 000 человек. Однако Пруссия медлила принять на себя обязательство насчет Норвегии до тех пор, пока была хоть какая-нибудь надежда на то, что Дания отложится от Наполеона. И лишь после того как эта надежда исчезла, прусский король гарантировал 22 июня шведской короне, вступившей для этого в Калишский союз, норвежскую добычу с позорным обязательством в случае необходимости вознаградить Данию немецкой землей.

Гораздо большее значение, чем переговоры со Швецией и даже с Англией, имели переговоры с Австрией. Как одно из условий мира, в котором он хотел посредничать, Меттерних выставлял возвращение Наполеоном Австрии Иллирийской провинции, отнятой им в 1809 г., вследствие чего Австрия вновь приобретала утраченное ею положение на Адриатическом море; затем Наполеон должен был вернуть герцогство Варшавское, которое должно было быть поделено между Австрией, Пруссией и Россией; он должен был очистить крепости на Одере и, наконец, восстановить свободные города Любек и Гамбург. Эти условия прежде всего отвечали австрийским интересам, и от австрийского министра, по господствовавшим в то время воззрениям, ничего иного нельзя было и ожидать. Но как посредник Меттерних не был беспристрастен. Он делал большие урезки требованиям союзников, заключавшимся в восстановлении прусского и австрийского владычества, уничтожении Рейнского союза и герцогства Варшавского, возвращении берегов Северного моря и, наконец, в восстановлении независимости Италии, Голландии и Испании.

Наполеон, по его предложению, должен был пожертвовать некоторыми не очень значительными позициями, сохранив за собой всю полноту власти, которую ему давало господство над Францией, Голландией, Испанией и Рейнским союзом.

Поведение Меттерниха указывало на то, что он действительно хотел мира. Он хотел создать своей стране снова почетное и независимое положение между Францией и Россией. Военные планы и стремления были чужды ему и еще более чужды его владыке, императору Францу. Наполеона он боялся гораздо больше, чем царя, а тем более прусского короля: последним он мог скорее что-нибудь предложить, чем первому.

Вообще он не ошибся в расчетах. Союзники очень долго колебались, прежде чем приняли австрийские мирные предложения. Они сделали это в конце концов 27 июня Рейхенбахским соглашением, но лишь с условием, что, в случае если Наполеон не примет до 20 июля предложения Меттерниха, Австрия немедленно возьмется за оружие и подкрепит их силой в 150 000 человек. Они были убеждены, что Меттерниху не посчастливится у Наполеона, и они не обманулись.

Когда Меттерних прибыл 25 июня в Дрезден для переговоров с Наполеоном, он был встречен горькими упреками в фальшивой игре австрийского кабинета. Император не хотел ничего слушать об австрийских мирных предложениях, что не следует, однако, приписывать исключительно его упрямству и высокомерию, как это много раз делалось. Он все еще являлся победителем в борьбе, и хотя жертвы, которых от него требовали, были сравнительно незначительны, но речь шла о провинциях и городах, которые находились еще в его руках. Лишь герцогство Варшавское было занято Россией, крепости по Одеру были по крайней мере осаждены союзными войсками, но Иллирия и ганзейские города были совершенно неоспоримыми владениями Наполеона. Требовать добровольной отдачи того, что не могло быть отнято у него оружием, являлось претензией, которую отклонил бы на его месте всякий самодержец, тем более что главная часть добычи приходилась на долю посредничавшей державы, которая даже не запачкала своих рук в этом деле.

Наполеон и Меттерних поняли, что дальнейшие переговоры бесцельны. Если они и согласились продлить перемирие до 16 августа и созвать за это время мирный конгресс в Праге, то это случилось лишь потому, что обе стороны нуждались еще в некотором времени для своих вооружений.

С русскими и особенно с пруссаками Меттерниху на этот раз не повезло. Они не делали тайны из того, что в крайнем случае они будут продолжать войну и без Австрии. С этой стороны у Меттерниха также требовали ясного решения; он уже не мог теперь выйти из игры, не поставив Австрию в опаснейшее положение, независимо от того, французы ли или союзники одержат верх на поле сражения.

При таких обстоятельствах из мирного конгресса в Праге получился чистый фарс. Дело не дошло даже до общего заседания уполномоченных; обменялись лишь несколькими ядовитыми нотами по чисто формальным вопросам. До 16 августа, когда истек срок перемирия, не было сделано даже и попытки к деловому обсуждению вопросов.

5. ОСЕННИЙ ПОХОД

За время прекращения военных действий обе стороны энергично вооружались, и оба враждебных войска достигли почти равновесия своих сил. Союзники располагали в открытом поле 492 000 человек, в том числе 165 000 пруссаков, в Польше же генерал Беннигсен формировал новое русское войско. Наполеон имел против них 400 000 человек, за исключением гарнизонов крепостей, находившихся на театре войны; в коннице и артиллерии он также был относительно слабее своих противников, но, вместе с тем, он имел бесценное преимущество единоличного военного командования.

Чтобы защитить свои земли от нападений Наполеона, ведшего до сих пор войну как нападающая сторона, союзники разделили свои войска на три армии.

Сильнейшая из них, достигавшая чуть ли не половины их общих сил, стояла в Богемии, так как в первую очередь ожидалось большое наступление Наполеона на Вену. Этим войском командовал князь Шварценберг — австрийский магнат, не отличившийся ни в одном сколько-нибудь заметном деле, имевший к тому же в своем лагере трех монархов. Туда входили все австрийские силы, а также русские и прусские части. Из прусских войск — корпус генерала Клейста, которому в качестве начальника штаба был дан Грольман.

Вторая и самая меньшая армия — она насчитывала около 100 000 человек — стояла в Силезии под командой Блюхера, который пока также не одержал еще ни одной победы, но прекраснейшим образом зарекомендовал себя в весенней кампании. После смерти Шарнгорста главным его советни-

ком был теперь Гнейзенау. Эта армия состояла из трех неравных частей: двух русских, одной большей, приблизительно в 40 000 человек, другой меньшей, приблизительно в 18 000 человек, и одной прусской части под командой генерала Йорка. Если оба русских генерала неохотно подчинялись прусскому командованию, то Йорк был непримиримым врагом Гнейзенау. При всех своих военных добродетелях он был слишком привержен к методическому ведению войны старой школы; гениальный метод Гнейзенау, в совершенстве усвоившего наполеоновскую стратегию и тактику, не мог не вызывать со стороны Йорка в высшей степени отрицательного отношения к себе. К этому прибавлялась еще и личная зависть, так как Йорк был более старым генералом, чем Гнейзенау.

Наконец, третья армия была приблизительно наполовину больше, чем силезская; она была расположена на севере, главным образом в маркграфстве Бранденбург, с целью прикрытия Берлина и находилась под командой шведского кронпринца, который, как это ни забавно, считался в лагере союзников несравненным военным гением лишь потому, что он был когда-то французским маршалом. Между тем Бернадот решительно ничем не отличился в бытность свою на французской службе. Своим маршальским достоинством он скорее был обязан тому, что приходился зятем одному из братьев Наполеона, чем своим выдающимся военным заслугам; по сравнению с Даву, Массена, Неем, Сультом и другими маршалами он всегда стоял во втором ряду и даже при помощи Наполеона не мог с ними сравняться. Позднейшие его военные успехи оказались такими же скромными, как и прежние, хотя новые исследователи предполагают, что зависть подчиненных ему прусских генералов представила его вялую и двусмысленную тактику в чересчур черном цвете.

Ядро северной армии составляли две группы прусских войск, из которых одна состояла под командованием генерала Бюлова, а другая — генерала Тауенцина. Тауенцин был придворным генералом, который очень слабо проявил себя в 1806 г. и очень невысоко расценивался генералом Гнейзенау. Он удерживался лишь вследствие благоволения короля и царя; но все же его корпус, состоявший целиком из ландвера, употреблялся преимущественно для осадных действий. Несравненно выше его был генерал Бюлов, хотя он, подобно Клейсту и Йорку, склонялся более к старой школе; начальником его штаба был Бойен. Наряду с прусскими корпусами к северной армии принадлежал еще один русский

корпус под командованием генерала Винценгероде, 24 000 малопригодных к бою шведов, приведенных Бернадотом, и, наконец, всякая мелочь, состоявшая из отрядов, рассыпанных между Эльбой, Одером и морским берегом: русско-немецкие легионы 1812 г., остатки люцовцев, мекленбургский ландвер и еще несколько тысяч ганноверских и английских солдат.

Военный план союзников не отличался, как это всегда бывает при коалиционной войне, большой ясностью. Сначала все три армии должны были продвигаться концентрически навстречу врагу и сойтись у его лагеря; это было задумано совсем по-наполеоновски и было предложено Барклаем-де-Толли, наиболее способным стратегом русской армии. Но затем появились опасения, и союзные квартиры склонились к предложению Бернадота, чтобы все три армии продвигались вместе, причем та, которая имела перед собой главные силы Наполеона, должна была после встречи с ним отступить, а две другие армии должны были ударить на преследующего врага с флангов и с тыла. Остановились было на этом плане, но жестокая необходимость заставила снова возвратиться к первому, смелому плану.

Французский план войны также вызвал много споров, так как Наполеон впервые за все долгое время своего командования отказался от нападения. Из его поведения видно, к чему он стремился. Тех намерений, которые его противники считали наиболее вероятными, у него совсем не было: он отнюдь не предполагал итти на Вену, так как ему пришлось бы в этом случае уступить свои позиции в Саксонии и Северной Германии. Он думал, несомненно, и перед битвой и после битвы под Бауценом о походе на Берлин и даже послал после нее маршала Удино, который был разбит 4 июня Бюловым в кровавой битве при городке Люкау. В тот же день началось перемирие, по окончании которого Наполеон тотчас же послал маршала Удино опять на Берлин, на этот раз уж с тремя корпусами. В них насчитывалось 70 000 человек; лишь треть из них составляли французы, большая же половина состояла из немецких отрядов. Одновременно с этим на Берлин должен был двинуться из Магдебурга генерал Жирар с 9 000 человек, а также маршал Даву из Гамбурга с французскими и датскими войсками.

В течение этого своего похода на Берлин Наполеон намеревался с главным своим войском держаться оборонительной тактики по отношению к богемской и силезской армиям. Если бы ему удалось разбить силы врагов на севере, сбросив

их в море или отогнав за Одер, у него был бы свободный тыл и большая часть Пруссии, а что самое главное, — ее столица была бы в его руках. Он мог разбить очаг народного сопротивления и, опираясь на крепости по Одеру и Висле, находившиеся еще в его руках, получая продовольствие на месте, предпринять сильное наступление на юг, где все преимущества были бы на его стороне, если бы только прусские и русские войска не вышли ему навстречу.

Этот план похода, однако, тотчас же потерпел крах, так как поход на Берлин не удался. Удино дошел до Гросберена, откуда ему оставалось лишь несколько миль до его цели. Бернадот хотел пожертвовать городом, но прусские генералы воспротивились этому, и им удалось разбить 23 августа при Гросберене один из трех французских корпусов — корпус Ренье, — вследствие чего Удино отступил к Виттенбергу. Ландвер бился под Гросбереном превосходно. Бранденбургский крестьянин сражался здесь в прямом смысле за свой дом и двор. Когда скверные ружья отказывались служить при дождливой погоде, сражались прикладами. Саксонские войска, составлявшие часть корпуса Ренье, дрались также храбро. Вина этого поражения падает не на них, как обычно утверждают французские историки, но на имевшую и прежде дурную славу французскую дивизию Дерутта, входившую вместе с саксонцами в разбитый корпус. Преследование разбитого врага, благодаря осторожному командованию Бернадота, произведено не было.

Получив сообщение о Гросберене, войска Даву и Жирара также отступили. Однако Жирар при возвращении был атакован 27 августа при Гагельберге и разбит наголову корпусом бранденбургского ландвера, имевшего наблюдение за Магдебургом. Здесь ландвер также работал прикладами, однако кровожадная фантазия прусских историков, описывавших кучи в 4 000 французских трупов с разбитыми головами и вытекавшими из них мозгами, является, к счастью, лишь зверским проявлением немецкого патриотизма. Фактически таким образом было убито около 30 французов.

Тем временем главные силы Наполеона столкнулись с богемской и силезской армиями. Энергичнее всего действовала силезская армия, хотя она и была несравненно слабее богемской и, по плану союзников, должна была играть менее выдающуюся роль. Лишь с большим трудом удалось Блюхеру добиться полусогласия на то, что при очень благоприятных условиях он может принять битву. В главной квартире силезской армии были мозг и сердце союзных

войск; по своим знаниям и решительности Блюхер и Гнейзенау далеко ушли по сравнению с Бернадотом и Шварценбергом. Прусские генералы относились к делу совсем иначе, чем австрийские, русские и особенно шведские.

Силезская главная квартира точно придерживалась плана похода: сконцентрировав на себе своим энергичным продвижением превосходные силы противника, она отступила с упорным боем по тому же пути, по которому пришла. Это было сопряжено действительно с большими трудностями для войск, особенно для корпуса Йорка, в числе 45 батальонов которого насчитывалось 24 батальона ландвера, очень плохо вооруженного; многим частям пришлось сделать по три ночных перехода подряд, не получая в течение 4 дней горячей пищи. Йорк жестоко поссорился с Блюхером и Гнейзенау, обвинив их перед королем в полном расстройстве армии.

Но поведение главной квартиры диктовалось тем решением, по которому надо было нанести при первой же возможности сильный удар врагу и все-таки при всех обстоятельствах уклониться от подавляющих превосходных сил противника. Главная квартира могла нанести этот сильный удар уже через несколько дней. Наполеон, узнав, что Блюхер уклонился от него, и получив в то же время сообщение, что богемская армия движется через Рудные горы и угрожает Дрездену, повернул обратно с частью своей армии. Он оставил в Силезии около 80 000 человек под командой маршала Макдональда с приказом прогнать отступившее войско Блюхера далее, за Яуэр, и занять обеспеченную позицию на Бобре. 26 августа Макдональд выступил, но неожиданно для себя натолкнулся на перешедшего снова в наступление врага. Это произошло на небольшой речке Кацбахе, превратившейся вследствие многодневных дождей в бушующий поток. Силезская армия как раз собралась перейти ее, будучи в подавленном состоянии из-за крайне возросших лишений, когда передовые посты сообщили, что французы массами начали переходить речку. Тотчас же было принято решение: дать им перейти и затем сбросить их с берега, высоко поднимавшегося над речкой.

Это удалось с исключительным успехом. Так как одна из дивизий Макдональда была еще очень далеко от поля битвы, то сильная и без того силезская армия имела численное превосходство, и ей удалось сбросить в Кацбах и его быстрый приток Нейсу две французские дивизии и главную часть конницы. Безостановочное преследование, расстроив-

шее вконец французскую армию, завершило победу. Правда, ужасные трудности, с которыми она была выиграна, расстроили так же жестоко и ландвер; многие ландверисты покинули войско.

Того же 26 августа и на следующий день Наполеон встретился с богемской армией, продвигавшейся на Дрезден. Согласно плану она отступила за Рудные горы, но с очень большими потерями, приблизительно в 50 000 человек. Наполеон также потерпел чувствительную неудачу: он считал, что союзные войска отступили к западу, и послал корпус Вандама через Рудные горы, чтобы сделать нападение на неприятельский обоз. Корпус попал как раз в центр богемской армии, совершавшей свое отступление через Рудные горы, и был совершенно уничтожен 30 августа при Кульме.

Эти первые бои и сражения не настолько существенно изменили равновесие сил между обеими воюющими сторонами, чтобы заставить Наполеона отказаться от своего плана войны. Он хотел теперь сам итти на Берлин, но ему снова помешало в этом энергичное продвижение Блюхера, гнавшего перед собой остатки армии Макдональда. Тогда он поставил маршала Нея во главе войск, которые Удино должен был вести на Берлин и которые были значительно подкреплены. Но в то же время, как сам он не мог ничего поделать с Блюхером, уклонившимся от него так же, как и раньше, Ней был 6 сентября окончательно разбит под Денневицем, как он сам сообщал об этом своему императору.

Этим самым наполеоновский план войны был сведен на-нет, и общее его положение значительно ухудшилось. В утомительных переходах вперед и назад, в повторных поражениях он потерял несравненно больше, чем союзники, да и моральное состояние его войск сильно пострадало; тысячи отставших бродили по стране, стараясь вернуться на родину. Доставка продовольствия в опустошенной стране стала почти невозможной; во всем чувствовался большой недостаток, а подвоз, особенно снарядов, затруднялся многочисленными летучими отрядами союзников. К тому же верные вассалы Рейнского союза начали колебаться; при Денневице целый батальон саксонского лейб-полка перешел к пруссакам, а крупнейшее рейнское государство — осыпанная милостями и благоволением Наполеона Бавария — вступило в переговоры с Австрией, чтобы обставить свой переход на сторону врага возможно выгоднее.

В военных действиях наступил перерыв, продолжавшийся несколько недель. Богемская армия поджидала русский резервный корпус, который Беннигсен вел из Польши; силезская армия должна была прикрывать марш Беннигсена, а северная армия не осмеливалась перейти Эльбу, которая от Дрездена до Гамбурга была еще в руках врага. Наполеон должен был ограничиться исключительно обороной; он выжидал со стороны врага какой-нибудь неосмотрительности, которая позволила бы ему напасть на него с превосходными силами.

Между тем дипломатия снова заработала. 9 сентября в Тильзите были подписаны новые союзные договоры, выходившие далеко за пределы Рейхенбахских соглашений. Всеми союзными державами целью войны было признано: роспуск Рейнского союза, полная ликвидация французского господства на правом берегу Рейна, восстановление Австрии и Пруссии в границах 1805 г. Участь герцогства Варшавского была предоставлена «полюбовному соглашению»; немецким же государствам, расположенным между Австрией, Пруссией и Рейном, была обещана «безусловная и полная независимость».

С «дружелюбным соглашением» получилось, однако, некоторое недоразумение. Царь не осмеливался еще обнаружить свои польские вожделения, которые, как он знал, должны были натолкнуться на серьезное сопротивление, особенно с австрийской стороны. Австрия же держала себя так, как будто она и не подозревала, что подразумевалось под «дружелюбным соглашением». Однако все они еще нуждались друг в друге. Другое недоразумение произошло «с полной и безусловной независимостью» средних и мелких немецких государств. Эти слова звучали так, как будто ими хотели указать лишь на независимость от чужеземного, французского господства; подразумевали же под ними безусловный суверенитет этих государств, как это выяснилось через месяц, когда Австрия заключила с Баварией в октябре соглашение в Риде.

Побуждения, заставившие крупнейшее государство Рейнского союза отложиться от Наполеона, не носили, конечно, ни малейшего следа национального воодушевления,— это была лишь трусливая хитрость крыс, бегущих с тонущего корабля. Баварский король, получив одновременно признание за собой своих владений, с обменом некоторых областей между ним и Австрией, вступил в европейскую коалицию как равноправная держава и получил уверения, что может наслаждаться своей «полнейшей суверенностью». Вместе

с этим Калишскому воззванию был нанесен последний удар; то, что позволили одному монарху из Рейнского союза, должно было быть позволено и остальным; если же каждый из этих жалких предателей родины мог быть суверенным в своих владениях, то о национальном возрождении германского государства не могло быть и речи.

Прусские историки утешают себя тем, что относят крушение всех национальных надежд на счет Меттерниха, который с предательской хитростью завлек в тенета бесхитростные души прусского короля и государственного канцлера Гарденберга. Это, конечно, не следует принимать всерьез. Меттерних, несомненно, имел очень обширный список грехов, но как министр государства, существование которого как европейской державы основывалось на разъединенной Германии и разъединенной Италии, он, конечно, имел очень мало попечения об итальянском или немецком единстве; если он при этом и изливался в лицемерных любезностях, то это можно поставить ему скорее в похвалу, чем в вину. Как трезвый политик он охотно жертвовал старой ветошью габсбургской империи, которую даже сам Штейн хотел ему навязать обратно. Он обеспечил гораздо крепче австрийскую гегемонию над Германией путем суверенитета средних и мелких государств.

Слезы прусских историков текли еще и потому, что Меттерних был более откровенен, а в особенности более удачлив, чем прусские министры, национальное сознание которых было немногим выше, чем у него. Судя по их плану, они добивались того, что через несколько десятилетий было сочтено величайшей изменой — линии по Майну; Пруссия должна была господствовать над Северной Германией, а Австрия — над Южной. Ни Гарденберг, ни Штейн не могли предложить ничего лучшего, и именно исходя из своего плана, они ограничили деятельность центрального правительственного совета Северной Германии, в то время как австрийскому кабинету было предоставлено право сговориться с государствами Южной Германии, что Меттерних и использовал в своих габсбургских интересах при Ридском договоре.

Между тем медведь, шкуру которого собирались делить, не был еще убит. Союзные войска остерегались возможных нападений Наполеона на них в одиночку, сами же не решались атаковать его на его крепкой позиции в Дрездене, опиравшейся на Рудные горы и на Эльбу. Таким образом, пришли к необходимости вытеснить его с этой позиции путем маневрирования, напав на него с левого берега Эльбы и

с тыла; на Саксонской равнине, около Лейпцига, можно было скорее рассчитывать выиграть большое, решительное сражение. В широком обходе, намечавшемся Шварценбергом, силезская армия должна была быть подтянута к богемской, но Блюхер воспротивился этому: у него не было никакого желания выступать под командованием такого посредственного главнокомандующего, каким был Шварценберг, имевший к тому же в лагере трех монархов. Вместо движения влево, к богемской армии, он настаивал на более смелом движении вправо, к северной армии, где прусские генералы уже открыто возмущались «предательством» Бернадота и заявляли о своем намерении присоединиться к Блюхеру. Если бы силезская армия пошла в Богемию, то этим не только была бы парализована ее собственная активность, но можно было с полной уверенностью ожидать, что Бернадот впал бы в окончательную бездеятельность.

Блюхер отчасти получил согласие монархов на свой план, отчасти же осуществил его на свой собственный риск. 26 сентября, когда подошли русские резервы под командой Беннигсена, он выступил в поход, несмотря на горячий протест русских уполномоченных его лагеря и вопреки приказу главной квартиры, ставившему новые препятствия на его пути. 3 октября он достиг Вартенбурга на Эльбе и перешел последнюю с жестоким боем, которым руководил Йорк. Как при Гросберене и Денневице, в бою участвовали только прусские войска и главным образом ландвер; силезский ландвер покрыл себя в этой битве такой же славой, как в других битвах бранденбургский ландвер.

Гнейзенау, который после битвы при Кацбахе не мог найти достаточно резких выражений, чтобы осудить силезский ландвер, на этот раз не мог им нахвалиться. Отзываясь особенно похвально о батальоне из Хиршбергерского округа, составленном преимущественно из ткачей, он в конце своего доклада Гарденбергу добавляет: «Если бы ваше превосходительство видели этих храбрых бедняков, не имеющих даже необходимого платья, изнуренных болезнями и лишениями, ваше сердце сжалось бы от сострадания».

После того как союзное войско перешло Эльбу, за ним последовал на следующий день и Бернадот, которого прусские и даже русские генералы давно заставляли это сделать. Это произошло при Акене и Дессау без малейших препятствий со стороны неприятеля. В то же самое время богемская армия также выступила из Рудных гор и направилась к Лейпцигу, куда с севера подходили две другие

армии. Таким образом, позиция Наполеона при Дрездене была обойдена, и все силы врага оказались в его тылу.

Но это было для него даже желательно. Он наконец имел возможность нанести удар, чего он так страстно желал. Он оставил в Дрездене гарнизон в 30 000 человек и бросился сам на левый берег Эльбы. Против богемской армии, наступавшей здесь, он выставил несколько частей под командой своего зятя Мюрата, неаполитанского короля, сам же с главными силами выступил против обеих северных армий, которые он намеревался разбить вместе или порознь, а затем уж посчитаться хорошенько с богемской армией.

Его план имел большие шансы на успех, поскольку дело касалось Бернадота. Этот достойный гасконец тотчас же, как только почувствовал приближение Наполеона, потребовал всеобщего отступления. Блюхер, наоборот, хотел принять битву, так как он располагал более чем 60 000 человек, Бернадот — около 90 000 человек, Наполеон же — около 130 000—140 000 человек. Однако Бернадота было невозможно склонить к этому; с большим трудом можно было заставить его не переходить через Мульду и Заалу, чтобы избежать нападения Наполеона, а остаться по крайней мере на левом берегу Эльбы. Как комиссар безопасности Бернадот требовал, чтобы наиболее опасные места были заняты войском Блюхера, он же сам встал сзади Блюхера. Наполеон, энергично наступавший на Эльбу, там, где он ожидал увидеть противника, слишком поздно открыл, что враг ушел от него. Он сконцентрировал теперь свои войска у Лейпцига.

Здесь 16—19 октября решилась судьба похода. 16 октября силы обеих сторон были приблизительно равны; из 440 000 человек, с которыми Наполеон начал поход, и 30 000 отставших — около 90 000 человек были выделены Дрездену и Гамбургу, 180 000 были потеряны за 2 месяца убитыми, ранеными, больными и дезертирами, 185 000 были на месте битвы и 15 000 пришли лишь на следующее утро. Союзники также имели не более 200 000 человек, так как Бернадота ни силой, ни добром нельзя было вывести на поле битвы. Блюхер наступал с севера, а Шварценберг с юга на французские позиции, которые были прикрыты с запада Лейпцигом и Ратсхольцем — местностью, покрытой болотами и кустами, лежавшей между реками Эльстером и Плейссой.

На севере произошел жаркий бой при деревне Меккерн, которую защищал маршал Мармон на очень сильной позиции с 27 000 человек против шестидесятитысячной силезской

армии. Главная часть кровавой работы снова пала на корпус Йорка, который с потерей 5 000 человек, более чем ¼ всех своих сил, в конце концов, однако, одержал победу. На юге Шварценберг бился при деревне Вашау с самим Наполеоном. Здесь перевес был на французской стороне, тем более что Шварценберг расположил часть своих войск так неудачно, что они не могли принять никакого участия в бою. Наполеон одержал победу, но она не являлась тем сокрушительным ударом, которые он привык наносить раньше. Казалось, что уже вечером в первый день сражения он сам считал поход проигранным.

За это говорит то, что в воскресенье 17 октября он отказался от нового наступления на разбитого врага, которое лишь одно могло спасти его, и послал пленного австрийского генерала Мейерфельда к союзным монархам с мирными предложениями. Последние, однако, не дали никакого ответа. Они воздержались в этот день от наступления, так как должны были получить существенные подкрепления: Беннигсен вел корпус в 50 000 человек и Бернадот также придвинулся наконец к боевой линии. Военные уполномоченные союзных войск в его лагере наседали на него с резкими требованиями, и даже подчиненные ему русские и прусские генералы не скрывали своих намерений — в крайнем случае отказаться от повиновения ему.

Наполеон уже вечером 17 октября дал первый приказ к отступлению, которое должно было производиться через город по направлению к западу. Он стянул ночью свои войска в узкий полукруг вокруг Лейпцига. Если бы союзники не напали на него утром 18 октября, он мог бы отойти, сохраняя внешность добровольного отступления. Он мог еще надеяться отбросить их с большими потерями, но союзные войска уже действовали с сильным перевесом,— численно их силы относились к французским войскам как 3 : 2; фактически, правда, отношение было более благоприятно для Наполеона, так как Бернадот попрежнему удерживал своих драгоценных шведов вдали от битвы, так же как союзные монархи свою неизменную парадную игрушку — гвардию.

В общем здесь сражалось приблизительно около 150 000 французов с 180 000 человек союзных войск, и даже теперь французы смогли отстоять часть своих позиций. В некоторых местах союзники так близко подошли к городу, что Наполеону, в случае возобновления битвы на следующий день, грозило полное уничтожение. Оставалось лишь отступить. Таким образом, «битва народов в Лейпциге» была

проиграна Наполеоном, собственно, без крупного решения в самом бою. Эта столь воспеваемая битва была — как сказал один из новейших историков не слишком пышно, но зато очень удачно — лишь колоссальным арьергардным боем.

В то время как масса французских войск теснилась в узких улицах города, стремясь достигнуть единственного для них пути отступления, союзные войска предприняли штурм города, во многих местах увенчавшийся успехом. Все же французы могли бы закончить свое отступление, если бы не преждевременный взрыв моста через Эльстер, отрезавший значительную часть армии, принужденную сдаться в плен.

Таким образом, Наполеон снова должен был отступать с расстроенным войском. Преследование его не соответствовало требованиям Гнейзенау; особенно жестоко упрекал Гнейзенау корпус Йорка, который так сильно пострадал при Вартенбурге и Меккерне; он и без того уменьшился с 40 000 до 10 000 человек. Однако само отступление рассеяло те остатки войска, которые еще сохранились у Наполеона; подобно тому как на третий день Лейпцигской битвы от 3 000 до 4 000 саксонцев, а также часть вюртембержцев перешли на сторону союзников, так теперь немецкие солдаты толпами покидали французские знамена. Молодые французские рекруты также разбегались тысячами. Хотя Наполеону и удалось еще разбить наголову при Ганау баварско-австрийский корпус, пытавшийся загородить ему путь, но, когда после тринадцатидневного похода, 2 ноября, он перешел Рейн, у него было наряду с 60 000 отставших лишь 40 000 вооруженных солдат, среди которых с ужасающим опустошением свирепствовала эпидемическая лихорадка.

Кроме того, были окончательно потеряны сильные гарнизоны в крепостях по Эльбе, Одеру и Висле.

6. ЗИМНИЙ ПОХОД

Коалиция четырех держав против Франции кое-как держалась в течение осеннего похода, хотя временами и колебалась, особенно в тот момент, когда Наполеон отбросил богемскую армию, продвинувшуюся к Дрездену. Общее желание сломить французское владычество в конце концов все же удерживало вместе Англию, Австрию, Пруссию и Россию. Но когда эта цель была достигнута, противоречившие друг другу интересы обнаружились, и внутри союзных

войск образовались две партии: военная и мирная, которые упорно боролись друг с другом, приведя к пятимесячному обмену дипломатическими хитростями и в конце концов к жалким военным операциям.

Если бы хоть одна из этих партий взяла перевес, то в обоих случаях положение было бы очень просто. В случае войны союзным войскам, превышавшим по численности французские чуть ли не в десять раз, надо было лишь перейти через Рейн, разбить остатки наполеоновского войска и спокойно наступать на Париж. В случае мира Наполеон был теперь согласен отказаться от господства над Голландией, Италией и Испанией и сохранить себе лишь Францию с ее естественными границами (Альпы, Рейн и Пиренеи). Большего, однако, не желала и мирная партия союзной армии.

К ней принадлежали Австрия и Англия. Оба государства достигли того, чего они считали возможным достигнуть; они не имели ни малейшего намерения подвергать риску то, что им пришлось получить с таким трудом. Тотчас после прибытия союзных главных квартир во Франкфурт на Майне Меттерних заключил с Вюртембергом и другими рейнскими княжествами соглашение на тех же основаниях, как это было сделано перед этим с Баварией. Они должны были взять на себя лишь одно совершенно неопределенное условие,— что они примут на себя те обязательства, которых требует от них независимость Германии; этим Меттерних старался умерить зависть Пруссии. Штейн, центральный правительственный совет которого превратился в нуль, рассказывал об этом слете князьков, происходившем во Франкфурте, что они были сами в высшей степени изумлены тем, что с ними так церемонятся после их позорного поведения. Но как только они заметили, что с их головы не упадет ни один волос, они тотчас же успокоились и стали упрямиться.

Были упразднены лишь королевство Вестфалия, великое герцогство Берг и великое герцогство Франкфурт, где правили родственники Наполеона или же где они были утверждены им в правах наследства. В Ганновере, Брауншвейге и Касселе законные владетели устроили торжественный въезд и тотчас же принялись уничтожать благотворные следы чужого господства и восстанавливать, где только было возможно, прежние злоупотребления. Позорнее всего держал себя гессенский курфюрст, но Меттерних являлся для всех их милостивым защитником, связывая их, таким образом, с габсбургскими интересами. Как в Германии, так и в Италии он пожал свою жатву. Неаполитанский король

уже после битвы под Лейпцигом отложился от Наполеона, а в Северной Италии австрийское войско одержало победу над Евгением Богарне.

Англия также горячо стремилась к миру: во-первых, потому, что страна была ослаблена многолетней войной с Францией, а также и потому, что, хорошо спрятав свою колониальную добычу, она видела свои желания по отношению к европейскому материку осуществленными прекращением континентальной блокады, восстановлением Голландии и Испании. К тому же она одержала победу в очень важном вопросе, в котором больше, чем когда бы то ни было, Наполеон защищал общие интересы цивилизованных наций. Как постоянный кассир коалиции Англия поставила выплату новой субсидии в размере 5 000 000 фунтов стерлингов в зависимость от того, чтобы вопрос о морском праве был изъят из всяких переговоров держав. Таким образом, произошло то, что морская война сохранила характер привилегированного грабежа, производящегося на всех морях лишь одной страной.

Однако Австрия и Англия стремились к миру не только потому, что они насытились, но также и потому, что они не без основания опасались, что продолжение войны приведет к еще более невыносимой гегемонии царя, чем это было с Наполеоном. Несмотря на всю внешнюю осторожность, проявляемую Александром, его притязания на Польшу давали себя чувствовать и, как гроза, нависали над коалицией. Чем дальше продвигалось союзное войско, тем больше разыгрывал из себя царь освободителя народов,— благо прусский король довольствовался ролью его адъютанта, а австрийский император со своими мирными привычками чувствовал себя не очень удобно на походном положении. Чем далее, тем все более и более открыто стремился царь к низвержению Наполеона; на его место ему больше всего хотелось бы посадить Бернадота или во всяком случае того, кто был бы игрушкой в руках русских. Он становился действительно вершителем судеб Европы.

Во главе военной партии он имел преданнейшего помощника в лице барона Штейна и главной квартиры силезской армии. Сам прусский король не высказывался решительно против него лишь потому, что не мог осмелиться противоречить могучему повелителю, хотя в душе он и был сторонником мирной партии — не столько из-за политических соображений, сколько из свойственной ему боязни перед быстрыми и ответственными решениями. Штейн, Блюхер и Гнейзенау настойчиво и непрестанно стремились к низвер-

жению Наполеона также не столько из политических соображений, сколько из неутомимой ненависти, делавшей их слепыми к политическим соображениям.

Правда, из всех четырех держав Пруссия была в самом плохом положении: на нее пало самое тяжелое бремя войны, и она не знала даже, где она может получить компенсацию. Но во всяком случае было нетрудно предвидеть, что побежденный Наполеон был гораздо менее опасным противником, чем победители: Англия, Австрия и Россия. Было бы гораздо благоразумнее поберечь уже значительно ослабленные силы прусского государства, чем, увлекаясь ненасытной — понятной, правда, но политически близорукой — жаждой мести, устраивать дела русского деспота.

Вначале казалось, что в союзном войске восторжествует мирная партия. Меттерних послал одного пленного французского дипломата к Наполеону с предложением созвать конгресс для переговоров о мире на основе границы по Рейну. Наполеон согласился на конгресс, не приостанавливая, однако, своих вооружений, что было вполне естественно, так как страна была совершенно открыта для нападений врага. Но как это вооружение, так и появившиеся признаки того, что французская нация начала отказываться от Наполеона, дали союзной военной партии новый перевес. В законодательном корпусе, одном из трех учреждений, которыми Наполеон пытался не столько смягчить, сколько затушевать свое самодержавное правление, раздались грозные слова против деспотии его внутреннего управления; восстания, которые начали устраивать мамелюки, были уже началом конца. Имущие классы были расположены к господству Наполеона до тех пор, пока оно помогало им накоплять богатства; но его вторичное возвращение после окончательного поражения и присутствие на границе огромных неприятельских масс были им не по вкусу. Даже крестьянское население, бывшее сильнейшей опорой бонапартистского режима, утомилось все возраставшими человеческими жертвами, которых от него непрестанно требовал император.

Какое сильное действие оказали первые признаки падения авторитета Наполеона во Франции даже на союзные державы, показывает тот военный манифест, который они выпустили 1 декабря. Там говорились самые приятные вещи для французской нации: ей предлагались такие широкие владения, которыми она не обладала и при старом королевстве. Союзники заявляли со всей торжественностью, что они не только не хотят покорить французскую нацию, но,

наоборот, стремятся защитить ее собственную независимость от императора Наполеона. Оставалось лишь приступить к борьбе, но здесь произошел новый раскол между союзными армиями. Гнейзенау требовал немедленного марша на Париж, не считаясь с многочисленными крепостями на французской границе, которые Наполеон при своей слабости не мог защищать, если бы он даже и хотел еще раз дать генеральное сражение в открытом бою. И действительно, союзники могли бы, как сознавались впоследствии сами французские маршалы, заранее распределить свои ночлеги на всем марше до самого Парижа.

Но Гнейзенау не удалось провести свой план войны не только потому, что австрийские генералы, привыкшие к методическим военным действиям Семилетней войны, ничего не хотели слышать о его плане, но также и потому, что даже в прусском войске лишь часть генералов, как, например, Гнейзенау, Бойен и Грольман, была проникнута теми новыми методами войны, которые создал Наполеон; в частности, Кнезебек, который в качестве генерал-адъютанта прусского короля был его военным советником, разделял вместе с австрийцами прадедовское воззрение, что решающее значение для войны имеет не уничтожение живой силы противника, но своевременное занятие каких-нибудь речных долин или горных хребтов. По мнению этих мудрых стратегов, союзные армии должны были двинуться кружным путем через Баден и Швейцарию, чтобы избежать французских крепостей и вторгнуться в Северо-восточную Францию до Лангрского плато, места водораздела трех морей. Обладание этим плато давало, по их мнению, чудодейственную возможность господства над всей Францией, в то время как силезская главная квартира видела в этом более скромные преимущества, а именно возможность спускать свою воду сразу в три моря.

Но этот знаменитый военный план не был осуществлен именно так, как этого хотели Кнезебек и его товарищи. Из трех армий, участвовавших в осеннем походе, северная армия распалась; Бернадот со своими шведами выступил против Дании, Тауенцин осаждал Виттенберг, Бюлов и Винценгероде отправились в Голландию, которую они после удачного похода заняли без большого труда. Богемская армия и теперь осталась главным войском союзников; кроме русской и прусской гвардии, а также баварского и вюртембергского контингентов она была составлена почти исключительно из австрийских войск. Эта армия и должна была выступить на Лангрское плато. При этом перед силезской

армией стояла задача защищать Германию против нападения французов и поддерживать, в случае нужды, главную армию, если она натолкнется во Франции на сопротивление. Но, прежде чем это случилось, Блюхер 1 января 1814 г. перешел Рейн у Каубе, Маннгейма и Кобленца. Его армия состояла из старых боевых сил; лишь одна часть русских войск была оставлена для осады Майнца, а вместо нее к армии Блюхера присоединился корпус Клейста, принадлежавший раньше к богемской армии.

Здесь произошло то, что и предсказывал Гнейзенау. Силезская армия почти без боя прошла через ряды крепостей. Но и главная армия, под командой Шварценберга, также почти без боя достигла Лангрского плато, где и выяснилось, что этим ничего не было достигнуто. Против дальнейшего продвижения возражала мирная партия из военных и политических соображений. Дело дошло до горячей ссоры, и коалиция затрещала по всем швам.

Все же полный отказ от нее казался для обеих сторон еще слишком опасным, и пришлось остановиться на следующем компромиссе: не прерывая военных операций, созвать конгресс для обсуждения вопроса о мире. Здесь царь и Меттерних старались взаимно перехитрить друг друга: Меттерних хотел парализовать войну, в чем он, правда, опирался на Шварценберга; царь же пытался путем обструкции со стороны своих уполномоченных сорвать мирный конгресс, который должен был состояться в Шатильоне.

Все важнейшие козыри были как будто в руках Меттерниха, однако фактически игру выиграл царь. Даже и без обструкции его уполномоченных конгрессу было суждено распасться. Со времени вступления во Францию союзники видели, до какой степени население тяготилось властью Наполеона. Они теперь повысили требования, говоря уж не о Франции с границами на Пиренеях, Альпах и Рейне, но о Франции 1792 г., без завоеваний не только Наполеона, но и Республики. Разница достигала приблизительно 1 400 квадратных миль: левый берег Рейна, Бельгия и Люксембург, Савойя и Ницца не могли уже больше принадлежать Франции.

Как бы ни было правильно с немецкой национальной точки зрения требование возвращения левого берега Рейна, с какой бы убедительностью и многоголосым эхо ни защищал Арндт положение, что Рейн является не только немецкой границей, но и немецкой рекой, союзные монархии были очень далеки от этой мысли. В своей жажде земель они не обратили внимания даже на то, что границы Фран-

ции 1792 г. были совершенно неприемлемы для Наполеона. Если он не хотел уничтожить самые корни своей династии, то он должен был сохранить государство хотя бы в тех границах, которые существовали до момента его самодержавия.

Меттерних ошибся также и в своих военных расчетах. Подошла силезская армия и смело встала во главе главных сил в надежде увлечь их за собой, как это уже однажды было при переходе северной армии через Эльбу. Наполеон также приблизился к союзникам, и 29 января произошел первый бой под Бриенном, оказавшийся не совсем благоприятным для Блюхера. Зато последний победил 1 февраля при Ла Ротьер.

Наполеон использовал продолжительный перерыв, который был дан ему нерешительной политикой союзников, для новых вооружений; это было сделано, однако, при все возрастающем сопротивлении нации и далеко не с полным успехом. В его распоряжении была лишь одна полевая армия в 70 000 человек, состоявшая большею частью из необученных рекрутов, в то время как армия Шварценберга достигала 190 000 человек, а армия Блюхера — 84 000 человек, в большинстве своем испытанных солдат. Правда, подавляющее превосходство сил союзников ослаблялось тем, что их армии были растянуты на расстоянии от Женевы до Мозеля. Во всяком случае, тем 50 000 человек, с которыми Наполеон был при Ла Ротьер, они могли противопоставить 140 000 человек. Несмотря даже на такие благоприятные условия, Шварценберга все же нельзя было побудить к битве. С большим трудом царь настоял на том, чтобы в распоряжение Блюхера были переданы некоторые корпуса из главной армии, так что Блюхер начал и выиграл сражение с 90 000 человек.

Эта победа усилила позицию военной партии. На военном совете, состоявшемся через день после нее, было решено итти на Париж. Шварценберг должен был преследовать разбитую армию Наполеона, в то время как Блюхер, из продовольственных соображений, должен был сделать несколько маршей к северу и затем, свернув на запад, двинуться к Парижу. Все же внутренние противоречия не были этим устранены. Шварценберг не старался использовать плоды победы. Он не только не преследовал разбитого врага, но и продвигался вперед так медленно, что оставался почти на одном уровне с Блюхером; вследствие этого был совершенно обнажен левый фланг силезской армии, который без того чрезвычайно беззаботно двигался широко растянутыми

колоннами. Молниеносными ударами Наполеон разбил отдельные корпуса Блюхера: 10 февраля при Шампобере, 11-го при Монмирале, 12-го при Шато-Тьери и 14-го при Этоже. Эти четыре поражения по своим потерям равнялись большому сражению; силезская армия потеряла 150 000 человек.

За время четырехдневных боев от главной армии не было получено ни одного подкрепления. Распря между царем и Меттернихом снова вспыхнула ярким пламенем. Русское посольство сообщало из Англии, представитель которой до сих пор был на стороне Меттерниха, что английское правительство, считаясь с голосом народа, высказалось против мира с Наполеоном. Царь отказывался теперь от всякого участия в мирных переговорах, а Меттерних угрожал выходом Австрии из коалиции. Как раз в эти дни силезская армия потерпела поражение, и Шварценберг получил приказ не только не производить никаких операций, но и быть готовым в ближайший же день отступить с театра войны. Этого было достаточно, чтобы активность Шварценберга, и без того незначительная, прекратилась совершенно. Дело дошло до того, что Наполеон, разбив силезскую армию, обратил свои силы против главной армии и достиг немаловажных успехов над отдельными ее корпусами при Мормане и Монтеро.

Партия мира снова вздохнула. Шварценберг предложил Наполеону перемирие. «Стыдно быть таким трусом,— писал Наполеон своему брату Жозефу: — этот несчастный падает на колени при первой же неудаче». Он сначала не отвечал совсем, а затем предложил мир на основе границы по Рейну. Границы 1792 г. он отклонял самым решительным образом. Его надежды снова воспрянули; он думал, что ему ближе до Мюнхена, чем союзникам до Парижа. Со своими пленниками ему нечего вести переговоры; продолжительное перемирие он также отклонил; конференции, которые устраивались по этому поводу, не приводили ни к каким результатам.

Шварценберг присоединил силезскую армию к себе под предлогом подготовки к общей битве; на самом же деле он думал лишь о скорейшем возвращении за Рейн. Обе армии страдали попрежнему от продовольственных затруднений. Войска были расположены на голой меловой возвышенности, покрытой снегом; было очень холодно. Одежда и обувь солдат во время похода очень износились. Соломы совершенно не было, и, чтобы раздобыть дров, приходилось рубить дома и хижины. При таких условиях план

Грольмана встретил благоприятный прием как у союзных монархов, так и у Шварценберга. Этот план состоял в следующем: силезская армия должна была снова отделиться от главной армии и маневром на Париж отвлечь от нее неприятеля. В случае же если Наполеон повернет против силезской армии, она должна была отступить на сильные корпуса Бюлова и Винценгероде, подходившие из Голландии.

Грольман представил план более безобидным, чем он был задуман. Силезская армия хотела быть совершенно независимой от Шварценберга и вести войну на свой собственный риск, тогда как Шварценберг думал, что он хочет и будет продолжать общее отступление, только в ином направлении. Приказа Шварценберга повернуть обратно, чтобы дать якобы общую битву, Блюхер просто не выполнил; он видел в этом лишь предлог для нового ограничения своей свободы действий. 3 марта он соединился под Суассоном с Бюловым и Винценгероде. В его распоряжении было теперь более 100 000 человек, тогда как Наполеон вел быстрым маршем как раз половину этого — 55 000 человек.

Образ действий Наполеона парализовал Блюхера и Гнейзенау. Здесь действовало совместно несколько причин. Бюлов и начальник его штаба Бойен с ужасом смотрели на оборванных и изнуренных солдат Клейста и Йорка. Их собственные войска до сих пор снабжались хорошо и никогда не были на бивуаках, тогда как силезская армия оперировала в течение многих недель в почти совершенно опустошенных местностях. Реквизиционная система превратилась в беспорядочную грабительскую систему, и французское население, относившееся к союзникам до сих пор равнодушно и даже дружелюбно, начало оказывать активное сопротивление. Так же плохо, и даже еще хуже, отражалось это положение на собственных войсках: они явно дичали, так что офицеры почти не имели на них влияния. Йорк называл свой корпус бандой разбойников, а Шарнгорст, сын генерала, едва не был убит своими собственными солдатами.

Испуганный таким положением, Бойен обратил внимание на то, что Пруссия имеет все основания беречь свои войска, если только она хочет, чтобы при заключении мира были приняты во внимание и ее интересы, потому что тогда будут иметь решающее значение не только победоносное ведение войны, но и существующие взаимоотношения сил. Всеми своими практическими следствиями военная деятельность силезской армии с января оказывала весьма суще-

ственные услуги лишь одному царю. Представления Бойена произвели на Гнейзенау сильное впечатление, тем более что они исходили от старого товарища, умевшего вести даже современную войну. Вдобавок ко всему Блюхер заболел чем-то вроде помрачения рассудка, и на Гнейзенау легла двойная тяжесть ответственности. Он решил перейти от нападения к обороне.

На исключительно сильной позиции под Лаоном силезская армия численностью в 100 000 человек ожидала 9 марта нападения Наполеона, который 7 марта в битве при Краоне хотя и победил один русский корпус, однако понес сильные потери, так что у него осталось 45 000 человек. Сражение велось без большой энергии и не дало ни одной стороне большого перевеса; лишь ночью удалось нападение, произведенное Йорком и Клейстом на правый фланг врага, которым командовал маршал Мармон. Мармон должен был отступить, но Наполеон остался стоять с левым крылом в отчаянной надежде навести этим страх на врага, что ему все же и удалось. Преследуя Мармона, Йорк и Клейст зашли ему в тыл, и Грольман, начальник штаба Клейста, предложил взять Наполеона с тыла, что и положило бы конец войне. Йорк охотно принял эту мысль, но не хотел приступить к делу без согласия главнокомандующего; этого согласия, однако, не последовало.

Грольман и граф Бранденбург, посланные в главную квартиру, привезли ответ, что игра и без того выиграна и рисковать больше незачем. Граф Бранденбург писал позднее о своей поездке: «Нерешительность, неопределенность и небрежность, царившие все это время в главной квартире фельдмаршала, прямо невероятны». Роли внутри силезской армии совершенно переменились; Йорк, сильно вздоривший с Гнейзенау из-за его постоянного стремления вперед, теперь покинул армию в ярости против медлительной стратегии Гнейзенау и лишь с трудом был возвращен обратно.

Подобный же переворот произошел одновременно и в главной квартире. Наполеон беспрепятственно отошел от Лаона, оставив против силезской армии маршала Мармона с 20 000 человек, и повернул с 18 000 человек против Шварценберга. Это привело царя в ужас, и он потребовал всеобщего отступления. Но трусливый Шварценберг оказал сопротивление. Мирный конгресс в Шатильоне разошелся 18 марта. Австрия была вынуждена отказаться от мира и сама жаждала теперь скорейшего решения. 20 марта при Арси на Обе произошло сражение, в котором Швар-

ценберг так же мало отличился, как и раньше, при Дрездене и Вахау. Вследствие своих необдуманных распоряжений он смог ввести в бой лишь небольшую часть своего войска; французы держались великолепно. Но на следующий день Шварценберг обладал уже втрое большей численностью, чем противник, но все же, несмотря на это, он не осмелился на нападение; он ожидал его со стороны Наполеона. Последний осуществлял теперь тот план, который он взвешивал в течение целых недель: он бросился на коммуникационную линию главной армии с полной уверенностью, что этим заставит ее повернуть обратно.

Несколькими неделями ранее этот план, вероятно, достиг бы желанного результата. И теперь он нагнал на союзников панический страх; у Шварценберга не было желания следовать за французской армией. Но царь на военном совете 24 марта снова решил, что союзные армии должны пойти на Париж, от которого они были отделены лишь несколькими переходами.

Гнейзенау писал впоследствии об этом героическом решении: «Итак, мы наконец отправились на Париж не из-за убедительности причин, говоривших за это, но потому, что ничего другого не оставалось, и сама судьба толкала на это главную армию». Не союзные войска победили Наполеона, но сопротивление собственного народа погубило его. Было бы неправильно сказать, что Франция истощила все свои людские ресурсы; по сравнению с тем, что выставила прусская провинция, Франция могла бы выставить еще миллион бойцов. В распоряжении Наполеона за этот поход ни разу не было более 300 000 человек, включая сюда и войска, стоявшие в Испании, Италии, и даже национальную гвардию, которая несла службу по защите крепостей.

Если бы у него было на 100 000 или на 200 000 человек больше, он, несомненно, одержал бы верх. Но все призывы и воззвания, в которых он сам указывал на пример Пруссии, не могли помочь ему. Без добровольного участия нации нельзя было создать новую армию. Таким образом, он должен был пасть перед численным превосходством союзных армий, несмотря на жалкое командование ими. Он не осмелился принять битву под стенами Парижа против численно втрое превосходящего противника; ему оставалось лишь движение в тыл противника как последнее отчаянное средство.

Когда он узнал, что и это средство оказалось недействительным и союзные войска двинулись на Париж, он бы-

стрым маршем поспешил обратно. Но он пришел слишком поздно: 30 марта после небольшого боя Париж капитулировал.

7. ПАРИЖСКИЙ МИР

31 марта 1814 г. царь и прусский король вступили в завоеванный город во главе своих гвардейских полков, побывавших в огне лишь при Люцене и под Парижем, а остальное время остававшихся на квартирах. Войска, дравшиеся в бесчисленных битвах, должны были расположиться бивуаками в окрестностях, чтобы не оскорблять своим жалким видом избалованного взгляда парижан. Прусский слабоумный король отличился даже тем, что, проезжая дня за два перед этим мимо корпуса Йорка, встретившего его радостным «ура», повернулся к нему спиной, бормоча по своему обыкновению: «Плохо выглядят... неряхи...» Такова была благодарность «героического короля» ландверу, спасшему ему трон.

«Чернь в шелковых шляпах»[1] встретила вступающего противника шумными овациями, в то время как рабочее население предместий проявило суровую сдержанность. Царь остановился в отеле Талейрана. У него теперь были развязаны руки, так как прусский король не считался ни во что, а австрийский император остановился со своим дипломатическим штабом в Дижоне, чтобы не присутствовать лично при низвержении своего зятя. За это низложение высказывались единодушно как царь, так и Талейран. Не так прост был вопрос, кто должен вступить на место Наполеона. Но и здесь решил Талейран. Бонапарт или Бурбоны — вот принципиальная постановка вопроса. Все остальное — интриги. Царь не любил Бурбонов, но должен был согласиться на их возвращение. Он не мог серьезно настаивать на своем кандидате, Бернадоте, а регентство несовершеннолетнего сына Наполеона было то же самое, как если бы у кормила правления оставался сам император.

Талейран обратился к сенату, к чему он, конечно, был обязан как чиновник Наполеона, и это благородное учреждение, целиком состоявшее из креатур Наполеона, постановило низложить императора и отдаться под «отеческое правление Бурбонов». У сената хватило бесстыдства выставить причиной этого решения целый ряд выдуманных им самим, в припадке невероятной угодливости, преступлений Наполеона. Восстановление «законного» короля не

---

[1] Имеется в виду буржуазная публика. — *Ред.*

могло, конечно, быть произведено более достойным образом.

Наполеон тем временем находился в Фонтэнебло. Он имел в своем распоряжении еще около 50 000 человек и вначале намеревался продолжать борьбу. Но измена его собственных маршалов помешала этому. Они утомились и стремились к мирному наслаждению теми богатствами, которыми осыпал их Наполеон. Они толкали его в той или иной щадящей его самолюбие форме к отречению. Мармон, особо любимый Наполеоном маршал, со всем своим корпусом перешел на сторону врага. Наполеону пришлось отказаться от трона сначала за себя, а затем и за свою династию. В Фонтэнеблоском соглашении, заключенном 11 апреля, — в соглашении, которое он позднее называл недостойным себя,— он позволил отправить себя на остров Эльбу с правами суверенного владетеля и с годовой рентой в 2 000 000 франков, из которой Бурбоны, впрочем, ни разу не дали ему ни одного гроша.

Эта «благородная» фамилия доказала тотчас же, что она ничему не научилась и ничего не позабыла. Уже во время похода она готовилась к своему возвращению и была, к сожалению, энергично поощряема к этому со стороны Штейна и Гнейзенау. Едва только Людовик XVIII, брат казненного предателя своей страны, Людовика XVI, появился в Тюильри, он тотчас же предъявил все претензии, приличествующие старейшей монархии христианской эры. В своем собственном дворце он не оказывал союзным монархам никаких преимуществ. Этим была жестоко отомщена коварная тактика союзников, — тактика заманивания лестью и обещаниями французской нации в целях свержения Наполеона. Если союзники не хотели дать сами себе пощечину, то им приходилось заключать мир почти под диктовку французских дипломатов. Царю не удалось посадить в Париже, как он надеялся, зависимое от него правительство; ему приходилось теперь, чтобы побить английскую и австрийскую конкуренцию, встречать нового короля с приятной миной.

Так как союзники обещали в своем Франкфуртском манифесте сделать Францию более сильной, чем она была при своих королях, то они должны были порядком округлить границы 1792 г. частями бельгийских, немецких и савойских областей, в общем на 100 квадратных миль с приблизительно миллионным населением. Кроме того, они не потребовали от побежденной Франции никаких возмещений за военные издержки. Этому австро-англо-русскому вели-

ходушию очень энергично противился прусский министр, но безрезультатно.

Иначе обстояло дело с возвращением аванса, который Пруссия дала Франции в 1812 г. Здесь был долг, фиксированный соглашением. Когда Наполеон весной 1813 г. промедлил с внесением половины ссуды в размере 47 000 000 франков, Пруссия сделала из этого формальный повод к войне. Теперь же новоиспеченный король Людовик заявил: «Лучше истратить 300 000 000, чтобы победить Пруссию, чем 100 000 000, чтобы ее удовлетворить». Англия, Австрия и Россия лишь пожали на это плечами, полагая, что Пруссии виднее, как ей получить свои деньги. На этом и было покончено. Так же точно осеклась Пруссия со своими требованиями, чтобы Франция возвратила захваченные Наполеоном в европейских столицах художественные ценности. Она получила с ругательствами и спорами лишь немногие из них, как, например, четверку лошадей с Бранденбургских ворот Берлина.

Единственное стеснительное для Франции условие скрывалось в тайном пункте мирного договора от 30 мая: лишь одни союзные державы могли участвовать в обсуждении вопроса о разделе завоеванных земель. Однако регулирование земельных вопросов было в общем отложено до конгресса, который должен был состояться в течение 2 месяцев. Главная трудность заключалась в урегулировании русских и прусских притязаний; Англия и Австрия, и без того насытившиеся, сумели получить в Париже все, чего они могли желать. В королевстве Нидерландском, объединившем Бельгию с Голландией, Англия приобретала важнейший опорный пункт в Европе. Австрия же, вытеснив из Италии французские войска, которыми командовал Евгений Богарне, посредственно или непосредственно получила господство над Верхней и Средней Италией.

Пруссия, таким образом, заранее отправлялась домой с пустыми руками. Но еще до созыва конгресса она обеспечила себе всеобщую воинскую повинность. Сначала воинская повинность предполагалась лишь на случай продолжения войны, и фактически король упразднил ее в Париже. Однако Бойен, уже в течение зимнего похода развивший соображения, что Пруссия должна иметь при окончательном урегулировании положения надежное войско, если хочет, чтобы с ней считались союзники, провел как военный министр закон 3 сентября 1814 г., по которому всеобщая воинская повинность сохранилась и впредь. Двадцатилетняя служба старопрусских кантонистов была сокращена до

19 лет: 5 лет в постоянном войске, из них 3 в строю и 2 в резерве, затем по 7 лет в первом и втором призывах ландвера. Ландвер первого призыва наравне с постоянным войском был обязан нести службу во время войны как внутри страны, так и за границей; ландвер второго призыва употреблялся в крайних случаях преимущественно для подкрепления гарнизонов. Наконец, ландштурм, предназначавшийся лишь в случаях особой нужды для отражения нападения врага, должен был охватывать всех остальных способных носить оружие от 17 до 50 лет.

Вследствие этого закона ландвер потерял отчасти свой народный характер. Он должен был пройти через школу постоянного войска и состоять лишь из служивших ранее солдат; сыновья зажиточных классов получили некоторое преимущество — однолетнюю службу в строю. Однако законодательное введение всеобщей воинской повинности было в своем роде демократическим достижением и, как таковое, осталось единственным.

8. ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС

Несколько позднее предположенного времени состоялся конгресс в Вене, перестроивший по-новому европейские, особенно же немецкие, взаимоотношения. Лишь в начале сентября состоялось первое подготовительное заседание уполномоченных, представлявших четыре объединившиеся против Франции великие державы.

Историческая сущность этого конгресса, занятия которого продолжались около 9 месяцев, удачно охарактеризована вопросом Байрона: «Неужели достаточно убить льва, чтобы волки тотчас же почувствовали себя на полной свободе?» и резкими словами Блюхера: «Конгресс похож на ярмарку в маленьком городе, куда каждый приводит свой скот для продажи или обмена». В хаосе шумных развлечений, где банальнейшая развращенность выставлялась как сущность нового законного порядка «милостью божьей», барышничали землей и людьми с полным безрассудством давно изжитой кабинетной политики и с ловкостью лошадиных барышников, старающихся надуть своего ближайшего друга и соседа.

Этот мирный конгресс чуть было не зажег новой мировой войны. Из четырех великих держав Англия и Австрия в существенном были удовлетворены. Царь выступил наконец открыто со своими польскими притязаниями; он требовал Варшавского герцогства, из которого лишь неболь-

шая часть должна была отойти к Пруссии, чтобы установить связь между Восточной Пруссией и Силезией, и еще один совсем небольшой кусок, приблизительно в 6 квадратных миль, должен был отойти к Австрии. Из этой добычи и из части тех владений, которые он сохранил еще от прежнего грабежа Польши, царь хотел создать конституционное королевство Польшу, которое должно было быть связано с Россией личной унией.

Против этих планов, которые неизбежно создавали царю такой же опасный перевес в Европе, каким обладал раньше Наполеон, восстали Англия и особенно Австрия. Сначала к этому присоединилась и Пруссия, независимости которой больше всего угрожала русская гегемония. Однако прусский король, который обыкновенно ничего не хотел, а если и хотел, то лишь самого неразумного, приказал своему государственному канцлеру защищать требования России, и Гарденберг как послушный придворный повиновался против своего собственного искреннего убеждения. Таким образом, союзные державы разделились на два лагеря, что дало возможность Талейрану, защищавшему корону Франции в Вене, удачно использовать раскол для своего вмешательства и создать себе прямо-таки господствующее положение на конгрессе; ему удалось даже устранить тот тайный пункт Парижского мира, по которому Франция не имела голоса в территориальных вопросах.

Единственным разумным разрешением польского спора было бы установление независимой Польши. Меттерних тоже заинтересовался этой мыслью, но лишь для того, чтобы объявить ее неприемлемой. К тому же прусские колебания сделали совершенно невозможным разрешение этого вопроса. Пришлось поинтересоваться, каковы истинные мотивы поддержки, оказываемой прусским королем своему ленному повелителю, и удобнейшим ключом к этому оказались прусские притязания на возмещение. Чем охотнее уступала Пруссия царю свои прежние польские провинции, тем настойчивее требовала она присоединения к себе королевства Саксонии, тем более что она уже дала согласие на присоединение ценных областей на западе, именно восточной Фрисландии к Ганноверу, а на юге — к Баварии — франконских княжеств Ансбаха и Байрейта.

Англия сама по себе, а тем более Австрия не очень сочувствовали образованию в Северной Германии сильной державы. Все же они признавали притязание Пруссии на

королевство Саксонию. Однако положение изменилось, как только прусская политика спасовала в борьбе с грозным превосходством России. Англия и Австрия взяли свое решение обратно, опираясь якобы на всеобщее недовольство, порожденное возможностью полного присоединения Саксонии к прусскому государству. На самом же деле Талейран с привычной ловкостью снова играл на принципе легитимизма, запрещавшем лишение трона государя «божьей милостью». Трудно было допустить, чтобы такие бесстыдные речи исходили из уст человека, служившего Французской революции и французской империи; однако они подействовали на Меттерниха и английских тори, не говоря уж о том, что все династии, входившие раньше в Рейнский союз, стояли, как один человек, за французского посла. На этот раз вопрос действительно касался их собственной шкуры.

С национальной точки зрения свержение саксонского короля не могло быть оправдано, так как все остальные князья Рейнского союза были помилованы. Саксонский король имел лишь одно несчастье — попасть после Лейпцигской битвы в плен к пруссакам; иначе он, наверное, отпал бы после этой битвы от Наполеона так же, как и вюртембергский король, который был если не таким верным, то во всяком случае более злостным вассалом Наполеона, чем саксонский король. Низвержение этого монарха, как наказание за его предательство родины, сделалось тогда анекдотом. Между тем прусская политика была совершенно чужда национальной точки зрения. Гарденберг сам предложил вознаградить саксонского короля за утрату его земли; он даже хотел его посадить на левом берегу Рейна, в ближайшем соседстве с французскими благодетелями, чем было бы положено начало новому Рейнскому союзу.

К концу 1814 г. противоречия в саксонском вопросе обострились до такой степени, что в Пруссии начались уже военные приготовления, когда наконец 3 января 1815 г. было заключено соглашение между Англией, Австрией и Францией. В этом соглашении три державы обязывались, «вследствие вновь обнаруживающихся притязаний», взаимно поддерживать друг друга военной силой, по крайней мере в 150 000 человек с каждой стороны, в том случае если хоть одна из них подвергнется нападению из-за выставленных ими сообща справедливых и законных предложений; нападение на Ганновер и Нидерланды должно было рассматриваться как нападение на Англию.

Затем, так как ни одна из держав, кроме Франции, не имела истинного стремления к войне, при дальнейшем обсуждении перешли к решению оставить все героические планы и объединиться лучше на привычном барышничестве людьми и землями. Царь уступил в некоторых из своих польских притязаний: он отдал обратно Тарнопольский округ, который Австрия уступила России в 1809 г.; он отказался также от Торна и Кракова, из которых первый был занозой в теле Пруссии, а второй — в теле Австрии. Торн стал прусским, а Краков — самостоятельной республикой.

Саксония же была поделена: северная, бо̀льшая, однако менее населенная половина перешла к Пруссии, остальное удержал саксонский король. Но за это Пруссия была вознаграждена Рейнской областью; она должна была расположиться на том самом левом берегу, на который она предполагала посадить саксонского короля. Она получила, таким образом, ту часть Германии, которая обладает наиболее развитой и разнообразной промышленностью, и ничто не свидетельствует так о близорукости австрийских и прусских деятелей, как то, что в этом приобретении они видели крупную неудачу для Пруссии. Меттерних злорадствовал, что Пруссия теперь «безнадежно скомпрометирована» Францией, а Гарденберг пытался сделать «хорошую мину при дурной игре», говоря, что лишь «из уважения ко всеобщему желанию», лишь «в целях защиты Германии» Пруссия удовлетворилась рейнскими владениями.

В союзном договоре четырех держав было обещано восстановление Пруссии в тех границах, которые она имела в 1805 г. На Венском конгрессе она этого не достигла; в то время как Англия, Австрия и Россия более или менее расширились, Пруссия уменьшилась на 600 квадратных миль. Правда, жителей у нее стало на полмиллиона больше, чем в 1805 г., но со всеми своими 10 000 000 она оставалась значительно позади 27 000 000 Австрии и 30 000 000 Франции, не говоря уже о России, которая в завоеваниях, сделанных вначале с помощью Наполеона, а затем в борьбе против Наполеона, приобрела в Финляндии, Бессарабии и большей части прежней Польши около 9 000 000 жителей. Округление границ также ничего не дало Пруссии; она распадалась на две совершенно отдельные части. Все же она стала немецким государством в гораздо большей степени, чем была им в 1805 г., когда ее следовало считать полупольской страной. Поэтому она

имела насущные интересы в немецком вопросе, который разрешался на Венском конгрессе.

Калишское воззвание уже давно было пустым листом бумаги, но все же что-то такое случилось, что смогло пробудить воспоминания тысячелетней истории, которые, найдя свой печальный конец в 1806 г., опять, казалось, начали проявлять признаки новой жизни в 1813 г. Сам Меттерних допускал необходимость какого-то «федеративного союза» для Германии, хотя он и доказывал в Италии, что этот союз следует понимать лишь как известное «географическое понятие». Даже в соглашениях с князьями Рейнского союза, отпавшими от Наполеона (за исключением Баварии), были сделаны некоторые оговорки в смысле немецкого единства. Однако как надо было представлять себе это единство,— было загадкой даже и для тех, кто ближе всех принимал это дело к сердцу. Перед глазами читателя, который захотел бы перелистать в настоящее время консультации Штейна и Вильгельма фон-Гумбольдта, а также записки Арндтов и Герресов, предстал бы невероятный хаос.

Восстановление императора и империи — вот основной тон, звучавший в этом хаосе; но это было чисто романтической выдумкой, так как просто вернуться к 1806 г. было невозможно, о чем никто серьезно и не мог думать. Эта мысль могла жить лишь в «воздушном царстве мечтаний», и само собой понятно, что попытки осуществить ее расплывались, как сновидения. Штейн пускался на всевозможные ухищрения, чтобы осуществить свой идеал; раньше он защищал линию Майна, позднее линию Триаса, Германию по левую сторону Эльбы, с вечным союзом Пруссии и Австрии и Габсбургом как императором. Гумбольдт проявлял больше деловитости и должен был в конце концов резко отмежеваться от Штейна, так как он отрицал габсбургскую империю, о которой вообще и сами Габсбурги не хотели ничего знать. Записки Гумбольдта, составленные им за время Венского конгресса в количестве не менее полудюжины, растекались в таких запутанных предложениях, что в настоящее время трудно понять, как мог останавливаться на них такой серьезный ум, как Гумбольдт. Геррес предлагал принять как имперский знак двуглавого орла, нежно обнимающего черного орла и дружески присоединившегося к ним баварского льва.

Предложения о внутренней организации создаваемой вновь империи также витали в неопределенности и неясности. Не следует долго говорить о том, что и здесь все-

возможные планы ограничивались лишь существованием на бумаге, за исключением, правда, одного пункта, немедленно получившего практическое значение. Штейн требовал, чтобы для каждого немецкого государства была установлена империей конституция, считая необходимым признание за сословиями следующих основных четырех прав: права вотирования налогов, права вмешательства в расходование одобренных налогов, права голоса при законодательстве и, наконец, права жалобы на дурных чиновников; он полагал, что если это не будет сделано, то все усилия не приведут ни к чему.

Чем невозможнее казалось создание твердого и ясного плана немецкой конституции, тем легче становилась игра противной стороны, во главе которой стояли южнонемецкие князья — члены Рейнского союза. Они ссылались на свой суверенитет, который был обещан им союзными державами. Они не предполагали пожертвовать ни крупицей этого суверенитета для немецких интересов, но они во всяком случае знали, чего они хотели, и имели вследствие этого несомненное преимущество; об их сопротивление разбивалось все, что предлагалось Гумбольдтом и Штейном.

Но они также чувствовали себя не совсем хорошо; они не обманывались, что их троны были еще очень шатки, и к тому же владельцы присоединенных к ним земель, прежние их суверенные братья «божьей милостью», владения которых они, по милости Наполеона, прикарманили, проливали на Венском конгрессе горькие слезы и взывали к принципу легитимизма. Они боялись также, что Пруссия и Австрия, «мирный дуализм» которых должен был явиться предпосылкой для новой империи, в конце концов объединятся, вследствие чего они окажутся снова в тисках. Приведя к полному застою переговоры о немецкой конституции, Бавария, Вюртемберг и Баден заявили о своей готовности провести в своих странах конституционные государственные реформы. Вюртембергский король открыто говорил, что он хочет дать конституцию, чтобы доказать, что его не вынуждают к этому «ни внешняя необходимость, ни принятая на себя обязанность по отношению к другим».

Совершенно правильно указывает один прусский историк, что три южнонемецких срединных государства «из одинаковых побуждений — из суверенного чванства и личного страха перед вмешательством союзной власти» — решили сохранить органы сословного представительства.

Однако это нравственное возмущение именно прусского историка кажется несколько странным, так как, за исключением немногих идеологов, прусскому правительству было чертовски мало дела до немецкой конституции.

Добрый король не мог придумать ничего лучшего, как последовать примеру Баварии, Вюртемберга и Бадена. 22 мая 1815 г., прежде чем было принято какое-нибудь решение относительно немецкой конституции, он издал торжественный указ, по которому с 1 сентября того же года в Берлине должна была собраться комиссия из его проницательных государственных деятелей и назначенных лиц из провинций, чтобы выработать конституцию. Основным принципом этой комиссии было объявлено «представительство народа»; сфера деятельности комиссии включала в себя все области законодательства, не исключая и податного обложения. Разница между королями состояла лишь в том, что обещание первых плохо или хорошо, но было выполнено, этот же самым позорным образом нарушил свое королевское слово.

Впрочем, только пример южнонемецких срединных государств побудил его так грубо провести своих верноподданных. Ганнибал снова стоял у ворот, и народ, так вероломно обманутый, должен был снова проливать потоки крови за своего славного повелителя.

9. СТО ДНЕЙ

В течение нескольких месяцев Бурбоны стали для Франции более или менее невыносимы. Хотя новый король и даровал хартию, которая обеспечивала буржуазии скромное участие в правительстве, все же брат его и наследник престола — граф Артуа — со своей свитой неисправимых дворян и попов стремился к тому, чтобы восстановить то положение вещей, которое существовало при старом королевстве, что особенно пугало крестьян.

Самую большую бестактность Бурбоны проявили по отношению к армии. Они не обладали ни необходимым мужеством, чтобы переформировать ее, ни достаточным умом, чтобы уважать ее традиции. Они лишили войско орлов и трехцветных флагов, которые были свидетелями многочисленных побед, и дали ему белые флаги и кокарды, что казалось солдатам признаком упадка и предательства. Финансовые соображения делали необходимым сокращение войска, и многие тысячи наполеоновских ветеранов, возвращавшихся по заключении мира из плена или из крепостей Эльбы, Одера и Вислы, были выкинуты за борт в

высшей степени бестактным образом. Поседевшее в боях офицерство отпускалось со службы, а его место занимали бурбонские дворяне, которые или совсем не нюхали пороха, или же позорно боролись в рядах эмигрантов против Франции. В конце концов 14 000 офицеров, посаженных на половинное жалованье, рассеялись по всей Франции, нося в себе все возрастающее недовольство Бурбонами; они превратились, таким образом, в горячих агитаторов за возвращение императора.

Наполеон проницательным взглядом следил с острова Эльбы за создавшимся положением. От него не укрылся и разлад держав на Венском конгрессе; к этому прибавлялись совершенно основательные жалобы, которые он мог предъявить от своего имени. Соглашение в Фонтэнебло почти совсем не было выполнено; наоборот, все настойчивее становились слухи о том, что союзные державы склонялись к мысли перевезти его с острова Эльбы на остров св. Елены. Этот слух не был лишен основания; именно Гарденберг и развил этот чисто сработанный план.

Наполеон решился на смелый шаг. 1 марта 1815 г. он высадился в Каннах; войска, посланные против него, перешли на его сторону. 20 марта он вступил в Тюильри; королевство Бурбонов было сметено, словно бурей. Но как ни был блестящ этот победоносный поход, в основе своей он был лишь грандиозной авантюрой. Не народ поднял Наполеона снова на трон, но войско. Ненависть горожан и крестьян к Бурбонам была достаточно велика, чтобы не мириться с новым положением вещей, но и не настолько сильна, чтобы воодушевить их на защиту Наполеона. Войско хотело войны, но буржуазная Франция была сыта войной по горло.

У Наполеона была лишь одна возможность продержаться в течение продолжительного времени. Бурбонское правительство и переговоры Венского конгресса ощутительным образом приблизились к восстановлению феодальных отношений; опираясь на крестьян и рабочих, Наполеон смог бы пробудить традиции буржуазной революции и достигнуть тем большего успеха, чем сильнее было разочарование союзных наций в своих правительствах. Однако этот демократический путь противоречил его деспотическим наклонностям: он не хотел надевать красную шапку; ведь еще только год назад он объявлял прусские народные восстания преступлением против святых прерогатив монархии. Вместо этого он пытался опереться на ненадежную базу — буржуазию, которой он «дополнительным ак-

том» к имперской конституции предоставлял приблизительно такие же права, какие она уже получила по хартии Людовика XVIII. Буржуазия не верила ему больше ни на волос; его патетические попытки разыграть из себя конституционного Наполеона не только никого не убеждали, но, наоборот, лишь делали понятной для каждого внутреннюю шаткость его положения.

Самым существенным было то, что Наполеон не сумел дать нации того мира, который он обещал. Когда в Вену прибыло сообщение, что он бежал с Эльбы, Штейн 8 марта предложил, а 13 марта союзные державы постановили: «Наполеон Бонапарт исключил себя из всех гражданских и общественных отношений и как враг и нарушитель мирового спокойствия осудил себя на публичное наказание». Это решение было так же позорно, как когда-то изгнание Штейна Наполеоном.

Наполеон как суверенный владетель Эльбы вступил с суверенным королем Франции в победоносную войну; французская нация признала его своим главой, и он сам не переставая предлагал мир. Его ссылка была грубым насилием, вопиющим нарушением права народов; так же и война, на которую решились державы, чтобы раздавить Наполеона колоссальным превосходством сил, была обыкновенной реакционной кабинетной войной, ведущейся в интересах династий, и не имела решительно ничего общего с интересами наций. Правда, считаясь с остатками стыда, делались некоторые попытки придать войне по крайней мере характер роялистического крестового похода за законного, хотя и убежавшего из страны короля; по отношению к будущему правительству Франции державы получили, таким образом, после свержения Наполеона полную свободу действий.

Прежде чем дело дошло до борьбы, разыгрался маленький пролог, который был использован обеими сторонами или для извинения, или для оправдания — восстание Мюрата, неаполитанского короля, против австрийского господства в Италии. После отложения от своего шурина, Наполеона, Мюрат вошел в милость к союзным державам, но переговоры на Венском конгрессе, на которые ни разу не был допущен его представитель, показали ему, что дальнейшее его пребывание на троне Неаполя не будет узаконено новой Европой. Полный раскаяния, он возвратился к старым знаменам, вступил в сношения с Наполеоном на Эльбе и, когда последний высадился во Франции, объявил войну Австрии. С 30 000 человек он продвинулся

в Папскую область, выпустив манифест, в котором призывал итальянцев к борьбе за свободную и единую Италию. Вначале Мюрат имел некоторый успех, но затем должен был уступить подавляющим силам Австрии и бежать из своего королевства.

Это восстание было использовано союзными державами в том смысле, что они признали мирные предложения Наполеона лживыми, а Наполеон сказал по этому поводу, что Мюрат нанес ему этим своим восстанием такой же вред, какой раньше нанес своей изменой. Однако простое сопоставление дат обнаруживает, что это событие ни в коем случае не могло оказать никакого влияния на общий ход вещей. Объявление войны Мюратом произошло 31 марта, в то время как союзные державы уже 13-го осудили Наполеона, а 25 марта уже заключили новый союз против него. Уже 20 мая Мюрат бежал, т. е. в то время, когда дело Наполеона было еще далеко не решено.

В союзном договоре от 25 марта Англия, Австрия, Пруссия и Россия обязывались выставить в поле по 150 000 человек каждая и не складывать оружия до тех пор, пока Наполеон не будет окончательно низложен. Англия обязывалась, кроме того, выдать субсидию в 5 000 000 фунтов стерлингов. Военный план, так же как и при всех коалиционных войнах, был намечен очень расплывчато; в Нидерландах стояли 120 000 пруссаков под командой Блюхера и английская армия, сильно подкрепленная брауншвейгскими, ганноверскими, нассаускими и голландскими вспомогательными отрядами, под командой Веллингтона, удачно ведшего когда-то испанскую войну против маршалов Наполеона. На среднем Рейне стоял Барклай-де-Толли со 150 000 русских, и, наконец, на верхнем Рейне и в Швейцарии стояли 200 000 австрийцев под командой Шварценберга. Кроме того, была создана как резерв четвертая армия, даже еще более сильная, чем любая из прежних трех.

Этим подавляющим массам войска Наполеон мог противопоставить лишь около 200 000 человек, из которых, за вычетом необходимых сил для прикрытия всех границ, он мог вывести в поле лишь 130 000 человек. В отличие от 1813 г. и особенно от 1814 г., это были во всяком случае отборные войска, возможно даже самые отборные из всех, которыми когда-либо командовал Наполеон. С ними он надеялся нанести сильный удар одной из вражеских армий, что в случае удачи значительно поколебало бы могущественную коалицию и смогло бы зажечь во французской

нации новое военное воодушевление, которое до сих пор мало сопутствовало вооружениям императора.

Благоприятнее всего для него было положение на бельгийской границе. Многочисленные пограничные крепости мешали вступлению английских и прусских войск во Францию; прусское войско ожидало еще подкрепления в 80 000 человек из отдаленных провинций. Наоборот, под прикрытием и защитой этих крепостей Наполеон мог быстро пробиться вперед и разбить порознь сначала одну, а затем и другую вражеские армии, превосходившие его своей общей численностью почти вдвое.

Сначала этот план удался ему превосходно. Вечером 14 июня он занял Шарлеруа, естественный пункт соединения Блюхера и Веллингтона. Этим он вклинился между ними, а 16 июня разбил прусскую армию при Линьи. Блюхер принял битву лишь после твердого обещания Веллингтона своевременно притти ему на помощь. Но Веллингтон не пришел, так как он имел неправильные сведения о расположении своих воинских частей и по пространственным причинам не смог их собрать во-время. К тому же он сам был атакован при Катр-Бра частью французской армии. К этому прибавились и другие несчастные случайности: так, например, один из четырех корпусов прусской армии несвоевременно явился на поле битвы. Наполеон надеялся, что победой при Линьи ему удалось сделать прусскую армию небоеспособной и оттеснить ее на коммуникационную линию на восток; вместе с этим, прусская армия должна была отдалиться от английской армии, над которой Наполеон имел все основания надеяться одержать решительную победу.

Его расчет оказался неверным, потому что пруссаки произвели отступление не на восток, а на север, не удалившись, таким образом, от английской армии, но, наоборот, приблизившись к ней. Этот приказ вечером после битвы при Линьи отдал Гнейзенау, так как Блюхер в пылу битвы упал с лошади и некоторое время не мог быть найден. Это было очень смелое решение, однако оно оказалось решающим в судьбе всей кампании. Когда Наполеон 18 июня напал на английскую армию, расположенную на небольших высотах около Мон-Сен-Жана, его победа была почти обеспечена, но в тот момент прусская армия, сделав изнурительный ускоренный марш, ударила ему во фланг. Французская армия потерпела поражение и была совершенно рассеяна непрерывным преследованием, которое Гнейзенау производил до последних сил своих войск. Этим война

была решена; стодневная власть Наполеона пришла к концу.

В военном отношении кампанию выиграла прусская армия, — в этом не могло быть никакого сомнения, несмотря на двусмысленные речи, в которых Веллингтон пытался извратить этот факт. Воспитанный, как и полагалось вождю английского наемного войска, на старой тактике, он уже совершенно не мог противиться атаке отборных французских войск, когда к нему на помощь явилась прусская армия. Но политически выиграл игру Веллингтон. Характерна уже та мелочь, что за решительной битвой сохранилось название, которое ей дал Веллингтон, название деревни Ватерлоо, где совершенно не было сражения, но где была расположена последняя главная квартира Веллингтона перед битвой, а не название «Бель-Альянс», на котором настаивали пруссаки, по имени хутора, где впервые встретились Блюхер и Веллингтон.

При вступлении обоих войск во Францию пруссаки ворвались первыми; однако Веллингтон тотчас же позаботился о том, чтобы в интересах Англии Бурбоны возможно скорее возвратились в Тюильри, что совершенно не отвечало прусским интересам и относительно чего союзные державы не брали на себя никакого обязательства. Это была в высшей степени своекорыстная политика, при помощи которой английские тори надеялись создать в Париже целиком зависимое от них правительство. Однако Блюхер и Гнейзенау не обратили на это должного внимания; они стремились прежде всего насытить «национальную месть», намереваясь застрелить Наполеона, если он попадет им в руки, или же взорвать на воздух Парижский мост, названный Иенским, и т. д. Из всего этого получилась лишь выгода для Веллингтона, который, успешно воспротивившись этим вандальским планам, придал, таким образом, своей мелочной политике вид сердечного великодушия.

Наполеон оставил после битвы остатки своего войска и поспешил в Париж, чтобы спасти то, что еще можно было спасти. Палаты бурно требовали его отречения, в том числе и палата депутатов, созванная на основе его «дополнительного акта». 25 июня он был вынужден покинуть Париж; 29-го он отправился в Рошфор, где были приготовлены два фрегата для бегства в Америку. В надежде на благоприятный оборот дела он задержался со своим отъездом, пока рейд Рошфора не оказался запертым английскими военными кораблями. 15 июля ему пришлось отдать себя

в руки англичан, лишь бы не попасть в руки Бурбонов. Та ужасная месть, которой обрекли его союзные державы на острове св. Елены; всем известна.

Создавшееся после его отречения в Париже временное правительство продержалось недолго. Оно капитулировало 3 июля с условием, что все французские войска очистят город до 6 июля. 7 июля и на следующий день в город вступили прусские войска, тогда как Веллингтон, оставаясь верным своей расчетливо-великодушной политике, расположил свои войска в Булонском лесу. 8 июля в Тюильри появился Людовик XVIII и смог тотчас же как любезный хозяин принять троих союзных монархов, прибывших 10 июля.

Последние опять-таки не могли прогнать «законного» короля, и им оставалось лишь состроить веселые мины при дурной игре, сыгранной с ними Веллингтоном. Царь быстрее всех нашелся в создавшемся положении. Не успел этот «освободитель Европы» проглотить громадный польский кусок, как его жажда к завоеваниям запылала снова, направляясь на новый, теперь уже турецкий кусок. Так как он был уверен, что натолкнется при этом на сопротивление Англии и Австрии, то хорошие отношения с Францией имели для него большое значение. В своем соперничестве с английскими тори самодержец всея Руси добивался расположения Людовика XVIII, на котором горел еще свежий позор трусливого бегства от Наполеона. Австрия не хотела больше никаких новых изменений, установленных в Вене, и главной целью Меттерниха стало спокойствие кладбища. Лишь одни пруссаки требовали наряду с возмещением военных издержек отделения Эльзас-Лотарингии и других областей.

Французским представителям было легко отклонить эти требования, так как союзные державы, согласно своему декрету об изгнании Наполеона и прежним своим заявлениям, боролись лишь против Наполеона, которого уже счастливо устранили, а не против Франции, от которой им, следовательно, и требовать было нечего. Однако главные причины этого положения заключались не в вопросе о власти; истинная причина того, почему прусские притязания были после многомесячной грызни все же отклонены, заключалась в том, что другие великие державы были совершенно не заинтересованы в этом. Лишь слабым утешением была поддержка, оказанная на этот раз Пруссии рейнскими князьями, чуявшими новый грабеж. Наиболее враждебно настроенным к новому прусскому расширению, чуть ли не

больше, чем сам французский король, был царь, которому прусский вассал только что таскал каштаны из огня.

По новому миру, заключенному в Париже 20 ноября, Франция должна была возвратить лишь некоторые незначительные части округлений, предоставленных ей за год перед этим. К этому прибавлялось еще возмещение военных убытков в 700 000 000 франков и обязательство в течение 5 лет, а кое-где еще в течение 3 лет после этого содержать и снабжать в северо-восточных провинциях оккупационную армию союзных держав в количестве 150 000 человек. Захваченные художественные ценности также должны были быть возвращены.

Однако еще до этого царь осчастливил весь христианский мир одним откровением: он учредил священный союз и выставил символ веры, который признавал «божественного искупителя Иисуса Христа» единственным владыкой над всеми христианскими нациями. Царь подпал под мистическое влияние госпожи Крюденер, про которую Гёте сказал еще при ее жизни: «Проститутка, затем пророчица!» и о которой он сказал после ее смерти: «Такая жизнь подобна стружкам: из нее нельзя получить даже щепотки золы, чтобы сварить мыло». Само собой понятно, что предсказания этой достойной дамы целиком совпадали с завоевательными инстинктами царя; союз христианского мира должен был оказать чувствительное давление на Турцию. Но в действительности эту ерунду подписали все монархи, за исключением папы и великого султана; медлили также и английские тори, — может быть потому, что считали это дело чересчур глупым для себя, а может быть потому, что хотели утешить Турцию.

Отвратительная балаганщина достойным образом увенчала победу европейской реакции.

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор полковник ПОДОРОЖНЫЙ Н. Е.

Г 13946.
Подписано к печати с матриц 25 · 1 · 41.
Объем $21^{1}/_{4}$ печ. л., 20,49 уч.-авт. л.
Тип. знак. в печ. листе 44160.

Отпечатано с готовых матриц во 2-й типографии ОГИЗа РСФСР треста „Полиграфкнига“ „Печатный Двор“ им. А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.
Зак. № 864.

